

Георгий
Семенов

ГОЛУБОЙ
ДЫМ

Постановлением Совета Министров РСФСР
писателю Георгию Витальевичу Семенову
за книгу «Голубой дым»
присуждена Государственная премия СССР имени М. Горького
1981 года.



Георгий
Семенов

ГОЛУБОЙ
ДЫМ

Повесть
Рассказы

Москва
«Советская Россия»
1983

P2
C30

Художник Л. Ф. Шкавов

Т. 4702010200-140 116-82.
М-105(03)83

УЛИЧНЫЕ ФОНАРИ

Повесть



Продутая южным ветром, мокрая Москва проснулась в это утро в мутном тумане, в вялом чмоканье зимней капели, и люди долго еще не гасили лампы, выгоняя мрак и утреннюю темень из своих жилищ.

Было до боли сладко, лежа в измятой постели, вспомнить в это январское утро большую яблоню-китайку, отягощенную розовыми райскими яблочками, похожими на алые ягоды черешни; вспомнить прохладный сентябрьский день и пронзительно желтый, шумный березовый лес за оградой; вспомнить просохшие тропинки в этом лесу и по какой-нибудь одной из этих тропинок, возникших в памяти, прийти опять к себе на участок, граничащий с лесом.

Прийти в ветреный день, поставить возле дома старую корзину с черными груздями, поднять с земли холодное яблочко ва длинный, как у черешни, хвостик, обтереть с его густой, сизоватой розовости землю и, предвкушая кислую сладость, зажмуриться и надкусить, чувствуя пересохшим языком холод колючего брызнувшего сока.

Вспомнить озябшие свои и раскрасневшиеся руки, умытые осенним ветром, и горячие на ощупь щеки. И снова холодные, тугие яблочки, собранные в холщовый мешок, в котором они скрипели, как снег. А в доме уже пахло горячим вареньем, остывающим в желтом медном тазу,— самым красивым и вкусным из всех варений, похожим на розовый мед, очень яркий и очень прозрачный, в котором теснились в невесомости прозрачные красные шарики, тоже наполненные медом. Стеклянно-огненно было это варенье и словно бы посверкивало глубинными рубиновыми гранями. Прозрачное яблочко надо было брать за длинный хвостик и, вынув из сиропа, класть на язык. Эти яблочки полагалось есть как весеннюю черешню, первые те ягоды, которые по баснословным ценам продают на московских рынках южные женщины и которыми лакомятся в то время дети.

Но был январь. Видение исчезло, оставив робкую надежду на повторение. Дина Демьяновна опять услышала порыв ветра, опять что-то зашипело на балконе, что-то грохнуло и словно бы прокатилось, барабана по железу. Это у верхних соседей. Пора бы давно привыкнуть, что есть теперь верхние соседи, а у них есть такой же балкон, который они сразу же, как только въехали, одели в жест и покрасили синей краской.

Теперь в каждый ветреный день или ночь, когда дует с юга, когда наступает оттепель, балкон этот барабанит тревожно и неожиданно, словно бы что-то рушится, не выдержав напора ветра, грохочет, падает вниз, все сметая на своем пути. Внизу есть тоже соседи, отгороженные, как и верхние, железобетонными плитами. А если смотреть в окно, то слева, за стеной, тоже соседи. И все они, снизу, сверху и за стенами, окружив семью Простяковых, жили своими какими-то заботами: чужие и совсем незнакомые люди, собравшиеся под одной крышей. В этом было что-то ненормальное: жить с людьми под одной крышей десятки лет и даже не здороваться при встрече, даже не знать — кто они и почему живут здесь. Особенно остро почувствовала это Дина Демьяновна, когда однажды в лифте с ней поздоровался деревенского вида паренек.

«Здравствуйте», — сказал он четко и внятно и даже как будто бы поклонился.

«Здравствуйте, — тут же откликнулась Дина Демьяновна и, приглядываясь, спросила: — А разве мы знакомы?»

«Нет, — ответил ей паренек и, смущенно окая, добавил: — Под одной крышей живем».

Это очень удивило Дину Демьяновну, и она, вспоминая потом, тихонечко всякий раз улыбалась, слыша и видя доброго паренька, приехавшего погостить к своим родственникам в Москву. Но надо иметь воображение, чтобы представить себе сотни людей, живущих под одной крышей громадного дома, которые бы каждый раз при встрече кланялись друг другу и говорили: «Здравствуйте». Трудно себе представить такое без улыбки. И все же Дина Демьяновна, с детства живя в трехэтажном старом домике в Замоскворечье, с трудом избавлялась от чувства, от мысли, что жить под одной крышей и совершенно не знать даже ближних своих соседей, отгороженных бетонными плитами, — ненормально. И ее угнетало это странное разъединение людей. Но вместе с тем еще один неожиданный сдвиг произошёл в ее сознании, как только она переехала на эту квартиру: она почувствовала себя так, будто поселилась теперь не в доме, а в вагоне метро, грохочущем в подземном туннеле,

будто бы стены, говорящие в тишине вечера чужими голосами, потолки и полы, издающие чужие шаги и чужую музыку, — вовсе не глухие бетонные плиты, обклеенные обоями, побеленные или устланные паркетом, а прозрачные стекла. И когда она по вечерам включала свет в своей комнатке, ей чудилось, будто на нее с любопытством поглядывали сквозь эти плиты незнакомые люди, которых она тоже осветила яркой своей настольной лампой. Особенно обостренно она это чувствовала в зимние месяцы, когда становились слышнее чужие голоса, шаги, музыка, ругань и смех.

Но все эти ощущения приглушились со временем, она привыкла в новом доме и только лишь иногда вспоминала с грустью доброго паренька и его смущение, когда она спросила: «А разве мы знакомы?»

В это пасмурное и сырое субботнее утро, совсем непохожее на январское, не хотелось вставать, и Дина Демьяновна слушала, как отец, глава маленького семейства Простяковых, добрейший Демьян Николаевич, говорил, поздравляя жену, милую и старенькую Танюшу, Татьяну Родионовну:

— Сегодня чудесная погода! Пахнет весной. С крыш капает, тепло. Ну просто весна! Я сегодня шел по улице и все время думал про мимозу. Даже слышал ее запах. Весна! Всего один месяц остался. По сравнению с нашей жизнью это всего лишь вздох — один месяц, да и тот без хвостика — февраль-то.

— Один вздох, — соглашалась с ним Татьяна Родионовна. — Ты всегда умел подгонять время. Чему-чему, а торопиться научился. — И ласково целовала, а Дина Демьяновна живо представляла себе, как она подтягивалась на цыпочках к его губам. — Не успела и моргнуть.

— Ты меня неправильно понимаешь, милоч, — говорил ей на это Демьян Николаевич. — Я не время, а твое плохое настроение гоню прочь.

— Теперь я знаю, где ты пропадал вчера целый день, — сказала с лукавинкой в голосе Татьяна Родионовна.

А он ей тоже с улыбкой отвечал:

— Теперь ведь нельзя пойти и купить. Надо доставать. Ты ведь знаешь, как теперь говорят: «Достал». Тебе нравится?

— Была большая очередь?

— Не очень.

— Я не спрашиваю, сколько она стоит, Демьян, но мне она будет дороже всех остальных, потому что ты ее «достал». Спасибо, дружочек.

Опять вазочка! Дина Демьяновна улыбалась, слушая своих

стариков, их разговор о вазочке, которая теперь займет в буфете свое место среди других многочисленных хрустальных вазочек всевозможных форм и оттенков, подаренных в былые годы. Сколько она помнила себя, отец всегда дарил маме на Татьянин день вазочку для цветов, конфет или варенья. У него была страсть к этим вазам и вазочкам — он долго и нудно ругался и страдал душою, если кто-нибудь нечаянно разбивал одну из них. Алчным взглядом он порой осматривал хрусталь, стоявший в буфете, на гumbочках, на столах и даже на шкафах, пересчитывал, протирал куском рваной замши, разглядывал на ярком свете, и у него поднималось настроение, когда он осторожно ставил вазочки обратно на свои места, с наслаждением созерцая их сверканье, их формы и упругие голубо-алые, бриллиантовые грани. В эти блаженные минуты он любил показывать домочадцам свое искусство: жестким пальцем, смоченным в вине или, если вина не было, в уксусе, вел по краешку вазочки, как по струне, и в какой-то момент в воздухе рождался вдруг тонкий и грустный, серебряный голос хрусталя, который властно витал по комнате и тихо замирал, вызывая на лице у Демьяна Николаевича торжествующую улыбку. Звуки были чище и гуще, чем звуки виолончели или скрипки, и чудилось всегда, будто не хрусталь звучал, не он издавал протяжный ветреный гул или звон, а сам воздух наливался звучным пением.

Как это у него получалось, было тайной для Дины Демьяновны, и сколько бы она ни пыталась — хрусталь под ее пальцами звенел глухо, как обыкновенное стекло, а если же она щелкала по вазе, отец сердился и поглаживал хрусталь, как живое существо, которое незаслуженно и грубо щелкнули по носу.

Впрочем, он давным-давно уже отучил свою дочь от этих диких, как он говорил, манер, и Дина Демьяновна теперь уже никогда даже и не пыталась, да и не хотела извлекать этот звон. Она давно уже привыкла к отцовскому сумасбродству, а его постоянные окрики: «Осторожно! Разобьешь!» — тоже давно уже стали привычными ей, как и певучий звон, рожденный неуловимым и скольльзящим движением отцовских пальцев. К этому привыкла и Татьяна Родионовна, полюбившая хрусталь, как частичку своего мужа, которому она была верна всю жизнь во всем.

Особенная эта любовь началась с той поры, как родилась у них дочь, которую Демьян Николаевич вопреки всем семейным традициям и правилам назвал Диной, услышав в этом

чужеродном имени ликующий звон хрустала, мелодично замирающий в звучном, как он считал, и благородном отчестве — Демьяновна...

«Дин-н! Демьянна!» — восклицал счастливый отец, вертя в руках, подбрасывая вверх подрастающее свое чадо, подставляя его свету и словно бы разглядывая в детском личике одному ему только видимые алмазные грани, издающие радостные и печальные звуки: «Дин-н Демьянна!»

Хрусталь пел в его руках. Демьян Николаевич мог провести пальцем по кромочке вазы, и она отвечала ему долгим и ветреным звучанием, поющим каким-то голосом, а у него самого в эти мгновения блестели глаза, и он с зачарованной улыбкой фанатика оглядывал своих домочадцев, словно бы и в глазах их тоже пытался услышать ответный звон. А может быть, и слышал его.

Когда они переезжали из старого дома, где занимали две большие комнаты с высоченными потолками и с отличным паркетом из мореного дуба, никто из них, ни Демьян Николаевич, ни Татьяна Родионовна, и слушать не хотели свою дочь, которая со слезами на глазах умоляла их оставить, выбросить, не брать с собой старые шкафы или буфеты. Они не хотели и слышать об этом.

«Куда же я поставлю хрусталь?» — удивлялся Демьян Николаевич.

«А этот отрез куда? — спрашивала Татьяна Родионовна. — Такого драпа теперь не купишь. Или этот ситец? Ну куда? Под кровать, что ли?»

И она показывала слежавшийся от времени кусок старого ситца, который ей стоил очень дорого когда-то в послевоенные трудные бедные годы и который она ни за что бы не согласилась подарить кому-нибудь сейчас или хотя бы даже продать по теперешней низкой цене.

«Боже упаси!» — говорила она, не на шутку пугаясь и даже сердясь на Дину Демьяновну, ужасаясь ее непрактичности и легкомыслию.

С незапамятных лет хранила она в огромных шкафах четыре старые, изношенные, вытертые шубы и два демисезонных пальто, тоже потертых и старых и до такой степени пропитанных нафталинным духом, что стоило их только вынуть из шкафа, как в комнате дней десять не выветривался этот запах. Но она и старье это не захотела выбрасывать и даже прослезилась, обороняясь слезами от дочери и мужа. Демьян Николаевич на сей раз не был на ее стороне.

«Уж лучше отвезу их на дачу,— сказала она после долгих уговоров.— Ладно уж... На даче бывают холодные вечера, и я всегда зябну».

«Мама, но ведь сад пропахнет нафталином!»

«Танюша,— робко говорил Демьян Николаевич.— А что тогда делать с моими старыми шубами?»

«Как что?! Они шиты из настоящего драпа. Вспомни хотя бы ту, которую тебе шил этот твой Соломон. Это ведь английский драп! Ее можно перелицевать, и она как новая будет. А та, что с каракулевым воротником? Там еще очень хороший каракуль. Его отдать шорнику, он подберет кое-что и... Даже не выдумывайте! Мы не американцы какие-нибудь, слава тебе господи».

«Хорошо, Танюша, на сбрую это, конечно, сгодится...» — соглашался с ней Демьян Николаевич и грустно подмигивал дочери, с которой был полностью согласен в этих вопросах: он презирал все мягкое и глухое и ему тоже не хотелось, конечно, тащить на новую квартиру старые свои шубы, ни одну из которых он никогда уже не наденет на себя, старые пальто, костюмы, рубашки с истлевшими, но чистыми, отглаженными когда-то воротничками и сложенные в аккуратные стопочки в комодных ящиках.

В их доме вообще никогда ничего не выбрасывалось, кроме картофельных очисток и мусора. Картонные коробочки, принесенные из магазина, флакончики из-под старых духов, футлярчики от этих флаконов, жестяные банки из-под зубного порошка, из-под старинных каких-нибудь конфет или халвы («Халва, высший сорт, первой кондитерской фабрики наследников В. И. Жукова в Москве»), даже оберточная бумага, даже бумажная бечевка, которой перевязывались покупки, коробочки из-под лекарств, пустые катушки — все это барахло оставалось в доме и находило каким-то образом свое место в многочисленных шкафах, комодах, тумбочках, полочках и ящиках, громоздившихся в больших их комнатах в старом доме.

«Неужели повезем все это на новую квартиру? — в отчаянии спрашивала Дина Демьяновна.— Вы ведь смотрели. Там в три раза меньше площади, а эти вещи, эти шкафы и тут-то трещат от тесноты!»

Татьяна Родионовна только горестно кивала, соглашаясь с дочерью, но расстаться с какой-нибудь коробочкой или картонкой, увы, не могла.

В доме было пять платяных шкафов, или гардеробов, как их называли по старинке в семье Простяковых, два огромных

ревых буфета высотой около двух с половиной метров и два комода. Один из красного дерева и, разумеется, очень дорогой, со старинными, потемневшими затейливыми ключиками к каждому ящичку. А другой — пузатенький, фанерованный под темный орех, тоже со множеством ключиков.

Вообще ключей всевозможных рисунков, форм и размеров в доме было великое множество. Были большие ключи с такой сложной бородкой, с таким ажурным кольцом ручной работы, что это и не ключи уже были, а скорее всего, какие-то предметы, по которым можно было судить об искусстве старых мастеров, изготовивших их когда-то. Хорошая половина этих ключей давным-давно не помнила своих замков, той механической и тоже, конечно, очень сложной и затейливой утробы, которая была создана только лишь для них, — все они достались Татьяне Родионовне и Демьяну Николаевичу еще от родителей или даже от дедушек и бабушек и, по сути дела, давно утратили свое истинное назначение, превратившись в приятные безделушки.

«Есть люди, — говорил Демьян Николаевич, — которые коллекционируют старинные замки и ключи. Так что выбрасывать их просто глупо».

С ним соглашалась Татьяна Родионовна и записывала позвякивающие связки в какой-нибудь мешочек, а мешочек в свою очередь пихала в большой мешок, в котором были сложены мягкие вещи.

Дина Демьяновна никогда и предположить не могла, что в их доме хранится столько хороших веревок. Они словно бы ждали своего часа и теперь, услышав сборы, выползли неведомо откуда. Тут были старые пеньковые, толстые, крученые веревки, которыми, возможно, в давние времена крепили паруса и всякие другие снасти на кораблях; были веревочки потоньше, а были и совсем тонкие, которыми валенки подшивают, — отличная льняная дратва. И все они пошли в дело в те сумасшедшие дни, когда пришлось Простяковым, прожившим полвека в своем старом доме, трогаться с насиженного места.

Теперь даже не верилось ни Дине Демьяновне, ни Татьяне Родионовне, ни Демьяну Николаевичу, что они остались живыми и сумели, как это ни странно, все разобрать, упаковать, перевязать и перевезти с одного места на другое. Недели две после переезда ходили они как оглушенные, и рассудок каждого из них уже отказывался что-либо понимать. Но все-таки переехали.

И мало того! Демьян Николаевич и Татьяна Родионовна, войдя впервые в свою квартиру со смотровым орденом на ру-

ках, ужаснулись, увидев в комнатах коричневый линолеум, услышав непривычно тихие и чмокающие, лишние какие-то звуки своих шагов.

«Как же так? — воскликнула Татьяна Родионовна. — И в комнатах нет паркета?! Нет, Демущка, надо отказаться. Это казарма какая-то, а не квартира. Я не смогу!»

«Пусть это не беспокоит тебя, — сказал ей Демьян Николаевич, поддерживая ее, пошатнувшуюся, за локоток. — Я уже все придумал. Тут будет паркет. Наш старый, добрый паркет».

Мало того что переезд совершенно оглушил и надолго выбил из колеи бедных старичков, так Демьян Николаевич еще целую неделю после переезда приходил в опустевшие и гулкие свои комнаты, которые без мебели и вещей казались какими-то огромными и холодными, мрачными залами, и отдирая паркет, помечая цветными карандашами каждую досочку, чтобы потом настилать их в том же порядке, в каком они здесь лежали. Это стоило ему невероятных усилий, потому что паркет был посажен на столярный клей, и многие досочки трескались и ломались. Но все-таки он справился и снял почти весь паркет, больше чем достаточно для той площади, которую ему надо было застилать. Он страшно похудел за те дни, и в глазах его появился лихорадочный блеск. Лоб его от усталости и напряжения словно бы омертвел и стал желто-белым и блестящим, как полированная кость.

«Демущка, ты устал, — говорила ему Татьяна Родионовна каждый вечер. — Тебе надо сделать передышку. Ты посмотри на свои руки, они у тебя все в ссадинах. Ты получишь заражение крови, если не будешь смазывать йодом раны».

«Ах, оставь ты, пожалуйста! Какая передышка! Лишь бы успеть. Крышу должны снимать. Ругаются. А ты — передышку! Ты сама на себя посмотри! Ты валишься с ног. Тебе надо обязательно отдохнуть. Я тебе запрещаю передвигать то и дело эти шкафы, будь они неладны!»

Татьяна Родионовна, которая за те дни уменьшилась, казалась вдвое, стояла перед ним, повязав свои растерзанные, седые волосы серой какой-то тряпочкой, слушала его и словно бы силилась, но не могла ничего понять. Она совершенно не понимала, что произошло с ними, что ей теперь надо делать, с чего начинать и как уместить вдоль стен все эти деревянные коричневые громадины, между которыми она теперь протискивалась с каким-то странным выражением ужаса на лице — маленькая, седая, с серой тряпочкой на голове среди темных, загордивших свет чудовищ.

Но это еще не все! Два шкафа так и остались на лестничной площадке, потому что рабочие, посмеиваясь над Простиковыми, отказались втаскивать эти шкафы в квартиру. Вернее, не посоветовали этого делать, потому что тогда в квартиру вообще невозможно было бы войти.

—Ну как же так, Демущка! Это же очень хорошие шкафы. Их же подарпают. Надо что-нибудь придумать!» — взмолилась Татьяна Родионовна, совсем потеряв голову.

На этот раз Дина Демьяновна, тоже обезумев от всего этого кошмара, не стерпела и накричала на мать, а отец, добрейший Демьян Николаевич, стараясь сохранить спокойствие, бешено-тихо сказал дочерп:

«Не смей. Это не твоя забота.— А потом обнял за плечи свою Танюшу и дрожащим от возбуждения и усталости голосом сказал ей как можно ласковей:— Успокойся, пожалуйста. С нами ничего... Если понесут громоздкую вещь, а мы будем дома, то нам позвонят и попросят убрать шкафы. Мы их внесем на время в прихожую, а потом опять вынесем. Я уже позвонил Сергею Александровичу... Он позаботится о машине. Придется отвезти на дачу. Он поможет. Возможно, даже завтра сумеет приехать за нами».

«Эти шкафы на дачу? В сырость?! — воскликнула Татьяна Родионовна.— Они ведь погибнут там. Они отсыреют за зиму и все расклеятся».

«Ну, а что же делать-то, милочка? Посоветуй».

Дина Демьяновна, не справляясь с собой, опять в повышенном тоне стала что-то выговаривать матери.

«Дина!» — сказал ей Демьян Николаевич и стиснул зубы. И глаза его в этот момент зажглись звериным каким-то бешенством.

Дина Демьяновна заплакала в отчаянии и, махнув рукой, хотела уйти от стыда, протиснуться между шкафом и стеной на кухню, чтобы там поплакать и потом умыться, но не смогла этого сделать, и тогда она с силой стукнула шкаф кулаком:

«Пропади он пропадом!»

А рабочие, дожидаясь расчета, сочувственно посмеивались над стариками, жалея их и в то же время понимая все страдания, которые выпали им в конце их долгой жизни.

«Ничего, бабуся,— говорил один из них, похлопывая ладошкой по шкафу, оставленному на площадке.— С этими шкафами ничего не случится. Они еще вашу дочку переживут, не только вас. Пианино тащить и то легче! Они небось сплошь дубо-

вые. Таких теперь не делают. За такие шкафчики надо бы подкинуть нам по рваненькому. Разве это шкаф? Бульдозер и тот будет полегче».

Все это так и было на самом деле, и рабочий несколько не преувеличивал. Все они так измучились с этими комодами, шкафами, что, видимо, долго еще будут вспоминать страшный этот день и эти громадины, которые с трудом проходили в узких лестничных маршах и каждый раз застревали на поворотах, упираясь углами в свежую штукатурку. Все стены вплоть до шестого этажа были изранены этими шкафами, и даже Демьян Николаевич не на шутку опасался, как бы работники ЖЭКа не потребовали отремонтировать стены за его счет. Впрочем, в эти часы никто не поднимался и не спускался по лестнице — все ездили на лифте и никто не видел белых царапин и сколов на серых стенах.

Да, это были ужасные дни, и Татьяна Родионовна не раз сетовала, что господь бог не прибрал ее до этого переезда, не дал ей умереть в старом, обжитом, родном доме.

Но прошло время, добрый их друг Сергей Александрович отвез шкафы на дачу, а те, что остались в квартире, каким-то странным и трудно объяснимым образом разместились в конце концов вдоль невысоких стен большой комнаты, оставив место для высокой железной кровати, которую купил когда-то Демьян Николаевич, купил в те далекие годы, когда еще дочери не было на свете и они с Танюшей даже не помышляли о ней. Кровать эта стала как раз напротив окна по торцовой стене комнаты. Благо, что окошко в комнате было одно! Большое, но одно. Между шкафами, комодами и буфетом тяжело стал на свое законное место обеденный стол с тяжелыми резными ножками. И осталось даже место для стульев. Правда, пройти между столом и буфетом с одной стороны и между столом и шкафом — с другой можно было только в том случае, если стулья бывали задвинуты под стол. Но, спрашивается, зачем выдвигать стулья из-под стола, если не сидеть на них? С этим и Демьян Николаевич, и Татьяна Родионовна быстро смирились. И все тумбочки, сундучки и этажерки уместились под окном. К окну, к сожалению, нельзя было подойти, но это уже полбеды. Да к тому же Демьян Николаевич как раз под форточкой сумел поставить невысокий, старинный сундучок, в котором хранились старые, но не совсем еще изношенные ботинки. С этого крепкого сундучка даже маленькая Татьяна Родионовна легко доставала до форточки.

«А ты не хотела брать сундучок, — с укоризной сказала она

дочери. — Я терпеть не могу пустые современные квартиры. Это какой-то ужас! Студенческое общежитие. Кровать, тумбочка, и больше ничего. В таких комнатах пахнет казармой, а у нас, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Самое страшное, что она могла придумать в отношении человеческого жилья, это была казарма.

«Это ж просто казарма какая-то!» — говорила она, если гости накуривали в комнате.

«Почему ж ты не вытер ноги у порога! Ты ведь не в казарму вошел», — говорила она порой Демьяну Николаевичу, хотя в жизни своей эта милая женщина ни разу не видела настоящей казармы, о чем ей, кстати, напоминал всегда добрый ее Демущка, посмеиваясь над ней.

На этот раз, глядя на маму, взобравшуюся на сундучок, Дина Демьяновна горько усмехнулась и окончательно поняла, что давняя ее мечта о переезде в новую квартиру, о новой жизни в этой, пусть маленькой, но все-таки своей, отдельной квартире так и осталась детской мечтой.

А когда Демьян Николаевич, преодолевая себя, настелил в комнатах старый, потертый, свинцово-серый паркет, кое-как отциклевав его, отчето он стал пестреньким, тогда ей даже показалось, что она никуда и никогда не переезжала, а как жила в старом доме, так и продолжала жить, только теперь стало теснее в комнатах и стали пезже потолки.

Старый их дом, выложенный по фасаду маленькими кирпичиками, покрытым песочно-белой глазурью, высокий его, поблескивающий после дождей фасад с ажурным балконом на втором этаже, ржавым и опасным, по все-таки балконом, — домик их, давно уже снесенный рокочущими машинами, иногда вдруг с каким-то мягким, тревожным толчком в груди возникал в ее памяти, и тогда ей нетрудно было представить себе, как тяжело и мучительно переживали все это ее старички, если даже ей, прожившей в старом доме тридцать восемь лет, иногда казалось, что она лишилась в своей жизни не просто дома, в котором привыкла жить, но лишилась родного существа с грустными глазами под нависшим карнизом. Окна его и в самом деле казались грустными, потому что над каждым из этих высоких и узких окон были выложены из тех же глазурованных кирпичиков рельефные островерхние карнизки, похожие на изломленные в печали брови. Теперь их не было. Странно. И жалко, конечно.

Но странно было теперь и то, что, только начав жить в новом доме, не успев еще привыкнуть к новому расположению

вещей в комнате, они сразу же полюбили горячую воду и ванную, выложенную кафелем, удобную, хотя и маленькую, кухню, и ни Татьяна Родионовна, ни Демьян Николаевич и уж тем более ни Дина Демьяновна — никто не мог себе представить теперь, как они до сих пор обходились без горячей воды. И если бы им вдруг предложили, допустим, вернуться в старый их дом, то вряд ли бы они согласились на это, хотя в каждом из них долго еще было теплое воспоминание о добром доме, о высоких его потолках, потертвейшей от времени электропроводке, о шнурах, свисающих с темных потолков и псущих оранжевый абажур и холодный блеск маленькой хрустальной люстрочки, повешенной над обеденным столом. И особенно о тех глазурированных, аккуратнейших, светлых кирпичиках, которыми был выложен узкий и высокий фасад старого особняка.

Все это ушло в прошлое, все теперь улеглось и успокоилось в их новой жизни, появились новые привычки, которые давно уже стали казаться старыми — мыться по утрам теплой водой, завтракать на кухне, а на ночь принимать душ.

Появились новые удобства, но и неудобства тоже давали знать о себе: теперь до работы, до своей библиотеки, Дине Демьяновне приходилось добираться на автобусе, а потом еще на метро, — но все это тоже стало привычным.

И даже собака, которую завели Престяковы, купив на рынке беспородного щенка, стала привычной, словно она жила вместе с ними испокон веков.

Собаку Демьян Николаевич назвал Караем. Эту громкую кличку он помнил с детства, с той поры, как к отцу приезжал его приятель и рассказывал об охоте на зайцев, а маленький Демушка слушал в диком восторге, сидя у отца на коленях. С тех пор, если он вдруг представлял себе свою собственную собаку, о которой Татьяна Родионовна и слышать никогда не могла, он мысленно называл ее Караем.

Теперь, живя на окраине, Татьяна Родионовна сама первая заговорила однажды о собаке, и Демьян Николаевич, не дав остынуть этому разговору, в ближайшую же субботу поехал тайком на Птичий рынок и купил за три рубля симпатичного, лохматого серого щенка с бурой мордой.

«Это немецкая овчарка, — говорил ему хозяин и показывал потрепанную фотографию стройного, увешанного медалями, настороженно-мощного кобеля. — Это его отец».

Мужичок был пьян, и Демьян Николаевич, конечно, догадывался, что никакого отношения щенок не имеет к медалисту.

Так оно, разумеется, и случилось. Из щенка вырос нескладный, коротконогий, грудастый и лобастый кобель с висящими на хрящах ушами. Он был страшный обжора — этот Карай, и скоро спина его стала такой широкой и жирной, что ему даже бегать сделалось тяжело. Но Простяковы в нем души не чаяли, пазывая Караюшкой. Даже Татьяна Родионовна полюбила его и, когда оставалась в доме одна, разговаривала с ним, как с человеком, или, вернее, как с ребенком.

И она, и муж ее, Демушка, мечтали когда-то о зяте, который пришел бы к ним в семью, мечтали о внуке или внучке... Но время шло, а дочь все оставалась одна.

Пришел к ним на старости лет молчаливый и толстый Карай с коричневыми добрыми глазами, у которого была приятная собачья привычка — укладываться по вечерам к ногам старой или молодой своей хозяйки и задумчиво смотреть в полудреме на Демьяна Николаевича.

Это были счастливые минуты в жизни Простяковых, — минуты, когда они собирались по вечерам и предавались тихим и спокойным разговорам о жизни. А для ленивого Карая это был истинный праздник — лежать на прохладном паркете и смотреть на своих хозяев или же спать под их любящими взглядами.

Собаке этой чертовски повезло в жизни. Хотя, возможно, по-своему, по-собачьи, Карай полагал, что это и есть нормальная жизнь, что все собаки на свете живут так же, как живет он. Или даже немножко лучше.

2

Когда-то однажды, еще до войны, Демьян Николаевич, которого порой одолевали без всякой, казалось бы, причины приступы веселья и безумной радости, схватил на руки свою повизгивавшую в озорном испуге девочку, усадил ее на колено и закричал что есть духу, пугая Татьяну Родионовну: «Поехали, поехали — в лес за орехами... Динь-динь-динь! Ты у меня расчудесный рыжик! У тебя граненый хрустальный носик, у тебя ореховые глазки, и вообще ты будешь красавицей. Ты хоть знаешь, что ты у меня красавица? Я тебя щелкну сейчас по носу, и он зазвенит. Хочешь? Сейча-ас я тебя щелкну по твоему хрусталику! — говорил он, задохнувшись от восторга и любования, вызывая опять искренний визг вырывающейся дочери. — Все твои будущие женихи будут умолять тебя вымолвить хоть одно словечко, но ты, задрав свой носик, ни на кого не

обратившись внимания, пока не заметишь в этой толпе красивого и умного юношу».

Демьян Николаевич именно так и говорил: «красивого и умного юношу»,— и это очень смешным казалось дочери. Но она уже в девять лет легко могла представить себе «красивого и умного юношу», который грустно смотрел на нее из толпы, опуская длинные и густые ресницы,— мальчик или, вернее, подросток в синей матросочке с золочеными старинными пуговицами, выше всех других мальчишек и старше их всех. Он был очень похож на Колюню, сына Сергея Александровича, старого друга Простяковых, на Колюню Скворцова, который иногда бывал у них в гостях и вечно молчал— так упорно и так легко молчал, что Дине просто любопытно было бы услышать его голос.

Ей до сих пор казалось, что она так и не услышала ни разу его голоса. Видела его глаза с большими ресницами и слышала, вспоминая о нем, грустную тишину, в которой всегда пребывал этот большой уже мальчик. Лет, наверное, на пять или шесть он был старше Дины, и ей иногда казалось в те далекие годы, что ему просто скучно сидеть за столом рядом со взрослыми и рядом с ней, совсем еще маленькой девочкой, а потому он и был таким молчаливым. Ей всегда хотелось позвать его в другую комнату, но она ужасно боялась этого, потому что была влюблена в него и с детской своей непосредственностью примеривала к себе его фамилию, давно уже зная, что, когда люди женятся, жена начинает носить фамилию мужа: Дина Скворцова, Диночка Скворцова... Но она надолго забывала о нем и, лишь когда Скворцовы снова приходили в гости, исподтишка смотрела на взрослеющего Колюню, у которого усы уже стали виднеться над розовой, пухлой губой, и в ней опять просыпался тогда тайный и пугливый интерес к этому «красивому и умному юноше», который ей иногда ласково и грустно улыбался, смущая ее чуть ли не до слез.

После этих свиданий с ним она втайне подсчитывала, на сколько лет папа старше мамы, и успокаивалась: она успела уже узнать к тому времени, что муж должен быть старше жены. Во всяком случае, это для нее было важнейшим условием будущей жизни. В мыслях своих она видела его своим мужем, видела ребеночка, который будет у них, и тогда она вспоминала о старых своих и давно уже заброшенных куклах. Когда никого не было дома, она доставала со шкафа свою любимую куклу и играла с ней. Но стоило лишь раздаться щелканьем дверного замка, как она с ужасом кидалась на стул и быстрень-

ко, чтобы никто не застал ее за игрой, прятала куклу. Эти тайные ее игры вовсе не были похожи на те далекие и наивные, в которые она играла еще до школы,— теперь она безотчетно стеснялась этой игры, и щеки у нее горели от незнакомо приятного возбуждения и стыда. Это была ее первая тайна, ее какой-то необъяснимый стыд, от которого она получала неизведанное доселе и странное наслаждение и о котором никто не должен был знать.

В десять лет у нее начали набухать розовые соски и было щекотно дотрагиваться до них. Но она трогала часто свои припухшие, наливающиеся каменной какой-то твердостью, словно бы воспаленные, как при «свинке», грудные железы. Это ее навело на тревожные раздумья, она порой уснуть не могла, думая о себе и о своей странной, непроходящей болезни, пока этого не заметила Татьяна Родионовна и не объяснила ей с улыбкой и смущением, что она просто-напросто развивается физически и что это так и должно происходить.

А два года спустя, зимой тяжелого сорок первого, она шла в подшитых и очень теплых коричневых валенках по сверкающей под солнцем санной дороге, которая была вырублена в нетронутых уральских снегах, словно бы и не снега это были, а обожженный в огне, остывший и звонкий фарфор, в окаменевшей белизне которого чернели срубы изб, словно бы вдавленные в эту белизну громадными снежными паносами на крышах.

Дорога была прорублена через село, а к каждой избе от этой жесткой, глянцевой и глубокой дороги, над которой по сторонам вздымались отполированные ветром снежные валы, отходили узкие и тоже белые и очень чистые тропинки. Такие белые и чистые, будто они тоже только что были вырублены в колком, как мрамор, твердом, промерзшем снегу. Казалось, что нога человеческая еще не ступала по ним. Лишь возле крылец были едва заметные на этой гулкой тропке, пролегающей высоко над землей, рыжеватые налеты пыли, той легкой пыли, которая всегда найдется в любом человеческом жилье и которая выносятся из избы на валенках и, припудривая тропку возле крыльца, иссыкает вскоре.

Дина ходила по этим аямним дорогам и тропкам с таким ощущением, будто всякий раз шла по узеньким и высоким мосточкам, вознесшимся над заснеженной и обмороженной, но все-таки живой, притаившейся глубоко под снегом землей. Она боялась оступиться, когда шла по этим фарфоровым тропкам-

мосточкам. Ее уже напугали в школе, рассказав, как однажды так же вот девочка шла рано утром в потемках в школу, оступилась и утонула в снегу, барахталась долго, но все глубже и глубже зарывалась, опускаясь к земляному дну, пока не выбилась из сил.

Когда Дина рассказала об этом матери, та испугалась не на шутку, представив себе неожиданную опасность, которая буквально на каждом шагу подстерегала Дину, и стала провожать ее по утрам до большой дороги, до большака. Но и тогда, когда дочь, целая и невредимая, выходила на крепкую, наезженную, чуть позелененную растертым конским навозом дорогу, она подолгу еще смотрела ей вслед, пока та совсем не растворялась в предутренней, железной темноте, скованной жутким морозом.

В рассветные часы высоко в промороженное небо из каждой трубы поднимался дым, и холодные эти и словно бы заиндевелившие дымы стояли над селом огромными березами, опущенными инеем. И только возле кирпичных труб заметно было копающееся движение странного, обмерзшего дыма, который как будто бы стиснут был со всех сторон морозным воздухом и не в силах был растечься в нем, перебороть его твердую прозрачность.

В тот солнечный день она торопилась домой из школы, а за ней бежали два мальчугана, ее ровесники и одноклассники. Два брата-погодки — Петя и Саша Пухаревы, жившие тоже на окраине села, как и Дина, которой казалось или, точнее сказать, которая знала, что оба они были влюблены в нее, в «ковыренную», как они ее называли, коверкая трудное и непривычное слово.

Они бежали, бежали за ней, не отставая, маленькие и игривые, а жесткий снег похрустывал и повизгивал под их новыми, желтыми лапоточками, как под бегущей лошадкой. И ей было радостно слышать их поспешающий топоток у себя за спиной. А впереди, за крутым поворотом дороги, показалась вдруг над снегом лошадиная лохматая голова под дугой. Дина и братья Пухаревы прижались к снежному отвердевшему откосу, а мимо них, поыхивая густым и душистым паром, пробежала заиндевелшая шумная лошадка, скальвая подковами белый фарфор дороги, провизжали полозьями розвальни, мотааясь из стороны в сторону на зеркально приглаженных плоскостях дороги, и пахнуло добрым лошадиным теплом.

Но вот снова сзади только торопливый шепоток братишек, утонувших в лохматых, кислых овчинах и в таких же лохматых черных шапках.

В такие морозы Дина завидовала им, но она и мечтать не

смела об овчинной шубейке, ей бы скорее до дому добжаться, не замерзнуть, ей бы лишь колени свои под серыми рейтузами не обморозить, лишь бы руки не заплись болью в домашнем тепле — скорей бы прижаться к теплой печи, распластать оконеченные руки, красные свои пальчики, отогреться и уж не выходить из дому без нужды до следующего утра.

А вот уже и сугроб завиднелся над избой, в которой ждала ее мама с теплыми своими и ласковыми руками. А вот и тропинка, ведущая по откосу дороги вверх, на поверхность нетронутого снега, отполированного морозом и ветром. А вот и веточки, воткнутые в снег, чтоб не сбиться во тьме с тропы, ведущей к избушке.

— Пока! — глухо крикнула она в шерстяной платок, закрывавший рот и нос, и махнула рукой ребятам.

А те откликнулись ей весело и, как всегда, засмеялись чему-то, и мохнатые их, теплые шапки мелькнули за поворотом, словно какие-то черные зверьки, прыгающие по кромке снега над дорогой.

Татьяна Родионова встретила ее в этот день с заплаканными глазами и, показывая письмо, виновато сказала, кривя рот в нелепой улыбке:

— Колюня Скворцов погиб.

— Почему? — спросила Дина, еще не осознав случившегося, но уже проваливаясь в ужас, в какой-то белый и страшный снег, видя нелепую улыбку на губах у матери и блестящий ее, наплаканный нос.

— Мальчик... сын дяди Сережи, — сказала Татьяна Родионова, протягивая к ней руки, словно боясь, что дочь ее упадет.

— Не-ет, — сказала Дина, отпихивая руки. — Он пошел в военное училище. Он еще не научился... стрелять... Колюня?! — воскликнула она вдруг с испугом. — Скворцов?! Поги-иб? — представив себе праздничный стол и мальчика в синей матроске с золотыми пуговицами, которому всегда было скучно и который все время молчал.

Заплакала Татьяна Родионова, а Дина пришибленно умолкла.

Она пребывала еще в том счастливом и беззаботном возрасте, когда утраты не вызывают слез, когда жалость еще не размягчила душу или, вернее, еще не нашла себе выхода из глубин сознания, еще не было пути от сердечной боли и тоски к слезам — она еще просто не знала и инстинктивно не хотела знать, что такое смерть близкого человека: она просто испугалась, услышав страшную новость, и очень глубоко задумалась,

стараясь осознать случившееся, восстановить в памяти цепь маленьких событий и явлений жизни, которые были связаны с Колюней Скворцовым и которые теперь, сейчас, сию минуту вдруг оборвались навсегда.

Теперь уже нельзя было подумать ей о Колюне и улыбнуться своим воспоминаниям, как она делала иногда.

Теперь о нем было страшно вспомнить, потому что эти воспоминания обязательно приведут к смерти, к концу, к жуткому провалу, к обрыву, к ущелью, в котором шевелятся большие, зубастые ядовитые змеи. О них даже подумать страшно!

А Колюня теперь там, и он уже не боится этих кишащих гадов — ему теперь все равно.

Так она представляла себе в реальности первую свою утрату и с каким-то пугающим отчуждением сказала матери, желая успокоить ее:

— Мама, но он ведь был смелый.

— Он мальчик! — воскликнула Татьяна Родионовна.

— Нет, он уже... юноша был. И я бы тоже на его месте не испугалась. Ведь главное, что он не испугался... Я знаю! А ты плачешь.

— Откуда ты знаешь?! Господи! Не испугался. У тебя черствое сердце. Ты забыла Колюню?.. Мальчика, который..

Дина насупилась, уязвленная этим упреком, и вдруг с неожиданным, но хорошо знакомым Татьяне Родионовне отцовским бешенством в глазах крикнула, топнув валенком:

— Не испугался! — и заплакала от обиды и страха за Колюню.

Беду эту нельзя оплакать никакими слезами. Ушел из жизни ее молчаливый мальчик в синей суконной матроске. Можно было только найти теперь объяснения страшной беде. И Дине в тот день казалось, что она нашла призрачную замену утраты, нашла в уверенности, что Колюня, погибнув, не испугался смерти и, как всегда, промолчал, умирая, презрел копошащихся в мокром и осклизлом ущелье аспидных змей с ядовитыми зубами.

А заплакала она много лет спустя, когда Сергей Александрович, отец Колюни, и бедная Мария Анатольевна, приехав на дачу с братской могилы сына, которую наконец разыскали они на берегу реки Угры, привезли в полиэтиленовом мешочке горсть песчаной земли, на которую упал их сын, семнадцатилетний мальчишка в курсантской форме, «красивый и умный юноша»...

Теперь ему было бы сорок шесть лет.

Землю Сергей Александрович и Мария Анатольевна со слезами на глазах высыпали из шуршащего мешочка на клумбу, где росла бледная, бумажно-неживая гортензия, светившаяся фосфорическим светом в летних потемках.

В детстве Дина Демьяновна наверняка бы стала бояться этого большого белого цветка, его призрачного свечения во тьме, если бы знала, что живые щупальца его корней впитывали растворенные соли той песчаной земли, на которой погиб Колюня, ее «красивый и умный юноша». Но с тех пор было много утрат, и жалость уже давно успела размягчить ее душу. Она словно бы приобщилась теперь к извечной людской мудрости, исключаяющей страх перед мертвыми и их призрачными тенями.

Ей казалось, что еще немного, и она способна будет постигнуть истину или хотя бы приблизиться к ней настолько, что откроются ей тайны бессмертия, великое таинство самопожертвования на алтаре любви.

Она была влюблена, была преисполнена святого бесстрашия перед самой жизнью. Она просто не могла думать в то время о смерти, тем более испытывать страх перед ней.

Когда-то мама ее учила не бояться мертвых, понимая, по всей вероятности, что именно ей, дочери, придется когда-то, как, впрочем, всем женщинам на Руси, омыwać, убирать в гробах своих мертвых; она тихо говорила ей: «Ты не бойся, ты подойди и дотронься до ног дяди Васи. Поставь около его ног (а в гробу лежал дядя Вася, мамин брат) и поддержи его за пальцы». Это было ужасно — держать покойника за его окаменевшие пальцы, но она пересилила себя и исполнила все, что велела ей мать, инстинктивно почувствовав в этом странном ритуале разрешение какой-то мучающей ее загадки бытия и смерти. И еще она почувствовала после этого прикосновения трудно объяснимый душевный покой, какую-то благодать, умиротворенность и даже небывалую доселе уверенность в себе и в своих духовных силах. Она одолела страх, хотя долго еще ощущала в теплых подушечках своих пальцев проникающий до костей холод смерти.

Колюня Скворцов был тем мальчиком, который только лишь пробудил в ней чувства, похожие на любовь, а любовь пришла позже.

И много позже Демьян Николаевич застав ее в слезах, обрушил проклятия на головы всех женихов.

— Самцы лягушек! — кричал он, брезгливо топорища губы. —

Не ведают, что есть любовь! Не знают страсти! Способны лишь спариваться в теплые майские денечки и прыгать через дорогу верхом на подружке, а не любить! «Не уходи, еще сады не отцветали!» — вот их девиз. Пока цветут сады. Пока тепло! Будь они прокляты! Не плачь! Они не достойны твоей слезинки. Будь они прокляты! Прокляты! Самцы лягушек. Бесстрастные и бессовестные половые потребители... вот они кто! Половые потребности — их удел! Страсть слишком большое для них испытание. Куда там! Они боятся любви, боятся возвыситься до страсти. Господи! А ты жалеешь, ты плачешь. Плюнь! Вытри слезы и засмейся им в лицо! Проклятым лягушкам! Если он еще раз появится в нашем доме, я спущу его с лестницы или проломлю череп, так и знай! Я не могу больше терпеть этого... из-за которого ты мучаешься столько лет. Он подонок! Пора понять, что он последний подонок! Ты мне можешь ответить, что ему нужно от нас? От тебя, от меня, от мамы? Он занял слишком много места в нашей жизни, этот самец лягушки. Он прост и ясен, как лягушка: отрезать лапку, посыпать солью — лапка дернется. Все. Что еще интересного в нем есть? Пьяница. Матерщинник. Что еще? Бабник?! Господи! Ты не можешь представить себе мою боль, мое отчаяние! Это ужасно! Сознать, что дочь, что моя надежда, вечная любовь моя — все, что было лучшего, я отдавал дочери, тебе, и этого никто не может оспорить, — все отдал ей, а она спуталась с ничтожеством и плюнула мне в душу. За что? Почему ты не найдешь в себе силы выгнать его в шею? Ты боишься его? А-а! Ты боишься этого мерзавца. Бедная! Несчастная!

— Папа! — вскрикивала Дина Демьяновна сквозь слезы.

— Что «папа»! Ты накопила во мне столько зла и столько ненависти, что моя душа лопнула, взорвалась — я не могу сдерживать себя. Ты добилась, что я... Я и тебя не могу понять! Еще немного, и я буду презирать тебя за малодушие и трусость...

— Папа! — кричала истерично Дина Демьяновна, с ужасом глядя на забеспившегося отца. — Я не могу жить без него! Не смей!

Ей самой, плачущей и разъяренной, казалось, как это ни странно было, что ее крики и крики отца отдают какой-то дешевой театральностью и что можно было бы вполне обойтись без этой глупой сцены, но она ничего не могла поделать с собой. Она ненавидела в эти минуты отца и безумно любила Петю, который ушел сегодня из дому, обвинив ее черт знает в каких грехах. Она его любила с какой-то дикой мстительностью, и ей очень хотелось быть жертвой этой мрачной любви, жер-

твой своей дикой страсти. И она в то же время сама отчетливо сознавала все безрассудство своего положения.

— Я люблю его!— кричала она, искаженная гримасой плача.— Я уйду из дому! Если вы... Если...

— Ах, ты любишь!— кричал отец.— Ты низменная тварь! Нельзя любить униженно! Нельзя! Понимаешь ты или нет?! Придет, а ты опять обласкаешь его и все ему простишь! Знаешь, как это теперь называется? Собачья принципиальность. Собачья любовь! Милая, я бы встал на колени перед тобой, когда бы ты выбрала одиночество, когда бы ты любовь свою сохранила на всю жизнь... Если бы ты... Как?! Разве можно его любить?! Где любовь? Можно любить, но нельзя же терять гордости. Нельзя быть бесхребетной! Ты амеба! У тебя психика беззубки. Тебе ползать по дну, а не ходить по земле! Как ты можешь терпеть унижения? Моя дочь! Как? Я не пойму... Объясни, что произошло? Может быть, я виноват? Ударь меня тогда. Я все стерплю и постараюсь тебе объяснить — все, все с самого начала объяснить, рассказать... Готов читать тебе лучшие стихи о любви...

— Папа!

— Что «папа»! Меня слезы душат! Ты бьешь меня своей униженностью! Люби, страдай, мучайся, но не давай себя унижать... И кому?! Тебя унижает ничтожество! Кто же тогда ты есть, если даже этот лягушачий самец способен причинить тебе боль, надсмеяться над тобой и... Я не могу осознать этого! Я не верю! Ударить женщину?! Если ты даже будешь меня умолять... Ах, мерзавец! Вот слушай внимательно и заруби на носу. Если ты будешь валяться в моих ногах и просить, чтоб я не трогал этого мерзавца,— учти, я отпихну тебя ногой. Я изуродую его, если он придет. Я себя прокляну, если не сделаю этого. Возможно, и он меня ударит. Этот пегодяй, этот великодушный гений ударит меня. Да, он ударит твоего старого отца, а ты... Ты! Ты, дрянь, все равно простишь его и проклянешь отца, который подвинул руку на твоего... на эту мразь... Все! Я теперь знаю, что делать. Нет, ты не дождешься моих слез! Нет!

— Ты этого не сделаешь,— сказала Дина Демьяновна, задраленно глядя на отца.

— Я сделаю именно так, как сказал! Я ударю его, и очень сильно! Изю всех своих сил! У меня еще хватит сил сбить этого молодого мерзавца с ног. Будь спокойна. А потом посмотрим. Я никогда не был беззубкой и не позволю, чтобы мужчина бил женщину. Учти это! Дочь моя...

— Он не бил меня.

— Не ври! Мне мама все сказала. Ты пойдй взгляни, что творится с матерью. Ты нас загопишь в гроб. Твоя любовь унесит у нас годы жизни. Твоя животная страсть...

— Он не бил! Я сама...— стала объясняться Дина Демьяновна, отлично сознавая, что отец сдержит слово и ударит.— Я его... Я ему говорила... Я с ним вообще не разговаривала, за вчерашнее... А он выпил и не мог сдержаться. Он выпил, ты понимаешь? Он выпил и не мог... Он сам сейчас ужасно переживает, я знаю. Зачем за это бить человека? Но он не бил меня! Он просто сказал... Он, конечно, обманул... Это я виновата...

Демьян Николаевич смотрел на свою дочь, не узнавая ее: перед ним сидела на смятой постели жалкая, заплаканная, вся мокрая от слез, возбужденная до какого-то неслышимого утробного визга женщина с нечесанными, распавшимися волосами. Лицо ее было серое, нос красный от слез, а в глазах, затравленных и несчастных, какое-то сумасшедшее упрямство и фанатизм обреченной на муки женщины.

Он понял в эти мгновения, что никакие слова, никакие угрозы не помогут, что ее любовь к Петру безумна и не подвластна никаким доводам.

«А я,— подумал он горько,— старый медный пятак».

И, вложив всю свою боль и отчаяние в слово, сказал ей с состраданьем:

— Несчастливая.

Это был день в старом доме Простяковых, когда, казалось, все сошло с ума — все плакали: жизнь представлялась всем ужасной, будущее темным и не сулящим никаких радостей.

Поздно вечером Татьяна Родионовна заварила крепкий чай, поставила на стол вазочку с яблочным вареньем, любимую свою карамель «Снежинка» в хрустальной ладье, отделанной серебром, и пошла звать дочь к столу. Дина Демьяновна пересилила себя и вышла.

Отец понуро сидел, положив руки на белую скатерть. Верхний свет стосвечевой лампочки, дробясь в хрустальных подвесках люстры, ровным и мертвым холодом освещал комнату, коричневые шкафы, буфеты, тумбочки и белую скатерть.

От этого света, казалось, не было никаких теней, как в операционной. И только хрусталь отражал свет алмазными гранями, оживляя картину.

Три пары заплаканных глаз избегали встречаться друг с другом.

Это было не семейное вечернее чаепитие, а задумчивое напоминание друг другу о недавней ссоре, полное взаимных упреков, спрятанных за припухшими масками измученных лиц.

Глаза у Демьяна Николаевича были серо-розовыми, и Дина Демьяновна поняла, что отец тоже плакал. Его лысый большой лоб блестел на свету, а чашечка с чаем дрожала в пальцах.

Все они чувствовали себя напряженно, тайно надеясь, что кто-то первым начнет примирительный разговор. Но никто не решался быть первым, считая именно себя правым в той гнусной и крикливой, истеричной ссоре, которая все еще молчаливо бурлила в каждом из них, тупо сдавливая грудь тоской.

Чай, как всегда, был душистым и крепким, маленькие красные яблочки светились сердоликами в вазочке, а «Снежинка» холодила язык.

Все молчали.

Тогда Татьяна Родионовна тихо сказала:

— Надо есть варенье, а то совсем засахарится.

Демьян Николаевич, словно ждал все время этого замечания, резко повернулся к дочери и виновато протговорил:

— Не дуйся. Я не хотел тебя обидеть. Мне хотелось встряхнуть тебя.

Татьяна Родионовна ободренно улыбнулась и с надеждой в голосе продолжила:

— Он ведь за тебя переживает. Разве ты не знаешь своего папу? Неужели ты думаешь, что мы не хотим тебе счастья? Мы готовы все сделать, лишь бы ты у нас была счастливой.

— Не стоит об этом, — прервала ее Дина Демьяновна. — Счастье... Счастливой... Я все это отлично понимаю и не сержусь совсем.

— Даст бог, все образуется, — осторожно добавила Татьяна Родионовна. — Может, когда-нибудь он станет хорошим мужем. Мы, Диночка, просто волнуемся за тебя. Столько лет он с тобой... Ты с ним... Пора бы решить, будешь ты с ним жить, поженитесь вы или что... Мы понимаем, он твой муж. Но и ты пойми нас. Мы хотим видеть семью, мы волнуемся за тебя, переживаем. Ты не можешь нас ни в чем упрекнуть. Мы все эти годы принимали Петра как родного человека, мы старались все сделать так, чтобы он почувствовал себя не в гостях, а дома, не гостем, а хозяином. Разве не так? Ты нас с отцом не можешь упрекнуть. Но что получается? Был ли у вас с ним разговор о том... что...

— О чем?

— О том, что надо все-таки сходить в загс, расписаться.

Купить обручальные кольца. Если у вас не будет денег на кольца, мы с папой поможем. Мы уже говорили об этом... Но как вы сами-то думаете? Жить-то как?

Дина Демьяновна вертела пустую чашечку с чайками на донышке и, щура припухшие глаза, смотрела и слушала, как она движется и позванивает на блюдечке.

Демьян Николаевич поглядывал на дочь, видел набухшие от слез, прозрачные веки и ждал, что скажет она.

Татьяна Родионовна тоже вся подалась вперед, налегая грудью на край тяжелой столешницы.

Дина Демьяновна, словно бы припертая к стене этим вопросом и этим ожиданием, не могла уже больше испытывать терпение родителей, усмехнулась горько и, не поднимая глаз, сказала:

— Откуда я знаю.

Она сказала истинную правду. Татьяна Родионовна задала ей вопрос, который она тысячу раз уже задавала самой себе: «Жить-то как?» — и не знала, что ответить.

3

Много лет... Впрочем, не так уж и много лет назад она сделалась то ли женою, то ли любовницей радостного и легкомысленного человека, когда-то защитившего диплом в архитектурном институте проектом зимнего плавательного бассейна.

Это было бы, по всей вероятности, гармоничное и легкое по формам, изящное сооружение, выложенное розовато-желтыми плитами мрамора, а в плане напоминающее пловца, раскинувшего в рывке руки. Розовато-желтые, прозрачные, хорошо отмытые акварельные плитки на большом ватмане, тонкие швы между этими плитками, голубые стеклянные двери и потолок, полукружья широких лестниц и крылья-руки, в которых размещались трибуны для зрителей, — все это было исполнено в традиционной манере старых зодчих. Во всяком случае, все это именно так выглядело на бумаге. Два черненьких человечка для пропорции, длинные, стремительные автомашины, каких еще никто не встречал на улицах Москвы, несколько бледно-зеленых стрижевых лип и красивые буквы, из которых слагалось деловое словечко: «Масштаб».

— А кто эти человечки? — спрашивала Дина Демьяновна, чувствуя на плече своем тяжесть его руки. Спрашивала в шутку, втайне надеясь тоже услышать шутливое: «А это мы с тобой любимся бассейном».

И он, словно услышав, отвечал к ее удивлению:

— Это мы с тобой любимся бассейном. Вот эта длинноногая девочка — ты. Ну, а **этот** длинноногий пижон, конечно, я.

Петя Взоров был спокойным, добрым и беспечным человеком, хорошо усвоившим и впитавшим в себя за годы студенческой жизни все манеры и повадки молодого гения. Во всяком случае, именно таким избалованным, щедрым и снисходительным к завистникам, подлецам и пошлякам — великодушным и всепрощающим, легким человеком представила его себе Дина Демьяновна и не могла припять его всерьез, не могла даже подумать о каком бы то ни было продолжении, когда он, проводив ее из кинотеатра до дома, балагурия всю дорогу, снисходительно пронизируя над собой, над своей манерой знакомиться на улице, над своей проклятой вульгарностью, попросил ее о свидании, все время посмеиваясь над ее очень светлыми, пушистыми и невесомыми волосами.

— У вас что же? — говорил он. — Созревший одуванчик на голове? Смотрите, они сейчас разлетятся парашютиками. Я сейчас вот дуну...

И он, приблизившись в потемках к ее лицу, вытянул губы и дунул. Лицо его и губы в тот первый вечер оказались очень близко, упругая струйка согретого в его груди воздуха коснулась ее виска, а он вдруг засмеялся и, легко изобразив на подвижном своем лице изумление, воскликнул радостно:

— Вон, вон, вон! Видите? Я ж говорил! Вот это да! Одуванчики! Вон, вон! Летят. — И суетливо показывал рукой на увиденные им в темноте старой кирпичной подворотни летящие парашютики.

Он это изобразил так естественно, что Дина Демьяновна, считавшая себя до сих пор человеком находчивым и на розыгрыши не поддающимся, очень вдруг удивилась, и даже было какое-то мгновение, когда ей самой вдруг захотелось увидеть, разглядеть в темноте эти летящие, сдутые с ее виска теплой струйкой воздуха, пахнущего табаком, светлые парашютики. А Петя Взоров заметил это ее невольное движение и расхохотался, довольный своей шуткой.

Прошло уже много лет, многое изменилось в ее жизни, другим стал Петр, но до сих пор она не могла без стыда вспомнить свой грубый и какой-то уж очень пошловатый, как ей казалось, бездарный, по выражению Пети, вопрос. В тот вечер она растерялась, оглушенная его хохотом, и спросила, стараясь быть строгой, как если бы какому-нибудь читателю, задержавшему книгу, выговаривала:

— Вы что, с каждой новой своей знакомой проделываете эту шутку?

Петя Взоров перестал смеяться, погрузнел и, пожав плечами, ответил:

— Во-первых, мы с вами совсем еще не знакомы. Я даже не знаю вашего имени.

— Вот именно.

— Хотя думаю, вас зовут Одуванчик. А во-вторых, вы меня извините, но так не говорят. Нельзя по-русски сказать «проделать шутку». Сказать-то, конечно, можно, но все-таки, по моему, не совсем хорошо. Если шутку делать — шутки не получится. Хотя, впрочем, у хорошего профессионала... Но там профессия! Вы согласны?

Было темно в подворотне старого особняка, и Петя Взоров не заметил или, во всяком случае, сделал вид, что не заметил ее идиотского, катастрофического смущения.

Она до сих пор не могла без стыда вспомнить тот щелчок по носу и свое незащищенное молчание, которое усугубляло смущение. Когда она вспоминала теперь об этом, когда в сознании ее с какой-то казнящей ясностью проявлялся, как на фотобумаге, тот вечер и та, в общем-то, безобидная, но неловкая, фанфаронская интонация — ее вдруг ударило, как электрическим током, и она торопилась скорее-скорее забыть, прогнать, оттолкнуть это неприятное видение. Какой-то беззвучный крик возникал в ее сознании, в ее теле, в голове, заглушающий ту фразу, словно она вдруг обнаженной явилась гогочущей толпе.

У каждого человека найдется, наверное, какой-нибудь такой внешне незначительный, пустяковый случай, какой-нибудь поступок или слово, врезанное в памяти, которые когда-то, где-то, при каких-то особых обстоятельствах поставили его в неловкое или смешное положение. Чепуха! Мелочь! Глудость! А память не в силах зарубцевать эту маленькую кровоточающую рану, которая вдруг уколает в самое сердце спустя много лет: «Ах, как глупо получилось!»

Этому, как правило, подвержены натуры совестливые и эмоционально-яркие.

Для Дины Демьяновны, окончившей библиотечный институт, считающей себя знатоком русской литературы, отмечающей в речи других людей все допущенные ими ошибки и неточности, — для нее эта фраза, повергшая ее в унижительную неловкость, осталась врубленной в памяти.

И конечно же, вежливый укор Пети Взорова! Это стало для

нее тем маленьким, скрываемым от всех позором, которого нельзя простить самой себе, тем невольным душевным стриптизом, когда в возбужденном сознании растет гоголющая толпа, увидевшая твою наготу. «Ах, как глупо получилось!»

«Нельзя по-русски сказать «проделать шутку».

И именно эта фраза, или, вернее, та отвратительная неловкость, в которой Дина Демьяновна пребывала в тот вечер и в последующие дни, заставила ее встретиться с Петей Взоровым. Встретиться именно в тот день и в тот час, который назвал он, настаивая на свидании.

Она пришла исключительно для того, чтобы хоть как-то реабилитироваться перед ним и перед собой, доказать самой себе, что она тоже может поставить любого на место. Ей хотелось стереть в памяти неловкость и явиться перед ним в лучшем качестве, перед человеком, которого она сочла легкомысленным и глуповатым по своей сути, малоинтересным. Надеялась отомстить ему его же оружием, то есть словом. Она не на свидание с мужчиной, а на поединок шла.

Они гуляли в тот вечер в парке по-над маслянисто-черной, поблескивающей Москвой-рекой. Поединок не состоялся. Было холодно. Он ее звал в ресторан, но она отказалась. В этот вечер он ее поцеловал. А в подъезде ее дома они опять стали целоваться, и она с трудом уговорила его уйти. Он ушел без пятнадцати час, чтобы успеть добежать до метро.

Еще до встречи с ним Дина Демьяновна старалась убедить себя, что Петя Взоров давным-давно забыл обо всем. И была абсолютно права, убеждая себя в этом, потому что он и в самом деле сразу же напрочь забыл о ее смущении. Для него было бы противоестественно помнить зло, которое он нечаянно причинил кому-то, — он никогда не задумывался над такими пустяками. А если ему вдруг напоминали, он краснел и очень искренне просил прощения. Готов был в лепешку разбиться, лишь бы увидеть снова улыбку на лице нечаянно оскорбленного человека. Он жизни не рад был, если знал, что кто-то влился на него и плохо о нем думал, не любил его или тем более ненавидел. Его хрупкая душа не могла перенести чью-либо неприязнь, хотя при всей своей душевной хрупкости и ранимости сам он мог обидеть человека и даже не заметить этого, уверовав раз и навсегда в непогрешимую свою доброту и тот душевный комфорт в отношениях с людьми, который он вносил одним лишь своим появлением в обществе и улыбкой,

Возможно, что он обладал всеми задатками гения. Если кто-либо из друзей говорил ему порой в назидание: «Ты, старина, слишком добр, слишком неразборчив в знакомствах и улыбках. Это уже, прости, не доброта, а бесхребетность».

Он весело смеялся в ответ, скаля хорошие, чистые, с голубоватой эмалью зубы и говоря с добродушной укоризной в голосе:

«Забыли! В наш суматошный век забыли, что такое великодушие! Великодушие обзывают бесхребетностью. Нет! Я великодушен. Я умею прощать. Понять падшего и простить. Понять врага и постараться простить. В этом истинная победа духа! Простить человека...»

Он даже и Демьяну Николаевичу разъяснил как-то однажды в бесконечном споре с ним свое это нравственное кредо. И Демьян Николаевич, сраженный улыбкой и доводами «жениха», как он называл Петю Взорова, не мог ему возразить, уловив неожиданный и приятный ему самому поворот мысли.

«Да, конечно,— подумал он в тот первый момент, когда услышал подобное соображение о великодушии.— В этом что-то есть. Посмотрим, посмотрим. Великодушие!— думал он, инстинктивно пытаясь разбить его доводы.— Великодушие! Это, конечно, не каждому дано — быть великодушным. Надо быть лучше другого, чтобы позволить себе это величие духа. Да, конечно, можно простить и врага, но ведь, чтобы простить, надо его захватить, черт побери!»

И он с новым воодушевлением бросался в бой с «женихом», выставляя свой аргумент «заимей врага» и встречая непробиваемую, резиновую улыбку и раздражающее, снисходительно-терпеливое внимание молодого гения, который, надо сказать, умел спорить.

— Вот вы, Демьян Николаевич, так раздражены сейчас,— говорил он с улыбкой,— что в вас уже вселился какой-то демон противоречия. Вы меня простите, но вы сейчас ненавидите своего противника, то есть меня. И вот вам пример. Вы, судя по вашему тону, а вернее, так... вы, допустим, мой потенциальный враг в идейном, или, как там угодно, смысле... Так? Но вы со мной не можете ничего сделать, потому что я давно уже простил вам ваши заблуждения. Я прощаю. Мне легко простить вас, потому что легко понять ваше раздражение. Вы сердитесь, потому что вам трудно опровергнуть мои доводы, то есть... истину...

— Ого-го!

— Да, да, истину. Я вас понимаю. Но великодушный человек еще ведь и тот, кто убежден в своей правоте. А врагов заиметь... Не вижу смысла. Зачем? А если я не вижу и не хочу замечать своих врагов? Да! И вот еще что! Это важно. Ведь чтобы простить врага, чтобы от этого был какой-то прок...

— Какого врага? Какого врага? Ведь ты не замечаешь их...

— Стараюсь, да. Но объективно... Чтобы был прок, надо предположить, что враг твой тоже великодушен и может с честью принять твое прощение. А то ведь может случиться, что он за это прощение твое затаит на тебя такую лютую злобу, что лучше бы и не прощать его совсем. Трижды врагом станет! Так что я имею в виду врагов великодушных. А это значит — да здравствует великодушие! Вы согласны?

Когда мужчины спорили, а спорили они всегда и очень азартно, особенно Демьян Николаевич, которого была потом какая-то предательская дрожь, унять которую у него не было сил, — когда они так спорили, незаметно для самих себя заряжаясь духом неприятия друг друга, наливаясь скрытой еще от всех ненавистью друг к другу, женщины, почти не вступая в их спор, с какой-то тоже неосознанной еще и незамечаемой тревогой следили за ними, стараясь ласково развести их, отвлечь от спора, от этих «петушиных боев», как говорила Татьяна Родионова.

— Не надоела вам эта гимнастика? — спрашивала, в свою очередь, и Дина Демьяновна, обращаясь обычно к отцу.

— Нет, — отвечал он, отмахиваясь от дочери. — Твой «же-них» передергивает карты, но я тоже не пятак.

— Да, Динуль! — соглашался Петя Взоров. — Но у твоего папы в руках тоже крапленая колода. Впрочем, я готов сдаться. Не люблю играть в карты.

Татьяна Родионова, как правило, была на стороне Пети Взорова, и ей всегда казалось, что Демушка ее возражает только лишь из престижа, боясь оказаться в дураках. И она ему иногда говорила об этом при всех, даже не предполагая, какие муки рождала она в его душе и как он презирал в эти минуты милую свою и стареющую Танюшу. Она, например, говорила, прислушиваясь к их спору:

— Правильно, Петечка, правильно. Врагов надо прощать, если они есть, а лучше, чтоб их не было вовсе. А уж ты, Демушка, совсем спятил на старости лет, прости меня... На что-то тебе вдруг враги понадобились? Какие такие враги тебе нужны? Господь с тобой.

И они втроем благодушно смеялись, не представляя себе,

какие страсти бушевали в поверженном и осмеянном Демьяне, который тоже в эти минуты, стараясь скрыть свое состояние, нервно и тупо ухмылялся.

Сердцем своим он чувствовал фальшь, переполнявшую этого самоуверенного и беспечного человека, который волею судьбы входил в его дом, в его святая святых — семью.

Впрочем, чувствуя это, он спорил вовсе не для того, чтобы как-то унижить Петю, доказать себе и своим домочадцам его несостоятельность, его фальшь. Совсем нет! Он спорил с ним до нервного какого-то истощения с одной лишь осознанной и преследуемой целью — снять с души свое несогласие, душевное подозрение, увидеть, постараться разглядеть в нем человека умного, красивого и искреннего, чтобы полюбить его.

Он уже всерьез начинал бояться своей подозрительности и своего раздражения, которые всякий раз волной накатывали на него, лишь только Петя Взоров появлялся на пороге их дома.

Вот уж, как говорится, не ко двору! Хотя, казалось бы, чего желать?! Окончил институт, работает в архитектурной мастерской, не глуп, умеет себя держать. Что еще? Нос картошкой? Или, вернее, адакой маленькой и аккуратненькой свеколкой... Породой не вышел. Глаза нагловатые. Но ведь дочери-то нравится. Ей же с ним жить. Да и улыбка его все сглаживает. Вот что хорошее в нем, так это улыбка. Чего еще надо! Дочери тоже ведь скоро уже двадцать семь стукнет. Серьезное дело. Любит ли Дина? Любит, наверно. А он? Еще бы ему не любить! Он и дышать на нее не смеет. Она богиня рядом с ним. Красавица!

Так думал в те далекие теперь уже времена Демьян Николаевич, понимая себя человеком, резко отличающимся от этого насмешливого и добродушного, бестолкового и в то же время очень собранного в споре парня.

Лично себя он наделял признаками какой-то неясной ему самому, но все же существующей среди людей породы, признаками благородства, отшлифованными поколениями и переданными им дочери в таинственном генетическом коде. Не то чтобы он когда-либо специально задумывался об этом, развивал в себе эту мысль. Нет! Но это жило в нем, как нечто от него самого совершенно независимое и, так сказать, данное от бога, в которого он, кстати, не верил, подчеркивая это при каждом удобном случае.

Он сам бы никогда ни с кем не согласился, если бы ему сказали, что какая-то доля барской спесивости присутствует в его характере и манерах. Демьян Николаевич сам терпеть не мог спесивых людей и Петю Взорова в какой-то степени причислял к спесивым вырождакам человечества.

Но именно он сам, Простяков Демьян Николаевич, страдал от этого презираемого им самим порока, не ведая об этом.

Он считал себя умным человеком и, много лет работая заведующим крупной сберегательной кассой, полагал, что в этом смысле ему не повезло в жизни и при других обстоятельствах он смог бы добиться гораздо большего. Очень может быть, что он недалек был от истины, думая так.

В детстве он увлекался ботаникой, а когда учился в гимназии, стал всерьез уже мечтать об этой науке, но, углубляясь в своих познаниях, решил в конечном счете посвятить себя энтомологии.

Но!

Яркокрылая бабочка, которую он приготовился поймать своим шелковым сачком, вспорхнула и улетела навсегда.

В семнадцатом было не до бабочек, а потом — гражданская война, разруха, голод. Ему тогда пригодился отцовский опыт финансиста. Он пошел по его пути. С той только разницей, что отец продолжал хорошо отлаженное и заведенное дело, а он начинал все заново.

Никто не смог бы упрекнуть его в легкомыслии или беспечности, а главное, он сам наедине с собой не смог бы отыскать причины для упрека. Если можно так сказать, он был рыцарем без страха и упрека в своих финансовых делах, а вернее, в делах молодой республики. Он начинал с азов и, не имея специального образования, вышел на пенсию уже заведующим сберкассой.

Но для себя, для Татьяны Родионовны и, может быть, еще двух-трех друзей он сформулировал таким вот образом свое отношение к работе: «Я полюбил это нелюбимое дело». Или он говорил: «Я не люблю это любимое занятие». Ему нравилось иногда пококетничать перед друзьями и женой. Но какому мужчине не нравиться это?

А вот любовь к цветам и бабочкам у него осталась на всю жизнь. Он любил копать землю, любил дурманящий запах рыхлых комьев и хруст корней. За лето он так много земли перекапывал на дачном участке, столько дров перепиливал и перекалывал, заготавливая их на холодные дни, столько времени его руки были в земле и в тяжелой работе, что если бы

длиннопалую его руку с взевшимися в морщинки следами земли, железа, вара, каменного угля разглядеть отдельно от его породистой, как он любил говорить, осанистой, лобастой головы, от его пронзительно серых и холодных глаз с какими-то очень мужественными пепельными мешочками под нижними веками, подчеркивавшими, как он считал, его благородство, то эту руку можно было бы смело принять за руку искусного жестянщика или, во всяком случае, какого-нибудь ремесленника, но уж никак не финансового работника.

И вдруг нагловатый этот Петя Взоров принялся учить его великодушию! Нет, он не мог принять человека, который посмел по отношению к нему быть снисходительным. Он себя чувствовал уязвленным. Но, к счастью, понимая это свое состояние предвзятости, мучительно старался перебороть себя, устыдить, найти гармонию и душевно расположить себя к этому неуязвимому в споре, черт бы его побрал, улыбчивому Пете.

Но не мог ничего с собой поделать. И даже насмешливое обращение, звучащее как кличка, не в силах был сменить на нормальное, стыдливо сознавая, что это уже неприлично в его преклонном возрасте и может всякий раз обижать молодого человека.

— Ну, жених, о чем будем говорить сегодня? Какие новости в зодчестве? Кого сегодня будем поносить? Какие пороки? Какие язвы? Может быть, начнем?

А Петя Взоров, расплываясь в снисходительной и добродушной улыбке, потирал своим розовым и каким-то уж очень гнущимся пальцем побелевшие мусталышки на кулаке. Долго, с выжиданием и как будто бы с надеждой, что насмешливый и жалкий в своей насмешке старик рассмеется добродушно и запросто хлопнет его по плечу, он смотрел на Демьяна Николаевича, и из глаз его лилась искренняя, теплая и великодушно-розовая улыбка, преображающая некрасивое лицо.

Незлые эти отношения продолжались около двух с половиной лет, пока Демьян Николаевич не узнал, что его Дина, его красавица с ореховыми глазами и граненым носиком, давно уже стала женой непробиваемого, резинового человека.

— Ну и что же теперь? — оторопело спросил он у рдеющей и гордой за себя Дины Демьяновны, которая почему-то вдруг сошла своим долгом сказать матери и отцу о давно свершившемся. — Когда? Почему так? Зачем? Ты с ума сошла? Ах, да... Жена... Он твой муж? Не понимаю.

— Папа, я люблю его, и мне ровным счетом наплевать, есть у нас бумажка или нет...

Татьяна Родионова смотрела на дочь, и глаза ее были наполнены тупым испугом. Она пожимала плечами и произносила одно и то же:

— Странно... Очень странно. Чужь какая-то.

Демьян Николаевич нашел в себе силы трудно улыбнуться и, подойдя к дочери, молча погладил дрожащей рукой ее пушистые волосы. А она поймала в благодарности его волосатую руку и прижала к своей горячей щеке, зажмурившись от мгновенного стыда и восторга.

— Я счастлива, мама!— сказала она.— Папа! Вы верите мне? Я счастлива.

— Странно,— откликнулась Татьяна Родионова.— Лучше бы нам не знать об этом. Чужь какая-то.

— Что поделаешь, милая моя Танюша!— с неожиданным взрыдом воскликнул Демьян Николаевич.— Дочь говорит... Ты ведь слышала — она счастлива. Сейчас совсем другие нравы... Говорили... Все... Ты понимаешь, все говорили: «Нравы! Нравы! Нравы!» Нам все равно не понять ее счастья. Ты нас прости с матерью,— сказал он дочери, чувствуя рукой ее жар.— Но! Не понять, нет. Мне всегда казалось... Впрочем, что уж! Я хотел сказать, мне всегда казалось... То есть я знаю, я думаю так вопреки всему, что истинное наслаждение человек получает только лишь тогда, когда соблюдены все условности. Ты извини, я так думаю: по старинке! Истинное счастье, истинное наслаждение... Впрочем, я давно догадывался. Вернее, чувствовал давно... Я это чувствовал, когда слышал голос Петра. Ты заметила, Танюша? Он стал иначе со мной разговаривать. Давно уже стал иначе!

— Он хороший!— воскликнула Дина Демьяновна.— Ты его просто не сумел понять. Конечно, он не похож на... тебя. Но что ж из этого? Разве это порок?

— Нет, ты заметила, Танюша? Он давно уже. Да, да, да...

Демьян Николаевич давно уже чувствовал, что Петя Взоров с некоторых пор потерял, казалось бы, всякий интерес к спору и во всем стал соглашаться с ним, всякий раз с подчеркнутой усмешкой, с легким полупоклоном, с шутливой какой-то маской на лице говоря ставшее уже привычным: «Вполне допускаю, Демьян Николаевич». Или: «Вполне возможно». И перестал прощаться, исчезал из дома незамеченным. Был и нет. Из комнаты Дины прямо на выход.

— Хотя,— сказал Демьян Николаевич и задумался. Задумчивость его была какая-то оглушенная, он был ошеломлен всем

случившимся и не мог никак найти себя.— Может, я это придумал только теперь. Бывает. Что ты говоришь?

— Может, ты ждешь ребенка? — спросила Татьяна Родионова.— Дема, накапай мне валерьянки, двадцать капель в рюмочку мою... Там... Ну там! Да нет, не волнуйся, все хорошо. На всякий случай!.. двадцать...

— Нет, мама,— ответила дочь.— Нам нужна личная жизнь.

— Прости меня, Дина, я ничего... ничегошеньки не понимаю,— сказала Татьяна Родионова, когда Демьян Николаевич вышел.

— Все хорошо! Ты не волнуйся. Ну, мы хоть завтра... Если хочешь знать, мы уже ходили и смотрели кольца... Вернее, мы их не смогли посмотреть. Их просто сейчас нет в продаже. Но нам хотелось. Хочешь, мы завтра же пойдем и распишемся. То есть... так и будет. Так и будет! Просто не хочется быть похожими на всех. Пойми. Не хочется.

— Хочется, не хочется. Оставь меня одну, Дина. Что-то я ничего не пойму. Я не знаю. Чуть какая-то.

Дина осторожно встала и вышла.

Демьян Николаевич столкнулся с ней в прихожей и сказал с брезгливой сердитостью:

— Осторожно! — прикрывая рюмку с каплями.

Когда Демьян Николаевич вошел в комнату, Татьяна Родионова уже протягивала дрожащую руку и, как горький пьяница, стала пить мутноватую, резко пахнущую эфирными маслами жидкость.

Было слышно, как рюмка постукивала по пластмассовым ее, искусственным зубам.

Демьян Николаевич, став над креслом, в котором расслабленно сидела жена, положил руку на ее гладкие, плотно прилегающие к голове волосы и сказал с мольбой в голосе:

— Постарайся, Танюша... Постарайся быть великодушной. Я тебя очень хорошо понимаю, но попробуй, умоляю тебя.

И поцеловал ее в затылок, приняв пустую рюмку из дрожащих ее пальцев. Нет, не дрожащих. Запедшихся в ознобе, прыгающих плоских пальчиков.

— Я постараюсь, Демушка,— сказала она ему.— Я прилягу. Что-то меня знобит.

Татьяна Родионова лежала высоко на подушках, худенькие ее ноги с узкими ступнями, обтянутые шелковыми белесыми чулками, казалось, едва доставали до середины огромной по-

стели. Тело ее, легкое и сухонькое, лишь слегка вдавилось в перину. Голова ее была запрокинута, и напряженный подбородок, обрамленный дряблыми, старческими напыльями кожи, тревожно торчал вверх. Глаза были закрыты, и колпачки век, маслянисто-желтые, усталые, пропитанные по краям нездоровой синевой, чуть заметно вздрагивали. Губы Татьяна Родионовна плотно сжала, и, поблекшие, они были словно бы перечеркнуты снизу вверх морщинами. Видна была из-под беленького воротничка платья высохшая, обветшавшая кожа шеи.

Она ровно и спокойно дышала, как будто притаилась и спряталась от дурноты и тяжести, терпеливо пережидая боль.

Часто на даче, когда за окнами бушевала гроза, она точно так же ложилась на постель, закрывала глаза и, спрятавшись от молний, пережидала бурю, гром и всполохи в небе.

Она давно уже жаловалась на сердце. И с дурными предчувствиями в страхе ушла однажды к врачу. А вернулась домой радостная и помолодевшая. Врач успокоил ее, сказав, что боли неврологического характера и никакой особой опасности не представляют. «У вас сердце двадцатилетней», — сказал добрый и мудрый врач.

К врачам она обращалась очень редко, а с тех пор как побывала у этого стихийного психотерапевта, записала его фамилию и имя с отчеством, охотно рассказывая о нем примерно следующее: «Этот Колотов — удивительный врач. У нас ведь сейчас почти не осталось хороших диагностов... всякие электрические приборы, присоски, провода, черточки... Бог знает что! Грамота запутанная, но если поучиться немножко, то и я бы могла лечить. А этот Колотов настоящий диагност! Вы знаете, в районных поликлиниках часто сидят самые лучшие врачи, а во всяких там ведомственных — туда ведь по благу берут. Бездарь, а он тебе зятем приходится или знакомым. Пожалуйста! А в районных сидят умницы. Работают на совесть».

В чем-то она была права, конечно, рассуждая так, переборщив, разумеется, в отношении блага и тому подобного. Но истины ради надо сказать, что милая и когда-то очень красивая Татьяна Родионовна, Танечка в длинной черной юбке, шелковой кофточке с бесконечными рюшками и фестончиками, с пушистой, словно бы воздушной, головкой, никогда не отличалась острым умом.

Единственным ее отличием были красота и обаяние. Но именно в этом и заключалась великая и таинственная, никем еще не познанная мудрость милого этого существа. Муд-

рость недолгого и заманчивого счастья, рассчитанного на быстротечную молодость.

Человечество, соревнуясь с природой, стараясь запечатлеть мгновение истины, перевело множество тонн бумаги, холста, кованой меди, деревянных плах, создавая в красках, в словах, в звуках подобие природы и даже порой превосходя ее в своей гениальности; изваяло в живом розоватом мраморе, в глухом граните, тяжком чугуне и бронзе свое превосходство над бездушным, бесконечным и всеильным гением — природой; рассчитало в тиши прокуренных кабинетов и построило великое множество кораблей, самолетов, мостов, автомобилей, оспаривая право на несравненную мудрость. Все это было сделано огромными усилиями многих и многих поколений мастеров человечества, и никто теперь не в силах подсчитать на самых изощреннейших компьютерах ту энергию человечества, которая воплотилась в звуке, в слове, в цвете, в камне, в стали, в прозрачайшем стекле — в грандиозном том споре с великой природой, участь у которой человек создавал себя, отвоевывая право называться мудрейшим из мудрых. Многим стоило это жизни, многие кончили самоубийством, осознав себя бессильными, не найдя гармонии между своим стремлением и воплощением в материале этих несбывшихся стремлений. А те, что дожили до старости, тоже не чувствовали себя счастливыми, не достигнув и сотой доли того, о чем мечтали, — мгновение истины ускользало, маня людей идти все дальше в своем совершенстве, гнаться за неуловимым восторгом удачи, маня их в муки, в старость, в отчаяние и вековое забвение.

А она, как сотканная из чудесной пены, преисполненная небывалой еще энергии, родилась на свет с легкостью прекрасной бабочки, расцвела в своей молодости и воплотила в улыбке все то, к чему веками стремилось человечество, отразила в глазах своих воплощенные стремления многих и многих поколений, остановила мудрое мгновение и словно бы сказала с улыбкой: «Посмотрите на меня, пожалуйста! Ведь я как раз то, чего вы так долго искали. Ведь я красива, правда?! Разве не в этом счастье? Не в этом истина?»

Заманчивая и расслабляющая волю и рассудок красота женщины. Не в этом ли ее великое начало, ее мудрость?

«Остановись, я с тобой, к чему усилия и стремления, если я твоя? Зачем тебе знать, отчего вода в океане соленая, зачем тебе знать, сколько световых лет до соседней галактики, если самая великая тайна души и тела — во мне, если тайна рождения новой жизни — во мне, в непознаваемом, но доступном

тебе существе, в котором сама гармония всех твоих чувств, мыслей, дел и поступков? Все — во мне! Неужели ты не понимаешь этого?»

Великий восторг удачи! Гармония всех сущих на земле искусств, наук, философий, запечатленная в тайном мгновении истины, воплощенном в женщине.

Ты возвышен душою, когда любишь и тебя тоже любит самая красивая женщина на свете, ибо самая красивая из них та, которую ты любишь. Нет тогда других красавиц.

Если же ты заметил и осознал другую, если подумал втайне, что именно она, эта другая, вобрала в себя всю красоту природы — значит, опять ты в поисках сокровенного мгновения, неуловимого момента истины.

«Посмотри на меня, пожалуйста,— снова слышит твое сердце.— Ведь я именно та, которую ты так долго искал. Ты и родился для того только лишь, чтобы найти меня. Ведь я красива, правда? Разве не в этом счастье? Не в этом ли истина? Не пора ли отдохнуть? Ты устал в поисках истины. А ведь главная тайна Вселенной — во мне. Ты нашел истину! Ты гений. Попробуй понять эту тайну...»

Когда слушает сердце, молчит разум. И в эти мгновения торжествует мудрость женщины. Именно тогда она вправе сказать самому умному человеку планеты, которым по праву может гордиться вся цивилизация,— она вправе сказать, поглаживая его по щеке: «Глупышка. Ну разве так можно нервничать. Ты у меня глупенький, ты не умеешь даже целоваться».

Она может в гневе оттолкнуть мудрейшего из мудрых, бросив ему в лицо презрительное слово: «Дурак!»

Она все может, если она самая красивая женщина. А она всегда такова, если ее любят. Великое и беззаботное творение природы! Сколько мужей остановилось, поверив вдруг, что они на пороге истины. С размягченным разумом и сердцем поверили в счастливую случайность и в свою избранность. Сколько энергии, обращенной на любовании, пропало даром, просыпалось сухим песком сквозь пальцы, оставив человеку в конце его жизни дряблую шейку и тревожно задранный подбородок — истлевающее существо, любимое до гроба. Неужели все зря? И любовь бессильна?..

Так или примерно так складывались порой в напряженном и в то же время как бы отключившемся сознании Демьяна Николаевича эти торжественные словеса, которые он затаенно

слушал сердцем, страдая оттого, что не в силах выразить их, записать или наговорить другу в доверительном рассказе.

Он сидел в тот день рядом с притихшей Татьяной Родионовной, держа ее руку в своей руке, и грел холодные ее и словно бы обескровленные, плоские пальчики.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил он однажды, прерывая торжественный ритм раздумий.

— Хорошо, — ответила Татьяна Родионовна и открыла коричневые глаза.

Их блеск и живость давно уже отобрала у нее повзрослевшая дочь, оставив ей тусклую и выцветшую оболочку некогда прекрасных, полированных, доведенных природой до какого-то сверхъестественного сияния глаз. Она открывала те свои глаза, и тихое, спокойное ее лицо так разительно менялось в эти мгновения, что чудилось, будто внутри ее со звоном и журчаньем побежал вдруг по коричневым топазовым камням родниковый ручей и запели птицы. Нет, она не всегда просыпалась радостной, как этот ручей, и часто бывала озабочена с первой же минуты пробуждения, но ручеек все равно бежал и звенел в ее глазах. Когда же она опускала веки, чудилось, будто ручеек этот разливался под нависшим кустом ивняка и затихал.

Этот ручеек давно уже иссяк, и теперь только с помощью очень большого воображения можно было представить себе коричневые камушки, по которым скользит беспечная прозрачная струя.

«Посмотри на меня, пожалуйста, — слышал он до сих пор. — Ведь я красива, правда?»

— Может быть, пригласить твоего Колотова? — спросил Демьян Николаевич, нацеливаясь взглядом на тонкую старинную вазу, стоящую рядом на тумбочке. В этой стройной вазе покоились высушенные летом в просеянном теплом песке два больших и легких цветка гортензии. — Ты меня слышишь?

— Нет, не надо. Если будет плохо, я сама схожу к нему. Неудобно беспокоить.

— Понятно, — сказал он с игривой загадочностью старого ревивца, а сам тем временем вынул запыленные и хрупкие цветы из вазы и взял на руки хрустальное это чудо, как маленького ребенка. — Ты помнишь? — спросил он с той же загадочностью.

— Что?

— Какой голос у нее.

— Ну что ты, право! Конечно, помню.

А пальцы его неуловимым движением уже соскользнули с краешка вазы, и в комнату вылился тихий звон, который словно бы крепчал и становился с каждым мгновением мелодичнее, громче, отдаваясь какими-то сказочными переливами в тишине, и, достигнув своего апогея, вдруг рассыпался в ушах звоном тысячи крохотных серебряных колокольчиков и стал утихать, отлетая в небытие неслышных звуковых волн, каких-то немислимо частых колебаний. Но Демьян Николаевич своими большими, «породистыми», как он говорил, ушами долго еще слышал какой-то комариный писк умирающего звука. А потом, когда уже не слышно ничего было, он ощущал своей чувствительной барабанной перепонкой щекотный зуд, словно бы хрустальный этот комарик щекотал его ухо своими хрустальными усиками.

— Да-а, — со вздохом вымолвила Татьяна Родионовна.

А Демьян Николаевич торжествующе глядел на нее, и взгляд его, казалось, витал в тех немислимых колебаниях волн, на которых где-то еще летал хрустальный голосок.

В глухих ореховых буфетах, за массивными дверцами на бронзовых петлях, на глубоких полках стояло множество всякой посуды: фарфоровых тарелок с идиллическим, розово-зеленым, пасторальным сюжетом росписи, чашек и блюдец с ажурными золочеными сеточками, словно бы сам белоснежный фарфор стоял в золотой корзиночке, пастушок, играющий на свирели, розовая пастушка — кузнецовский фарфор. Множество блюд — больших для праздничных огромных кулебяк, маленьких, глубоких и мелких. Всякие соусники на высоких подставках. Фарфоровая пластинка, обрамленная серебром, расписанная виноградными листьями, — для сыра. Всего не перечести! Мельхиоровая и серебряная россыпь ножей, ложек, ложечек и вилок в выдвижных ящиках, всевозможных ухватиков, щипчиков, колец для салфеток, консервных ножей и прочее, и прочее, и прочее.

Но один буфет с инкрустированными дверцами был целиком занят хрусталем. Святая святых Демьяна Николаевича.

Когда-то его знали продавцы московских антикварных магазинов. Но с тех пор как он вышел на пенсию, посещения магазинов стали редкими. Да и продавцы эти тоже уступили места за прилавками молоденьким девочкам. Теперь его никто не искушал, как прежде. И это было хорошо, потому что денег у него стало слишком мало для искуса.

Впрочем, он никогда не слыл знатоком старинного стекла и порой покупал сущую пустяковину, откладывая в сторону

если не шедевр, то во всяком случае очень ценную вещь. Его никто не принимал всерьез в этом мире фанатиков и коллекционеров. Многие знали, что он делал одну-единственную покупку в начале года, и как бы ни был прекрасен хрусталь, увиденный им случайно, осмотренный жадными глазами, оболюбованный, он не позволял себе истратить деньги, принадлежавшие семье, если до двадцать пятого января было еще далеко. До того самого дня, который с гимназических лет запал ему в душу веселым праздничным звоном, до Татьянинного дня, ставшего, пожалуй, единственным семейным праздником для Престяковых, когда у них собирались гости и когда они пили вино.

К этому празднику Демьян Николаевич готовился загодя, исподтишка откладывал из зарплаты деньги на подарок. Он готовился к нему, соблюдая какой-то священный ритуал тайны. Он по нескольку раз обхаживал после работы все антикварные магазины, прежде чем решился купить ту вазочку, которая должна была стать лучшей из всего, что он видел до сих пор.

И она становилась таковой, когда он приносил ее в дом и дарил своей Танюше. Видя новую вазочку в ее руках, он говорил возбужденно:

— Ты знаешь, она поет, как снегирь. У нее удивительно густой и ветреный гул. Ты услышишь. Тебе понравится, я знаю. Какой звон! У нас еще нет такого.

Дине Демьяновне порой даже казалось, что отец делал подарки не маме, а себе, коллекционируя звоны.

Но прошло то время, когда Демьян Николаевич мог несколько месяцев подряд откладывать деньги на подарок и с самым серьезным и искренним видом объяснять Татьяне Родионовне, почему и на этот раз не хватает нескольких рублей, хотя его никто никогда не просил объясняться.

Он самым тщательным образом продумывал объяснения этих денежных недостатков, страхась быть заподозренным в мошенничестве и расточительстве. То он делал какие-то непонятные «взносы» на благоустройство территории кассы, то вносил деньги в помощь многодетным матерям, то с него вычитали ни с чего ни с чего несколько рублей за банкет в честь праздника, в котором он, по глупости, не принимал участия, то он давал займы несчастному алкоголику, пронающему человеку, которого он якобы искренне жалел, потому что тот был когда-то че-

стейшим человеком... «Не отдаст, конечно,— говорил он, покашливая.— Но я не мог отказать. Большой человек. А деньги никогда не отдает. Наверное, забывает». Порой он никак не мог вспомнить, куда запропастились «несчастные рублишки», и даже Татьяна Родионовна, которая давно уже обо всем догадывалась, верила, что ее Демущка на сей раз не выдурывает, а и в самом деле потерял пятерку или же у него ее выкрали. «Жалко,— говорил он сокрушенно.— Терять деньги очень обидно. Чепуха, конечно, и мы обойдемся, а все равно жалко. Счастливчик какой-то нашел... А находить какой-нибудь паршивый рублишко очень приятно. А вот терять...» Чаще всего у него выкрадывали деньги в магазинах, и, рассказывая об этом, Демьян Николаевич словно бы и сам верил в это, уверяя и домочадцев, что в магазинах орудуют шайки карманников, «паршивых сопликов», внушив даже всезнающей и доброй Татьяне Родионовне невольный страх перед мальчишками, которых она вдруг замечала в магазине. «Зашел в магазин,— рассказывал он в возбуждении,— хотел балычка купить, бело-рыбицы. Стал в очередь, а тут! Я его хорошо запомнил, паршивца! Помню, сдачу с пятерки сунул в карман». Демьян Николаевич так изошрялся в этом вранье, что даже сам никак не мог успокоиться, не мог выйти из роли пострадавшего, пока Татьяна Родионовна не говорила ему что-нибудь утешительное и ободряющее.

Надо, правда, отдать должное Демьяну Николаевичу: больше пяти рублей у него никогда не «крали», он не терял сам, не вносил, не помогал, не давал займы — обычно рубля четыре или пять, а то и трешка оставалась в его кармане.

В этой невинной игре были свои неписанные правила, которые Татьяна Родионовна знала наизусть. Она тоже должна была сыграть свою роль так, чтобы, не дай бог, Демьян Николаевич не заподозрил подвоха и с ее стороны. Она должна была обязательно поверить ему, а иногда и поворчать, побранить его, как маленького, за ротозейство и сказать примерно так: «Можно и не только пятерку, можно все деньги потерять! Уж ты постарайся в следующий раз не считать галок, а быть внимательным. Конечно, пятерка — не велики деньги, но все-таки. Ладно уж, не переживай, обойдемся».

А он, воистину как ребенок, радовался и, согнав с лица своего озабоченность, кажется, всерьез верил, что ему и на сей раз удалось ловко обвести Танюшу вокруг пальца.

«Ах ты, господи! — думал он, терзаясь своим обманом. — До-

верчивая ты душа! Глупышка моя славная. Я у тебя старый и злобный обманщик! Я злодей. Ты любишь мошенника и даже не догадываешься, сколько лжи я несу в себе».

Бывал он в эти дни безмерно ласков с Татьяной Родионовной, при первом же удобном случае успевая спрятать злополучную пятерку между страниц толстенной книги, в которую никто никогда не заглядывал, потому что это была скучная книга о бухгалтерском балансе и стояла она в глубоком книжном шкафу, задвинутая другими тяжелыми томами, к которым, кстати, тоже редко кто прикасался из домочадцев — разве только пыль смахнуть перед праздниками.

Но с некоторых пор игра эта кончилась. Пенсию приносили домой, и ни о каком мошенничестве нельзя было и подумать. Да и Татьяна Родионовна знала теперь, сколько он должен получить, знала до копейки всю сумму. Тут уж не словишь.

Теперь приходилось собирать на подарок по мелочам. Пойдет в магазин или на рынок и присвоит копеек пятьдесят — особенно на рынке: скажет, что картошка была не двадцать, а двадцать пять копеек за килограмм. Татьяна Родионовна обычно по двадцать покупала, а то и по пятнадцать копеек. «Все вы, мужчины, ужасно непрактичны», — говаривала она в назидание. «Танечка, милая, — отвечал в таких случаях Демьян Николаевич. — А кто тебе вообще разрешает таскать с рынка картошку? Разве это женское дело? А я для чего? У тебя теперь плечо заболит. Разве можно!»

Стал он и на сигаретах экономить. Татьяна Родионовна никогда не знала и не понимала разницы между сортами сигарет, любой дым был противен ей: дым «Явы» или «Примы». Если бы она даже задумалась однажды над этим, то, увидев в руках мужа красную пачку «Примы», решила бы, что он перешел на высший сорт, поняв буквально название сигарет: «Прима», значит, первые, высшие, лучшие в своем роде. А с фильтром они или без фильтра — это ей и не могло прийти в голову, это-то она не смогла бы понять и оценить.

Незаметно, исподволь, к январю месяцу скапливалось рублей двадцать — двадцать пять. Вот уж об этих сбережениях Татьяна Родионовна и в самом деле не догадывалась теперь и диву давалась, откуда у Демюшки деньги. Уж не таскает ли он из дому что-нибудь в комиссионный?

Но каждый подарок теперь все равно ей стал во много раз дороже и приятнее, милее тех, о которых она когда-то могла догадываться, зная, каким образом муж копит

деньги. Теперь же всякий раз это было сюрпризом для нее. А Демьяну Николаевичу ничего-то больше и не надо было — лишь бы увидеть жену свою в радости.

5

Впрочем, в то далекое время, когда Дина Демьяновна объявила себя женой Пети Взорова, Демьян Николаевич на пенсию еще не собирался, хотя ему уже исполнилось к тому времени шестьдесят лет.

И он, и Татьяна Родионовна в то время еще не оставляли надежды, что жизнь их дочери наладится, они с Петром опомнятся, сходят в загс и можно будет никому не говорить на будущей свадьбе, что все началось гораздо раньше, что свадьба, которую они, конечно, будут играть, запоздалая и, в общем-то, фиктивная.

Им было обидно подумать, что дочь ввергла их в эту будущую ложь.

Они еще надеялись в то время, что свадьба состоится, что у Дины будет семья, а Петя Взоров наконец-то переберется к своей молодой жене.

Ради дочери пережили они эту боль и обиду и, пересилив себя, стали ждать, не показывая вида Пете Взорову, что они посвящены в тайну их нелепой и бездомной, случайной какой-то супружеской жизни: об этом их просила дочь.

Незаметно для самих себя они стали даже заискивать перед тайным своим зятем, стали выражать, может быть, даже излишнюю радость при его появлении, старались оставить их одних и уходили частенько из дому, весело объясняя Пете Взорову, что у них билеты в кино на поздний сеанс и домой они вернутся не раньше одиннадцати часов.

Это случалось, конечно, только в осенние или зимние вечера, когда дача стояла заколоченной.

Они спускались по истертой желтой лестнице, освещенной тусклой лампочкой, и медленно брели к остановке троллейбуса: Демьян Николаевич чуть впереди, а Татьяна Родионовна, взяв его под руку, на полкорпуса сзади. Она задумчиво смотрела себе под ноги и молчала, а он шел, как всегда, откинув голову в черной каракулевой папахе, заломленной пирожком, и смотрел вперед.

Со стороны могло показаться, что эта пара вышла подышать свежим воздухом. Никому и в голову не могло бы прийти, глядя на них, что этот высокий старик в черной и плотной драповой шубе с каракулевым воротником и эта маленькая, тоже вся в

черном, повязанная серым пуховым платком поверх шляпки престарелая жевщица были замкнуты в себе и молчаливы от душевного потрясения, в которое всякий раз приводила их макая-то вездесущая, неотступная, витающая вокруг и пронизывающая холодом откровенная ложь.

Опускался ли тихий снег, выбеливая потемки улицы, дул ли сильный ветер, гоня по тротуарам колючую поземку, которой, как пеленой, задернут был выскобленный асфальт, была ли зимняя оттепель в Москве и поздние такси бросали из-под колес грязные, мокрые снеговые брызги — они медленно брели вдоль домов, ни на кого не глядя и словно бы боясь даже посмотреть друг на друга.

Он впереди, она чуть сзади, держась рукой в серенькой перчатке за его согнутую в локте руку.

Вот уж чего не могли они себе представить, задумываясь о будущем, так это своих траурных шествий по вечерним улицам, своего молчания и бессилия, своей нестерпимой тоски.

В эти часы они не могли ни о чем думать, не могли говорить о посторонних вещах, потому что любое, даже самое незначительное движение мысли с поразительной властью захватывалось сразу главной темой, от которой они бежали, о которой не могли и не хотели говорить, испытывая стыд друг перед другом.

Впрочем, они и тогда надеялись втайне, что эта нелепость — явление временное, и надо только лишь терпеливо ждать конца этих душевных мук, вытерпеть их ради иллюзорного или придуманного счастья дочери.

Если бы допустить невероятное, и попытаться взглянуть на них в эти вечерние часы с птичьего полета, и проследить их путь, то можно было бы обнаружить утомительный и печальный ритм в их движении по улице, освещенной редкими фонарями. Они возникали из тьмы, которая редела по мере того, как они приближались к светлomu пятну на тротуаре, потом неторопливо и горестно шли в этом освещенном круге и с той же медленной неизбежностью погружались во тьму и пропадали в ней, чтобы под следующими фонарем вновь войти в пустынный светлый круг и опять исчезнуть.

Когда старички уставали, они и в самом деле ходили в кино и даже смеялись в темном зале, если было смешно. И легко плакали, когда видели чужую беду на экране.

Но всякий раз, возвращаясь к обещанному часу домой, старались они придать себе бодрости и со старческой бравадой журляли молодых за домоседство, делая вид, что ничего не слу-

чилось и никто никого ни в чем, естественно, не подозревает. Демьян Николаевич давно уже перестал называть Петю Взорова женихом, обращался к нему на «вы» и говорил примерно так:

«Чтой-то вы, Петр Васильевич, плохо сегодня выглядите? По Москве грипп гуляет, не подцепили ли?»

«Да, Петя,— соглашалась с мужем Татьяна Родионова,— вы сегодня бледны, бледны... Вам нужно выпить на ночь таблетку аспирина».

(За всю свою жизнь, кроме легких сердечных капель и аспирина, Татьяна Родионова не знала лекарств. Но в аспирин особенно верила и всем советовала лечиться аспирином.)

А Петя Взоров улыбался и порой даже не удостаивал стариков ответом, ограничиваясь неопределенным пожатием плеч и такой же неопределенной кислой гримасой.

«Может быть, вам, Петр Васильевич, заночевать у нас? На улице дождь, ветер. А вы того...»

Петя Взоров после этих слов поворачивался всем корпусом к Дине Демьяновне и, загадочно вперясь в нее, усмехался, смущая этой нагловатой усмешкой всех, и в первую очередь Дину.

«Не сахарный»,— отвечала та за него, ставя в тупик своих старичков, которые ничего уж не могли понять в их отношениях.

«Ди-на,— говорила Татьяна Родионова с укоризной.— Какой тон!»

«Мне-то что! Пусть остается»,— поправлялась Дина Демьяновна, наперед зная, что Петя не останется.

Он как-то уже сказал ей:

«Нет. Ты же прекрасно знаешь. Ждут меня каждый вечер и не спят, бедняжки, пока я не приду. Они меня любят, как отца бы никогда не любили, понимаешь? Нет, не понимаешь. Младшая вообще не знает отца, а старшая помнит. Вернее, помнила, а теперь все у нее смутно. Есть теперь я. Если перееду к тебе, хорошо будет только мне. Еще бы! В такие хоромы! Для девочек же — вторая катастрофа в жизни. А я их люблю. Что еще могу, кроме любви? Ну вот еще преданность моя. Каждый вечер сладости какие-нибудь, хотя бы по конфетине. Мой отчим... Впрочем, не так! Не отчим. Мой отчим — это слишком хорошо звучит. Короче говоря, преподлейшее существо. К тому же бестолков был и совершенно бездарен. Ну ладно умел бы воровать, или деньги зарабатывать, или хотя бы начальником каким-нибудь с большим окладом... — алименты матери. А то ведь слизняк! Слова хорошего не стоит. Капля в море и та заметнее. Ненавижу

его! И даже хотел убить, когда он от матери уходил и от грудной своей. Если бы не мать, убил бы. А что мать! Она добрая, конечно, но тоже недалекая. Девяносто рублей в месяц — ее потолок. Все! И двое на руках. Теперь понимаешь? Не имею никакого права заводить семью. Я как проклятый. У меня уже есть семья. Мне порой страшно становится от этих своих отцовских обязанностей. А что я могу? Я связан даже в деньгах. Впрочем, ты уже, наверное, заметила мою, так сказать, жадность. А как быть? Иначе ведь подло! Ты можешь меня понять? Ты никогда не испытывала ничего подобного, я знаю, но у тебя же есть сердце. А потом... По-моему, мы с тобой и без того самые близкие теперь люди. Ближе не станем, если даже я перееду к тебе. Как бы не случилось наоборот. Меня ведь совесть замукает».

Она тогда хорошо поняла его и прониклась к нему испепеляющим, пронзительно-ярким чувством уважения и восторга. Ей тоже хотелось быть жертвенной и тоже хотелось забыть о себе ради тех незнакомых малюток, которым Петя заменил отца. С той поры она при первом же удобном случае стала пересылать с ним всевозможные подарки его сестренкам: то платице, то ботиночки или чулочки, то красивые шелковые ленты — и уж конечно же все оставшиеся с детства шерстяные свои рейтузы, кофточки, пальтишки и шарфики. Петя никогда не отказывался, хотя и мрачнел всякий раз и, как ни странно, никогда не благодарил, а словно бы затаивал какую-то жесткую, острую и колющую злобу.

Дине Демьяновне в эти мгновения казалось, что он со злобой думал о своем исчезнувшем, бросившем их отчине, за которого мать Пети Взорова вышла лет десять спустя после победы, так и не дождавшись пропавшего без вести с первых дней войны рядового пограничника, стоявшего на Немане, Взорова Василия Петровича. Дина Демьяновна представить себе не могла, что творилось в эти мгновения в душе тщеславного и самолюбивого человека, когда она отдавала девочкам свои теплые, пропахшие нафталином обноски.

6

Петя Взоров с рождения жил в Москве, не выезжая из города даже зимой сорок первого, чем он особенно гордился, напоминая об этом всякий раз при случае. Но лишь совсем недавно семейство Взоровых — Ниткиных, разросшееся после неудачного брака матери и брошенное пьяницей Ниткиным, отчимом и ог-

цом,— Петиним отчимом, не отцом двух его сестренки,— семейство это в какой-то степеци поправило свое положение.

В Новых Черемушках в панельном пятиэтажном слюдянисто-белом доме Петья Взоров с сестренками и матерью, жосившими теперь ненавистную фамилию отчима — Ниткины,— получили двухкомнатную квартиру.

— Почему не трехкомнатную?— спрашивала Дина Демьяновна.— Вас же четверо.

Он смотрел на нее исподлобья, словно бы спрашивал: «Ты случаем не того? У тебя все в порядке?»— но, выходя из того странного на первый взгляд, хотя и привычного для Дины Демьяновны молчаливого недоумения, отвечал:

— Потому что у нас някогда не было таких вот хором, как у вас. Была одна комната пятнадцать метров и куча соседей. По три метра и семьдесят пять сотых на душу. Если бы не план реконструкции, мы бы и сейчас стояли на очереди. А теперь вот... в препаршивейшем доме. Меня, грезившего когда-то, пихнули в чистенькую коробочку на солнечную сторону... О чем бишь я? Ах да! Грезившего... А! Что говорить. Дом меня жутко угнетает. Когда я в нем, я становлюсь таким же плоским и стерильно-белым, как он. Душа моя сплюсцивается и превращается в прессованный картон, а любая мыслишка делается плоской плиточкой. Вылетит из головы — бац! об пол — и вдребезги. На улице спрашивают: как пройти в двадцатый квартал? Я там живу, а отвечаю: черт его знает. Увижу клочок травы на газоне, в сухой глине — на душе кошки скребут. Сестренки, конечно, рады. Все-таки удобства, душ, школа рядом... И еще одна красочная деталька! Чуть не забыл... Наверху соседи варят самогон в санузле, а у нас сивухой в пятницу воняет. Соседи наши из села Семеновского въехали в дом. Одна старушка на первом этаже захлопнула входную дверь и спрашивает у меня: «Сынок, как же мне в избу-то войти?» Нет, Диночка, милая, я не зову тебя в гости. После твоих хором... Нет! Увидишь убожество наше и разлюбишь, чего доброго.

Когда он говорил это, Дина Демьяновна чувствовала себя неловко перед ним, точно он упрекал ее в том, что у нее есть и было всегда приличное жилье, счастливые отец с матерью, а вот у него, Пети Взорова, не было някогда и нет. Ей неприятна была ядовитая его усмешечка и в то же время какой-то затаенный, стертый страх в глазах, словно он боялся чересчур разозлить, вывести из терпения свою жертву, словно ему приятно было мучить, но и страшновато между тем. Так трусливый мальчишка мучает несчастного котенка, наслаждаясь воплями и собствен-

ным страхом. В эти минуты Дина Демьяновна не решалась взглянуть на него, инстинктивно охраняя себя от его усмешки пополам с презрением и трусостью. Что-то грязное и зловонное поднималось в Пете Взорове, захлестывая сознание мутью, стоило ему только заговорить о своей семье и о семье Дины Демьяновны, о своем жилище и о жилище Простяковых. У него даже голос менялся: к горлу подкатывал какой-то воздушный шарик и, подпирая, мешал говорить спокойно. Петя начинал задыхаться от волнения, хотя и старался смягчить свое состояние гримасой улыбки, сознавая, вероятно, что Дине Демьяновне не под силу понять и оценить его злости. Он не хотел быть неправильно понятым, боялся быть причисленным к завистникам. И именно это больше всего злило и угнетало его.

А Дина Демьяновна видела в эти минуты перед собой и слышала лишь всего-навсего человека нервного и слабого и, оберегая Петю в своем сознании от низменных его страстей, не желала замечать злости, с которой он сам с таким трудом справлялся. Но все-таки справлялся.

— Петя, — говорила она как можно ласковее, — где же ты разглядел у нас хоромы? Я терпеть не могу свои комнаты, и ты это знаешь. Все-таки в новом доме современные удобства, а здесь даже нет кухни, не говоря уже о ванной. У нас плита стоит в прихожей. А потом вся эта рухлядь, эти шкафы... У нас уже ремонта не было лет, наверное, двадцать. Посмотри, какие трещины на потолке. А ты говоришь — хоромы... Странно как-то.

Петя Взоров смотрел на нее исподлобья и молчал.

Но все-таки однажды летом, когда они были свободны и когда у них словно бы опять начались, прерванные холодами, медовые месяцы их скрытной супружеской жизни, — в жаркий и горячий день Петя Взоров сказал:

— Мы сейчас поедem ко мне. Должна же ты узнать, как я живу. Тебя, кажется, это совсем не интересует. Даже обидно.

И она с радостью согласилась.

Жара в Москве стояла невыносимая. Выпить стакан холодной газировки было невозможно, найти мороженое тоже трудно, потому что всюду — около автоматов с фырчащей водой, возле фургончиков на колесах, возле квасных цистерн и мороженщиц толпились изнывающие от жары люди.

☞ Зато у меня в холодильнике — три пива, — говорил Петя Взоров, когда они с серой Профсоюзной улицы вышли на широкий сквер, только что народившийся, напоминающий пока еще

кое-как приведенный в относительный порядок пустырь, на котором в сухой, потрескавшейся глине росли живые и торчали уже мертвые прутья будущих тополей, лип и рябин. Были тут и лиственницы с пожелтевшей хвоей. Все это широкое, уходящее вдаль, прокаленное солнцем, плешивое, с зелеными травяными островками, глиняное пространство, через которое по одной из бесчисленных тропок шли Дина Демьяновна и Петя Взоров, было захламлено какими-то серыми обломками досок и вросшими, закованными в сухую обожженную глину кирпичами и представляло собой зрелище безрадостное. Понятно было, что все эти доски и кирпичи, цементные обломки с торчащими ржавыми прутьями арматуры лежали тут с весны в иссушенных теперь солнцем, потрескавшихся, как солончаки, донышках огромных луж.

Дина Демьяновна здесь никогда не бывала раньше, и ее, привыкшую к старым улицам Москвы, удивляла теперь муравьиная бестолковость людей, которые шли где попало, сокращая свой путь любыми способами, лишь бы скорее добраться до дому или автобусной остановки. Здесь не было привычного порядка улицы. Люди словно бы растерялись и не знали, как себя вести на этой глинистой, прокаленной солнцем, застроенной белыми домами земле. Дома здесь тоже были выстроены, казалось бы, без всякого порядка. Бесчисленное множество плоских стен и одинаковых окон. Нагромождение низких и высоких, длинных, вытянутых по горизонтали и поставленных на попа, однообразных плоскокрыших домов. Белые панельные дома, поблескивающие змеиной чешуей керамической плитки, ослепительно сияли на солнце. И лишь дома из песочно-желтого кирпича вносили в этот хаос голого блеска подобие живой прохлады, отдаленно напоминая песчаные обрывы речных берегов.

Под окнами нижних этажей розовели высокие цветы и тянулись по стенам пропыленные вьюнки, закрывая зеленью окна. Сидели старушки на лавочках у подъездов, играли дети, поблескивали крыши автомашин, вспыхивал хром бамперов и решеток радиаторов. Было непривычно шумно от детских гулких голосов. Пахло стройкой и новым линолеумом.

И было такое ощущение у Дины Демьяновны, что она, ослепленная и оглушенная, бежала, бежала вдоль белых фасадов, пока наконец не поняла, что белый дом, мимо которого они стремительно шли, вспотевшие и перегретые, и есть тот самый дом, в котором жил Петя Взоров, потому что он с кем-то здоровался, кто-то кивал ему в ответ, кто-то с любопытством поглядывал на Дину Демьяновну, на ее полотняное платье, вышитое русским

орнаментом, и на белые ее, докающие металлическими шпильками, модные в то время, остроносые туфельки. И ей хотелось тоже здороваться с этими людьми под солнцем, и она чувствовала в душе странное желание понравиться всем этим старушкам, сидевшим у подъезда, к которому они наконец-то прибежали и свернули в него.

Юркнули, ослепленные, в каменную, гулкую тьму и прохладу, в неистребимый запах линолеума и сухого бетона и поплыли наверх в этой прохладе, шагая по узенькой, серой и совсем еще новой лестнице с голубым пластмассовым поручнем перил.

Дина Демьяновна знала, что Петя Взоров жил на четвертом этаже.

Она была оглушена новыми звуками, новыми запахами, ослеплена новым солнцем, сиянием фасадов, блеском окон — и теперь, войдя в тихую и как будто вымершую квартиру, в окна которой вливалось жаркое солнце, нагревая лучами коричнево-лоснящийся линолеум, — теперь она вдруг уловила знакомый запах жилья, словно бы вошла в свою собственную комнату, услышала знакомый тихий звук шепелявящей где-то воды...

— Ну, слушай! — сказала она радостно. — У тебя просто великолепно.

А Петя Взоров с хмурой улыбочкой взглянул на нее исподлобья, посмотрел, как старик, из-под очков и погрозил ей кулаком.

В квартире была дешевая, поблескивающая свежим лаком, легкая мебель — целый гарнитур под орех, предел мечтаний Дины Демьяновны. А в маленькой комнате, заваленной ватманом, тихо тикали на стене большие часы. Линолеум под ногами чуть слышно и резиново-липко чмокал, издавая звуки легких поцелуев.

— Так, — сказал Петя Взоров, не зная от смущения, что ему теперь надо делать, и стал взволнованно потирать гибким своим пальцем мусталышки на руке. — Да! Пиво. Мы сейчас с тобой выхлещем эти три бутылки и придем в себя. Я уже расплавился. Тут еще кожаная сторона, — говорил он уже на кухне, хлопая там дверцей холодильника и звеня бутылками. — А мама на весь день укатила к девочкам в лагерь. Воскресенье! Родительский день.

— Жаль, мне хотелось познакомиться с ней, — тоже громко сказала Дина Демьяновна, убедившаяся с сожалением, что в квартире нет книжного шкафа, нет книг. Она сразу почувствовала, как только вошла, что чего-то здесь не хватает, а теперь вот по-

няла, что не хватало книг. Всего одна застекленная полка в маленькой комнате.

— Что?— спросил Петя Взоров, входя с бутылками, прижатыми к животу.

— Хотелось познакомиться.

— Мама как мама. Мариванна! А две сестры ее, мои тетки — Поливанна и Верыванна. Между прочим, одинокие. Ладно. Пошли ко мне и там... Вот только... придется из чайных чашек... Ничего?

— Конечно,— согласилась Дина Демьяновна, подумав вдруг, что она никогда еще в жизни не пробовала пива, а тем более из чашек. Не все ли равно? Но когда увидела вспотевшие, холодные бутылки, очень захотела попробовать.

Большой письменный стол в комнате у Пети был не гарнитурный, а старый, массивный и удобный для работы. У стены стоял зеленый диван, на полу валялись скомканые носки, которые Петя зашвырнул ногой под диван.

— Садись,— сказал он, ставя бутылки на край стола.

Но она рассматривала пожелтевшую гравюру на стене, сплошную вереницу сморщенных островерхих домов, булыжник, горбатый мостик через реку.

— Трофеей моего отчима. Единственное, что он оставил... А мне нравится,— сказал Петя и обнял Дину Демьяновну сзади, оглушив поцелуем около уха.

Она тут же повернулась к нему и сама обняла его и тоже стала целовать потное его лицо. Но он осторожно развел ее руки, усадил на диван, нажал клавишу «Спидблы», из которой ворвался в комнату громкий мужской голос, обещавший опять жару «в Москве и Подмоскowie в ближайшие сутки», а сам стал задергивать глухие шторы на окне.

— А пиво?— спросила Дина Демьяновна в послушном ожидании.

— Потом.

— А если придет твоя мама?

— Она вечером придет,— отвечал Петя Взоров, поддергивая крючки, застрявшие в жестяной рейке.

— Оставь ты ее в покое,— сказала Дина Демьяновна, щурясь в смущенной улыбке и слыша надоевшее ей жестяное, дребезжащее жужжание крючков в пазу рейки над окном.

Но Петя все-таки подставил мягкий стул, разулея, влез на него и, поправив застрявший крючок, сдвинул штору. В комнате воцарился оранжевый полусумрак.

— Тут голуби и воробьи летают,— сказал он, глядя на Дину

Демьяновну, которая в этом сумраке казалась смуглой.— Между прочим, на этом диване еще не сидела ни одна женщина, которая хоть чуточку могла бы сравниться с тобой. Ты гениальна на зеленом фоне.

— Дай мне глоток пива,— попросила Дина Демьяновна.— И закрой дверь. Все-таки... как-то... А вдруг твоя мама придет раньше? Петя, ты слышишь меня? А если мама? Ты оглох? Вообще-то ты сумасшедший. Ты меня оглушил, и у меня звенит до сих пор. Что ты все время улыбаешься? Перестань. Я прошу, перестань. Будь хоть раз серьезным.

...Пиво не успело согреться и обожгло пересохший рот льдыстым, колючим и резким холодом. Прозрачная золотистая жидкость истекала тонкими пузырьками газа, которые облепили белые стенки чашки, золотясь на фарфоре. И Дина Демьяновна испытывала наслаждение, отхлебывая маленькими глотками хмельную холодную горечь. А Петя, сорвав жестянку с очередной бутылки о край своего стола, пил прямо из горлышка, высоко задрав голову. Дина Демьяновна видела и чувствовала, с каким удовольствием он пьет пиво, и, заражаясь его жаждой и наслаждением, допила до дна большую фаянсовую чашку, на которой был отпечатан голубой силуэтик какого-то павильона ВДНХ. А на другой стороне витиеватая серебристая надпись: «Милой Марусе на память в день рождения от Полины. 15 апреля 1958 года». «Очень трогательно»,— подумала она.

— Я пила из маминой чашки?— спросила Дина Демьяновна.

— Почему? А-а, надпись! Нет, конечно. Она из нее не пьет. Поливанна презентовала от щедрот своих. Главное — с надписью. Хочешь еще пива?

Именно в этот, далекий теперь уже день Петя Взоров и показал ей свой дипломный проект плавательного бассейна с двумя черными длинноногими человечками на сером асфальте.

— А приходится иметь дело с белыми кубиками и зеленым макетом. Ломать голову над тем, как бы сантиметра на два сдвинуть перегородку комнаты или как из простой плоскости сделать идеальную, чтоб никакого намека на форму. Впрочем, ерунда. Моего труда пока нет ни в чем. Можно и из кубиков. Можно все! А я токарь или пекарь — точу детальку, а порой и не знаю, для чего и куда. Пекарь-то в наш век художник! Я даже не пекарь. Честно говоря, не знаю, за что мне платят деньги. Я бы себя выгнал к чертовой матери из мастерской. Не выгоняют. Говорят, хороший работник. Разработчик, вернее. Разработчик замыслов. В общем, все не то. И плавательный бассейн этот — чушь собачья. А что делать? Стандарт. Шаблон. Нет, ты ничего не по-

нимаешь. Скажи: «Нихт фёрштейн». Я немецкий когда-то учил: «Комен ди тафель»,— единственно, что запомнил. «Подойдите к доске». Или вот еще: «Зер шлехт, Взоров». «Очень плохо». А между прочим, «Анна унд Марта баден». Слушай, поехали сейчас в Серебряный бор. Это идея! Как ты?

— Но я же не одета.

— Ну одевайся скорее.

— Я про купальник.

— Ах да, купальник! У меня, кстати, тоже нет плавок приличных. Значит, отпадает. Может, купить водки и напиток? Денег нет. Отпадает.

— Замолчи, дурачок.

— Что бы это такое придумать? Ну вот что... Ты замечаешь?

— Что именно?

— Я опьянел. Знаешь, песня такая есть: «Иван, кричат, Иван! Плыви сюда, есть пива жбан! А я от качки полупьян и от своей работы пьян». А можно и так: «А я от качки полупьян, я от своей любимой пьян». Как тебе нравится? «Я от своей любимой пьян». Слушай, ты действительно гениально выглядишь на зеленом фоне. Возлежишь с розовыми сосисами. В тебе что-то аристократическое есть. Портреты Рокотова... Кого еще? Черт возьми! Давно не бывал на выставках. Ну поедем сейчас куда-нибудь! Хоть в зоопарк.

— Может, на дачу?— спросила Дина Демьяновна, любуясь Петей, который был сейчас в ударе и болтал без умолку всякую чушь и, кажется, очень нравился самому себе, пребывая в этом легкомысленном и радостном состоянии.

Он был мускулистый, и у него были прямые, очень напряженные ноги. Он знал об этом и не стеснялся своей наготы.

— Нет,— сказал он.— Завтра на работу. Да и не хочется. «Ну что, жених? Какие новости?» Ты ему скажи кстати, чтобы он насчет жениха хотя бы повременил немножко. Неудобно как-то говорить ему об этом. Вот что! Поехали сейчас к тебе, чай пить. А то у меня тут... сама видишь. Что она тут написала? Ох, ох! «Милой Марусе на память...» Царская чашка. Вот чего нет, того нет. Разве из такого хархора попьешь чайку? Из этого хархора водку пить и то противно. Поехали? Твои, надеюсь, на даче?

— Конечно.

— Может, оставить записку, что я не приду сегодня?

— Оставь.

— А она с ума сойдет?

— Ну почему же? Ты ей не говорил разве?

— В общих чертах.

— Ну как хочешь. Странный ты человек. Тебе сколько лет? Пятнадцать?

Петя Взоров улыбнулся снисходительно и задумался.

— Да, конечно, — сказал он в этой задумчивости. — Поехали.

И что-то быстро начертил на клочке ватмана черным фломастером, положив записку на обеденный стол.

7

Когда они снова вышли из подъезда, из каменной его прохлады в солнечное пекло, Дина Демьяновна почувствовала себя вдруг очень неудобно и прошла напряженно, как по буму, мимо бессменных часовых, мимо двух старушек, сидевших на лавочке, которые, как показалось, с осуждением оглядели ее с ног до головы.

Все вокруг казалось выгоревшим и обесцвеченным. Даже большие кучи торфа, сваленные на сухом газоне, покрылись сверху белесым пеплом, словно бы давно уже сгорели, превратившись в золу.

Солнце, видимо, решило именно в этот послеполуденный час dokonать людей, поселившихся здесь, на этом пустыре, а заодно с людьми сжечь и тонкие хворостинки липок, бледные лиственницы, жидкие березки — все, что двигалось, росло и кое-как еще зеленело.

Петя Взоров, напившись пива, нес пиджак на руке, то и дело вытирая потный лоб и шею, пока они ехали в центр Москвы. И лишь в метро, глубоко под землей, дохнуло прохладой.

Замоскворечье, старая окраина Москвы, становилось в те годы центром. Градостроители с какой-то невиданной, неслыханной доселе жадностью захватывали все новые и новые участки вокруг привычной, устоявшейся границы Москвы. Бывшие заставы с помпезными полукружьями въездных зданий теряли былое значение не только по названию, но и по архитектурным своим особенностям, олицетворявшим совсем недавно начало города, въезд в него. Новые улицы, кварталы, площади, перекрестки, проспекты с какой-то невероятной поспешностью занимали тихие подмосковные поля, огороды, вишневые, крыжовниковые, смородиновые сады. Подминали своей бетонной тяжестью травянистые луга и скромные берега отравленных речушек и ручейков, струящихся среди зелени к Москве-реке. Окружали удивленные деревни грохотом бульдозеров, повизгиванием кранов,

шипением пневматических тормозов, лязгом и стуком, пронзительным блеском электросварки, давя своей громадой голубые наличники за пестрыми теньями частоколов, тесные и ухоженные огородики с морковкой, укропом и луком на грядках, скворечники на обреченных березах. Деревья, встречавшиеся на пути, не останавливали натиска голых в своей примитивной изначальности конструкций чудовищ. Словно пожухшую, почерневшую прошлогоднюю листву сметало их безжалостное время, не оставляя ничего, кроме, быть может, названия районов новостроек, на которые не поднималась рука. Овраги тоже не в силах были задержать наступавший бетон. На месте засыпанных земель, утрамбованных оврагов вырастали серые великаны с вереницами поблескивающих окон.

Взбесившийся бетон обтекал своей лавиной лишь подмосковные перелески, оставляя нетронутыми эти зеленые островки, эти фабрики кислорода, как стали называть ученые люди и газетчики березовые, хвойные и ольховые перелески. Линии высоковольтных передач, питающие огромный город энергией, пустычными и голыми, широкими просеками легли между побеленными массивами расползшейся, разбежавшейся Москвы: неприкосновенные артерии, дающие свет и силы растущему городу.

Воздух! Вода! Энергия! Новый бог в трех ипостасях, которому стали поклоняться люди. Другому не осталось места в этом скрежещущем хаосе вздыбленного, сваренного, окрашенного в белый цвет и заселенного людьми железобетона.

Не хватало названий для новых улиц и проспектов. У людей словно бы иссякла фантазия, и многие улицы носили порядковые номера — первая, вторая, третья, четвертая...

Окружная железная дорога с пыхтящими маневровыми паровозиками осталась далеко позади бетонных массивов.

Казалось, ничто уже не в силах было остановить этот проправшийся сквозь городские заставы каменный поток человеческих нужд и надежд.

Но был очерчен бетонный круг кольцевой автострады и было сказано магическое: «Хватит! Дальше не быть городу. Все, что за дорогой, — не Москва!»

Надолго ли?

А в центре Москвы, или в «городе», как стали говорить отдаленные новоселы, было в то время пока еще тихо. Исправно тратились деньги на капитальные ремонты, приходилось чинить и латать худые крыши, менять истлевшие оконные рамы, трухля-

вые венцы осевших особняков, замазывать трещины в штукатурке, красить заборы, скрывавшие от прохожих помойки и провисшее до земли белье, а изредка, к праздникам, красить и дома в бесконечных переулках и тупиках великого города.

Во всяком случае, и в голову не могло прийти старикам Простяковым, что они доживут до того дня, когда придется им расставаться с трехэтажным, крепким и плотным, как осенний боровичок, домом, фасад которого был выложен маленькими эмалированными кирпичиками.

Они помнили этот дом, когда ступени крутой желтой лестницы из мягкого известняка были еще совершенно новыми. Теперь же каждая ступенька была похожа на кусок какой-то старой, стертой, желтой пемзы. Татьяна Родионовна даже жаловалась теперь иногда, что ей стало трудно подниматься на третий этаж по этим промятым ступеням, а Демьян Николаевич обычно подшучивал над ней, хотя и соглашался потом, что не годы тут виноваты, а истертые камни, если жenuшка его начинала сердиться. Они помнили зеленый палисадник перед домом и разноцветную булыжную мостовую, цоканье копыт и запах конского навоза. Булыжник и теперь еще остался в подворотне, зарастая каждую весну нежной и упрямой травкой. А под булыжниками жили маленькие черные муравьи, роя свои норки между камней.

Когда же Дина Демьяновна, прослышав, что дом их тоже скоро снесут, рассказала об этом своим старикам, не скрывая радостной своей надежды на будущее, они не на шутку обиделись и рассердились на нее, словно она не о доме, а о них самих сказала, о неизбежности их собственной гибели. Они наперебой старались доказать глупой своей и дерзкой дочери, что этого не может быть никак, потому что дом их очень крепкий и большой, что он никому не мешает и простоит еще лет сто, а то и больше, а если сделать хороший ремонт, починить как следует крышу, подвести горячую воду, установить ванны, хотя бы по одной на каждом этаже, то дому вообще цены не будет.

Они так и говорили: «цены не будет»,— словно речь шла о продаже.

На эти первые разговоры, которые с некоторых пор стали обычными в их семье, тратилось столько энергии, старички так взволнованы бывали, столько отчаяния было в их голосах, так истово искали они убедительные доводы в пользу дома, так объединялись они в своем старании доказать невозможность этого варварства, что долго еще, прежде чем успокоиться, говорили между собой, забыв про Дину Демьяновну, осуждая нелепые, дурацкие слухи, которые крепили год от году, и уже не дочь, а са-

мих себя старались убедить в невозможности такого безобразия.

Демьян Николаевич успокаивал Татьяну Родионовну: «Нам-то с тобой,— говорил он со вздохом облегчения,— все равно не дожить до этого. Стоит ли волноваться!» А Татьяна Родионовна с горестной улыбкой соглашалась с ним и успокаивалась. «И то верно,— говорила она.— Не доживем, слава богу... Нет, но надо ж такую глупость придумать! А чердак! Здесь такой удобный чердак! Нет, я просто откажусь. Не поеду ни в какой новый или разновый дом! Где я там белье буду сушить? Может, прикажете в прачечную сдавать? Спасибо! Я не такая богачка, чтобы портить белье в этих прачечных. А потолок...»

И разговор их, казалось бы иссякший, начинался сызнова.

Дина Демьяновна терпеть не могла «жуткого консерватизма», как она называла все эти разговоры, и, распаяясь, готова была расплакаться от обиды, защищая свою слабую надежду на новую квартиру.

Ей осточертел этот холодный дом с подмокающими осенью и весной потолками, она ненавидела темный закуток прихожей, в которой стояла газовая плита, терпеть не могла вечно сопящий, осклизлый, покрытый холодными, студенистыми каплями ржавый бачок в уборной, вспухшую трубу на отсыревшей и тоже вспухшей стенке, покрытой каким-то ивистым лишаем. Она безумно завидовала людям, живущим в новых квартирах, а порой ей даже казалось, что все жизненные личные неудачи слуганы и притянуты липкими паутинными нитями к этому дому, словно бы она и не человек вовсе, а серая муха, увязшая в захлапленном пыльном углу. Она не то чтобы понять, она простить не могла отцу и матери их фанатической преданности этому дому, радости их не могла постигнуть и простить того явного чувства полного благополучия, в котором пребывали большую часть жизни упрямые ее старики, словно бы издевавшиеся над своей дочерью, не подозревая даже, в какое отчаяние они повергают ее иногда своими разговорами о неизбежности и о вечности старой их ракушки.

Эти ее чувства неприязненного, брезгливого отношения к своему дому пробудились и ожили, не давая ей покою, именно в то далекое теперь уже время, когда в Москве начался строительный бум, когда стали проектировать дома с отдельными квартирами, рассчитанными на одну семью. Только и разговоров было в Москве, что об отдельных этих квартирах со всеми удобствами.

Но особенно ярко она осознала всю прелесть нового жилища, когда побывала в гостях у Пети Взорова. И вообще тот знойный день надолго запал ей в память. Холодное пиво, истекающее тон-

кими ниточками пузырьков, сумасшествие, состояние полной отрешенности, радостное какое-то безумие, ежечасное, ежеминутное желание чувствовать себя женщиной всюду, где только была малейшая к тому возможность — быть свободной и в то же время покорной женщиной.

8

В то жаркое лето, празднуя с Петей Вzorовым свою свободу, отдавая ему все, что могла отдать, и не требуя ничего взамен, кроме его страсти, — в то лето она еще не задавала себе вопроса: «Как жить?»

Она не ведала в то прекрасное лето, которое слилось в ее сознании в единый жаркий день, в единую душную ночь, никаких сомнений и тревог. Это было лето ее безумия, когда единственным вопросом, волнующим ее, был вопрос: где, когда и как увидеться с Петей Вzorовым, как, когда и где остаться с ним в том до жути бесконечном восторге и наслаждении, в том счастливом бесстыдстве, которое год назад она и представить себе не смогла бы и похолодела бы от страха перед будущим, если бы кто-то напророчил ей нечто подобное.

Впрочем, она и об этом тоже не задумывалась, втайне очень довольная собой, презирующая всех замужних, скованных семейными обязательствами и, как ей казалось, несчастных и безобразных в своем коровьем покорстве женщин. Она лишь постоянно чувствовала какую-то внутреннюю свою, победную, восторженную улыбку, словно бы кто-то со стороны все время разглядывал ее и удивленно улыбался, не узнавая и поражаясь тем переменам, которые произошли с ней. Она даже не спрашивала себя: любит ли она Петю Вzorова. Любовь ли это вообще? А если ее спросили бы вдруг об этом, она бы, наверное, очень удивилась и рассмеялась, не поняв вопроса. Для нее тогда не имело никакого значения это странное и старое слово — любовь. Она в то лето была как бы воплощением самой этой любви во всех ее проявлениях, и сознание ее просто не вмещало блеклое это и ничего не выражающее понятие. Что это? Она лишь испытывала невыразимую и постоянную благодарность Пете Вzorову: в то лето он был тем единственным и неповторимым человеком, который только и понимал ее, ни в чем не осуждая, а, наоборот, восторгаясь ею в самых ее безумных и, казалось бы, ненормальных, диких проявлениях. Ей даже самой потом, когда она оставалась одна, эти ее проявления казались до ужаса бесстыдными и просто непозволительными с точки зрения

недавних ее понятий и представлений о нравственности, которым она была верна до сих пор и истово оберегала с девичьей наивностью. Но именно этот тайный и жаркий стыд за себя снова и снова влек ее к Пете Взорову, к тому единственному сообщнику преступления, который в состоянии был не только понять, но и потребовать от нее новых преступлений, всякий раз преклоняясь перед ней в восторге, утверждая своим участием ее уверенность в неизбежности новой той жизни и новых представлений о том, что есть зло, а что добро.

Получалось так, что с точки зрения недавнего своего прошлого она творила зло, живя по своим каким-то, самой ей неясным нравственным законам, которые никогда не признавались людьми законами. Но в то же время она творила добро, потому что, отбросив условности, предавалась своим искренним чувствам, не задаваясь вопросами: зачем, почему и для чего? В этом она видела добро, в искренности своих чувств, не огражденных никакими соображениями житейской, и, как ей казалось, мещанской, занудливой и пошлой логики.

«Разве тебе не важно, что будет потом?» — могли бы спросить ее в то горячее лето, и этот вопрос прозвучал бы для нее тогда как самый нелепейший и бестактный: все равно что если бы у нее спросили, какую музыку она хотела бы слышать, лежа в гробу. «Какое мне до этого дело!» — ответила бы она на этот дикий вопрос, оскорбленно пожимая плечами.

Она даже как будто бы поглупела в то лето, но вовсе не огорчилась от этого, а, напротив, обрадовалась, понимая себя глупой, а Петю Взорова умным. В этом она находила даже удовольствие, и порой ей хотелось, как это ни странно, чтобы Петя Взоров заметил ее глупость и сказал бы с ласковой улыбкой: «Какая ты у меня глупая».

Нет, она просто не смогла бы задать себе этот вопрос: «Как жить?» — в то горячее, душевное лето.

Это лето было летом ее надежд. Но только лишь в том смысле, что она каждый день, каждый час и каждую минуту надеялась на то, что именно сегодня, именно в этот день или час, в эту минуту или даже в следующую томительную и сладкую секунду, которая набегит коротким и тревожным вздохом, она наконец-то узнает и остро почувствует самую главную и самую важную тайну всей своей новой жизни. Надежда не покинула ее. И она не спрашивала себя: «Жить-то как?» Она знала, как жить, и жила, подчиняясь только своей страсти.

Вопрос этот пришел к ней потом.

В общем-то, он неизбежен был — этот вопрос, потому что

опять пришли холода, давно кончился летний ее отпуск, и в зимние вечера она подолгу прислушивалась к самой себе, с удивлением порой вспоминая летнюю жару и себя в этой душной и липкой жаре, болезненный свой жар, бредовое свое состояние. Ее словно бы обманули. Она очень рассчитывала на что-то и шла, бежала, торопилась, надеясь наконец-то почувствовать и вообрать в себя что-то главное, без чего вся ее жизнь представлялась ей лишь чередой душных ночей и дней, бесконечным и торопливым бегом, воплем каким-то, сплошным и глубоким выдохом, словно бы она только и делала, что вдыхала в себя воздух, и он уже стал до боли распирает ее грудь, уже невыносимо стало терпеть этот глубокий, как колодец, выдох, эту наполненность, от которой стучало в висках.

Но наступил наконец-то спасительный выдох, наступило головокружительное падение в холодный колодец, слабость, темнота в глазах, тяжкий стук сердца и вдруг удивительная ясность и легкое, тихое дыхание. И спокойный, как это дыхание, запоздалый вопрос: «А как же дальше жить?»

«Жить-то как?» — спросит у нее потом Татьяна Родионовна, а она ей ответит, как уже не раз отвечала втайне самой себе:

«Откуда я знаю».

Но к этому вопросу и ответу она не спешила. Она не хотела слышать эти робко возникающие, как глубокие колодезные капли, вкрадчивые вопросы и тот единственный, горький ответ, которого она боялась, который пугал ее своей пустотой и безнадеежностью. Она старалась уверить себя, что ничего не изменилось в новой ее жизни и она по-прежнему ждет встречи с Петей Взоровым и радуется этой встрече.

Слаб и смешон человек в своей безрассудной чувственности.

Демьян Николаевич вышел рано утром с эмалированной миской в руке и, ослепленный, зажмурился, заслонившись миской от яростного раннего солнца, которое было уже над лесом.

Роса, обметавшая за ночь спутанные августовские травы, была еще так сильна, так первозданна в своей нетронутости, что холодный блеск ее напоминал тяжелый блеск затуманенного на заре тихого озера. Все вокруг было придавлено, примято, залито этой росой, и низкое солнце не в силах еще было согреть сверкающую влагу, поднять поникшие цветы, точеные коробочки зрелого мака — все это пребывало еще во власти ночного холода и длинных утренних теней.

Но солнце уже успело сжечь восточный край неба и сухим своим теплом грело руки и лицо, обещая опять безоблачный день и жару.

Иногда в голову Демьяну Николаевичу приходили тихие и успокаивающие его рассуждения, которых он даже сам стыдился и, опасаясь прослыть глупцом, никогда не осмелился бы поделиться ими с кем бы то ни было.

С некоторых пор утренние размышления, похожие скорее на благодарственные молитвы новому дню, подаренному жизнью, стали для него приятной привычкой. Порой ему даже казалось, что он наконец-то обрел способность на старости лет понять простоту мира, в котором жил, способность выделить суть и отбросить все случайное. Он даже думал иной раз, что до сих пор жил в каком-то кажущемся мире, жил привычным воображением и вот теперь-то наконец может себе позволить роскошь обо всем думать и размышлять так, как оно есть на самом деле. Нет, он ничего не открывал нового! Он просто отбрасывал старые свои представления о чем бы то ни было и пытался освободиться от привычки судить о предмете по тому, чем он ему казался. Он теперь искал свои собственные объяснения миру, в котором так долго жил и который скоро уже придется покинуть. Эти поиски успокаивали его и отвлекали от печальных мыслей.

Наивными своими рассуждениями, которые Демьяну Николаевичу вовсе не казались наивными, он словно бы подводил итог всем своим долгим и случайным наблюдениям, чувствам и ощущениям, с которыми жил, радуясь дождю и солнцу, снегу и зеленой траве. Ему даже иной раз казалось, что он открывал в этих своих молитвенных рассуждениях что-то очень важное, о чем все люди на свете давным-давно забыли, а вот он вдруг вспомнил и восстановил в своем сознании, как нечто удивительное и необычное.

Ему, например, пришло в это утро в голову, что солнце, которое нежно согревало его в эти минуты, вот уже много дней подряд поднимается из-за леса и не уходит с неба до вечера. Но когда бывают пасмурные дни, оно тоже точно так же восходит над лесом и целый день светит с такой же испепеляющей яркостью, хотя на земле идет дождь, дует холодный ветер и нет для людей никакого солнца.

«Когда идет дождь,— думал Демьян Николаевич,— он идет только лишь для меня. А в пятистах километрах дождя нет, и для тех людей, которые там живут, есть одно только солнце. Я под дождем, а они под солнцем. Но все мы вместе всегда под солнцем, потому что Ярило светит и под дождем. Солнце само по

себе. Как жизнь. И все вокруг само по себе — роса, мокрая трава и зеленые огурцы на грядке. И я тоже сам по себе, — подумал он в это утро с каким-то тихим удовлетворением. — Нет! Я не частица чего-то целого. Я просто сам по себе. У меня свое рождение и своя смерть. Если бы я был частицей, как, например, какой-нибудь аккумулятор в машине, то, умерев, я бы остановил хотя бы на время громадный механизм, частицей которого я бы считался. Но ведь ничто не остановится, когда я умру. Ничто! Кроме моего собственного сердца, мозга, зрения... Значит, я единственное и незаменимое целое. Я сам по себе и вовсе не обязан давать отчет в своих поступках... кому бы то ни было. Я неповторим, и это главное. Никто сейчас в целом мире не стоит вот так, как я, с миской в руке над грядкой огурцов, никто не думает сейчас, сию минуту о себе так, как думаю я, и никто не благодарит небо за то неповторимое пробуждение, за те силы, которые во мне еще есть, чтобы встать и выйти из дому. Я один проснулся, один вышел, один думаю, один чувствую старой своей кожей тепло солнечных лучей, вижу эту росу и слышу запах спелости, запах земли, помидоров и огурцов. Разве я в силах помочь людям, которые не чувствуют всего этого так, как чувствую я? Разве им можно помочь, если они не благодарны за каждый день, который подарен им с такой щедростью, с таким великодушием! Что им еще надо от жизни? Сытости? Вот я сейчас соберу огурцы. Их съедят за обедом гости и скажут что-нибудь о том, как отличаются огурцы с грядки от тех, что куплены в магазине. А я, как солнце, буду сам по себе. И какое мне дело, что там будет твориться на земле, что там будет казаться людям — дождь, голубое небо или туманы. Какое мне дело, каким боком ко мне повернется земля, где там у нее южный или северный полюсы, где дождь, а где жара? Мне нет никакого дела! Я постоянен и однообразен, как солнце над дождями и туманами. Пусть они греются своими маленькими надеждами, а мне и без них тепло».

Так он думал, сидя на корточках, на белых своих пятках, пружиня босыми ногами, сунутыми в шлепанцы, а мокрые руки его, словно бы тоже сами по себе, раздвигали шершавые и поседевшие от росы огуречные листья, обнажая влажную, затянутую посеребренными паутинками, пахучую землю, на которой лежали зеленые, упругие и тяжелые от собственного сока, колючие огурцы. Они хорошо прятались, и Демьян Николаевич радовался всякий раз, когда пожелтевший, ворсистый листик, который он отстранял рукой, открывал взгляду притаившийся на холодной земле, обрызганный росой огурец. Он любовался им, как будто это не огурец был, а какой-нибудь необыкновенный белый гриб,

случайно попавшийся на глаза, и, стяхнув с него крупинки прилипшей земля, бросал в миску. А пальцы слепо натыкались опять в путанице душно пахнущих, сыльных и упругих листьев на колючую округлость другого огурца, и он опять спешил увидеть этот единственный и неповторимый огурец, запечатлеть на мгновение в своей памяти и бросить на белую эмаль миски, испытывая странное чувство, похожее на сожаление.

Огурцы в то жаркое лето уродились хорошо, и было их множество. И помидоры тоже уже наливались белым соком, матово блестели перевязанными, светло-розовеющими щечками, выпирая из буро-зеленой и словно бы пропыльившейся ботвы. Лук поспевал, глянцезо желтея своей сочной упругостью, выламываясь из земли, тесня своих собратьев по грядке. И морковь уже тоже показалась из земли, как и рыжие луковицы по соседству.

Ухоженная, рыхлая земля словно бы исторгала из себя, как какой-нибудь хорошо отлаженный автоматический агрегат, все эти розовые, рыжие, лиловые и зеленые изделия, закапчивая в усталости сложный цикл своей мудрой и напряженной работы. Даже воздух пропах поспевающими плодами: каждый источал свой запах, рождая приятно дурманящий аромат созревания, остро напоминавший о близкой уже осени, об увядании, о туманах и горьком дыме.

«Все гораздо проще, — успокаивал себя Демьян Николаевич. — Жизнь прекрасна сама по себе, а вовсе не только в моей душе. Для всех этих растений жизнь только еще начинается. Она только-только нарождается сейчас в семенах, в сочных луковичках... Жизнь вообще бесконечна, и всегда она торжествует. Даже над смертью. Большой человек умирает, останавливается кровь, и вместе с ней умирают всякие там вирусы и прочая нечисть. Можно, конечно, считать, что болезнь победила, но ведь это только кажется так. А на самом деле жизнь остановилась, чтобы все-таки победить невидимых этих тварей, которые только и живы живой жизнью. Сопмища этих тварей гибнут, побежденные — нет, не смертью, а жизнью, которая остановилась. Жизнь побеждает то, что несет людям смерть. Это не смерть, а последний шанс победить врага — остановиться, похолодеть, — думал Демьян Николаевич с грустной усмешкой сомнения на лице. — А все-таки! Почему бы нет? Можно ведь думать и так. Можно думать о селедке как о закуске, но можно подумать о ней о живой, как она плавает в море, как она одинока и беспощадна, если отобьется от стаи, и как она погибает в этом своем одиночестве. Можно по-всякому думать. И вообще я думаю только лишь для самого себя и не собираюсь никому ничего навязывать. Я

сам по себе, и мне приятнее думать именно так, а не иначе».

Он даже сердился иногда, мысленно воображая перед собой насмешливого оппонента. Но в это утро он был расслаблен, и ничто на свете не раздражало его.

Широкие, выросшие кудрявой ботвой грядки, обремененные плодами и тяжелой росой, блестели перед ним холодной и сытой свежестью, словно бы это какие-то тучные и счастливые зеленые звери разлеглись среди некошеной мокрой лужайки и перед наступающим опять зноем притаились в блаженстве под тяжестью благодатной влаги, забыв о поспешающем солнце, которое все выше и выше поднималось над лесом, укорачивая прохладные тепы — эти легкие призраки ушедшей ночи и свежести.

«Все это только кажется! — смущенно думал Демьян Николаевич. — Я ведь собственными руками вскопал эти грядки. При чем тут звери? Если бы не я, тут была бы лужайка. Все очень просто, и не надо, пожалуйста, ничего выдумывать. В мои ли годы пускаться в такие фантазии! стыдно, ей-богу!»

Очень симпатичный огурчик, покрывшийся словно бы от холода зелеными пупырышками, лежал на мягкой, душистой земле, а солнце, освещая листья над ним, озаряло весь его маленький мирок нежно-зеленым, прозрачным светом.

Когда-то он был легким, желтым цветком, а случайное зарождение его произошло в теплый день, в полуденный час июля, когда большой и добродушный шмель, вцепившийся в лепестки цветка, перенес своими пушистыми лапками пыльцу с тычинок на бархатный пестик и улетел.

Цветок вздрогнул, освободившись от тяжести шмеля, и замер в тихой безмятежности. С этого момента не нужны уже стали его прекрасные, ярко-желтые лепестки, открытые солнцу и всем пролетающим мимо пчелам, мухам, букашкам, осам и шмелям, — главное уже свершилось: пыльца попала на пестик. С той поры и началось медленное умирание цветка, у основания которого в зеленой чашечке, поддерживающей лепестки, образовалась завязь будущего плода, сочной и упругой мякотью, покрытой тонкой кожей, предохраняющей будущие семена от солнечных ожогов и от холодных ночных рос.

Огурец долго наливался соком и был сначала так мал и так легок, что удерживался в воздухе, как желтая бабочка с зеленым брюшком, порхающая над листьями. Но прошло время, и он оттянул свой тонкий стебель, свою пуповину вниз и, серебристый, покрытый, точно маленький кактусенок, тончайшими колючками-ворсинками, лег на взрыхленную, благоухающую землю.

Это тоже происходило очень медленно, и никто не заметил

того момента, когда огурчик с увядшим уже цветком прикоснулся к душистой земле, и над ним сомкнулись сильные листья и стебли, несущие над собой другие раскрытые солнцу цветы.

Выросший по соседству и тоже потяжелевший огурчик, опустившись однажды рядом на землю, придавил своей тяжестью пушистый зеленый листик и накрыл им первенца, который к тому времени из колючего кактусенка превратился уже в продолговатый пупырчатый огурец с продольными светлыми полосками. Он был прекрасен в то время! Кожица его стала поблескивать лаковой гладкостью, распираемая соком и упругой мякотью, внутри которой образовались грядки многочисленных нежных зернышек.

Летело время с жаркими днями и прохладными, мокрыми от росы ночами. Исчез куда-то соседний огурчик, но прижатый им некогда лист так и остался лежать на толстеющем огурце, прикрывая его и пряча от глаз и рук Демьяна Николаевича. Огурец стал большим, пузатым и толстокожим и, словно бы впадая в детство, покрылся опять ярко-желтым цветом, а маленькие семена его затвердели, одевшись в крепкие белые панцири.

Огурец созрел. Кожа его стала гладкой и желтой, как воск. Веточка, на которой он рос, высохла и зачерствела. Соки земли уже не проникали в этот пузатый и толстый, похожий на маленькую дыню, неприглядный, состарившийся желтяк. Он жкл теперь сам по себе.

И когда наконец-то увидел его Демьян Николаевич, он без всякого сожаления отщипнул ногтем веточку, взял огурец и, размахнувшись, забросил далеко к забору. Огурец пролетел кубарем над мокрой и спутанной травой и с лета ударился о серую доску. Удар был так силен, что прочная кожица не выдержала напряжения, лопнула, а огурец сплюснулся и раскололся, оставив на доске мокрое слякотное пятно и два выбитых ударом белых зерна.

Так печально и неожиданно закончилась эта короткая, в общем-то, история огурца, который не попался в свое время людям на глаза, потому что был накрыт пушистым листиком.

— Это ты?— спросила в тот самый момент Татьяна Родионовна, выглянув из окна.— Слышу, что-то хлопнулось об забор. Что там такое?

— Испугалась?— спросил Демьян Николаевич.— Это я. Лампочку перегоревшую хлопнул об забор.

— Дема!— сказала Татьяна Родионовна, изобразив на сонном лице испуг.— Ты впадаешь в детство. А если кто-нибудь из нас пойдет босой? Диночка, например? Ты с ума сошел.

— Успокойся, это я желтяк раскокошил. Не подавать же к столу кислотину. У меня тут целая миска отличных огурчиков.
— Вечно ты как маленький. И кто в такую рань собирает огурцы!

С этими словами Татьяна Родионовна скрылась в комнате, окно которой выходило к забору. А Демьян Николаевич громко ответил ей:

— Они сейчас все мокрые от росы и холодные. Чудо, а не огурцы! Я уж и не помню, когда у нас были такие хорошие огурцы. Один к одному!

Все именно так и было на самом деле: огурцы уродились отменные и, главное, без всякой горчинки — сладкие, пахучие и хрустящие, одним своим видом вызывающие нестерпимое желание съесть их. Разрезать острым ножом, посыпать солью, растереть, чтоб выступила соленая пена, и съесть, заедая мягким, кислым черным хлебом. О таких огурцах особенно приятно вспоминать в середине глухой зимы, соскучившись по их запаху, который отдает запахом первых подснежников и первой зеленой травы.

А старый желтяк, эта толстокожая кислотина с жесткими зернами, был разбит, как перегоревшая лампочка. Он так и не попался людям на глаза, когда был зелен и нежен, как его собратья, угодившие с мокрой грядки в эмалированную миску. Не судьба. Хотя, в высшем смысле, ему, конечно, повезло, потому что именно он совершил все то, ради чего родился на свет в тот жаркий полдень, когда шмель перенес пыльцу с тычинок на пестик. Именно в нем созрели семена для будущего. Но о нем никто не сказал ничего хорошего и даже — больше того — его разбили, как старую лампочку, об забор, потому что хозяин, вскопавший и удобривший грядку, никогда не заботился о семенах, покупая их всякий раз на рынке у торговков. А ведь под желтой кожей, в кислотоватой и водянистой мякоти, было столько созревших семян, что на будущий год их вполне бы хватило на целую грядку, а то и на две такие вот грядки, на которой он вырос. «Без окон, без дверей — полна горница людей...»

«Горница» теперь лежала разбитая под забором в густой и перепутавшейся траве, а «людям» суждено было сгнить без всякой пользы или замерзнуть зимой.

Так ведь и в жизни порой случается — зеленому огурцу, весело похрустывающему на зубах, хвала и почет, а желтяку, который вовсе не годится для сиюминутной пользы и удовольствия, хотя он и хранит в себе семена будущего, ни единого доброго слова.

«Да,— подумал о себе Демьян Николаевич в это раннее, сверкающее росой утро.— Я, конечно, старый, желтый огурец. Старая, перегоревшая лампочка».

В душе Демьяна Николаевича что-то приятно перевернулось, сердце, как бумажный мячик на резинке, прыгнуло вверх и вниз, когда он увидел вдруг на затененной еще терраске свою дочь, свое семя, брошенное в бесплодную почву. Он тоскливо-радостно улыбнулся, подумав о ней с такой загадочной замысловатостью, и протянул ей миску, полную огурцов.

— Ты что так рано?— спросила Дина Демьяновна, поеживаясь со сна.— Ты что ж, сразу будешь кормить их огурцами? Можно было перед обедом.

— Нет, доча, я их сорвал, чтоб они впитали в себя росу. Видишь: они мокрые от росы. А кстати, ты хотела, кажется, встречать? Пойдешь?

— Да, через полчаса.

На дачу к Простяковым собрались наконец-то приехать Взоровы. Именно это событие и подняло всех на ноги чуть свет. Обычно тут пробуждались гораздо позже, когда роса уже подсыхала. Демьян Николаевич плохо спал в эту ночь, чувствуя себя приговоренным к ужасным пыткам, хотя и скрывал ото всех свое состояние. Вообще в это утро каждый вел себя очень странно. Все было лениво-блгородушно на вид, скрывая друг от друга свою озабоченность и тревогу. Дина Демьяновна часто зевала, жалуясь на головную боль, а Татьяна Родионовна с необыкновенной забывчивостью, которая напала на нее в это утро, никак не могла найти таблетки анальгина, чего с ней раньше не случилось. Движения ее были замедленны, и она тоже зевала, жалуясь на память. И только Демьян Николаевич убеждал себя, что он тут сам по себе и нет ему никакого дела до всей этой глубоко заприкрытой, а потому еще более тревожной и неприятной суматохи.

Когда же Дина Демьяновна, одевшись, молча спустилась по ступенькам террасы, Татьяна Родионовна, которая ни словом не обмолвилась о гостях, окликнула ее и спросила с испугом:

— Ты пошла?

Дочь зевнула в ответ и сквозь зевоту ответила с напускным равнодушием:

— Не найдут ведь иначе.

Татьяна Родионовна, страшно волнуясь за дочь, перекрестила ее вдруг и, жалко улыбаясь, прошептала:

— С богом, родная.

Этого с ней тоже никогда еще не случилось. Но никто не удивился — ни Демьян Николаевич, ни Дина Демьяновна: оба они сделали вид, что ничего особенного не произошло.

Демьян Николаевич подчеркнуто громко и беспечно спросил:

— А где у нас желтый гуталин?

Он держал в руках сандалики, измазанные в глине, улыбался и тоже, как и Татьяна Родионовна, смотрел вслед уходящей по тропинке дочери. Нервы его были напряжены до предела, и он, улыбаясь, тоже твердил вслед ей мысленно:

«С богом, родная, с богом...»

10

Деревянный рубленый дом, коричневый с белыми ставнями, никогда не принадлежал Простяковым, хотя и была у них в этом дачном доме своя комната. Впрочем, и остальные три комнаты и две террасы, одна из которых была застекленной,— все это тоже как бы принадлежало им, потому что хозяин дачи Сергей Александрович Скворцов и особенно жена его Мария Анатольевна терпеть не могли дачи.

— Комары-ы-ы,— говорила с брезгливостью Мария Анатольевна.— Керосинки, примусы, мокрая трава, холодная уборная... Бр-р-р! Нет уж, увольте».

И хотя на даче был уже газ в баллонах, для нее все равно понятие «дача» было связано с какими-то нудными унижительными неудобствами, которые не окупались ни лесом, ни воздухом, ни тишиной, ни запахом белых лесных фиалок, любимых ее цветов.

Когда-то очень давно, в сорок шестом или сорок седьмом году в гостях у Простяковых, Сергей Александрович рассказал как о сущем пустяке, что у них в главке распределяют дачные участки в сыром подмосковном лесу и что лично он, разумеется, отказался, ибо считает эту затею слишком хлопотной, а личную собственность такой обузой, которая навеки свяжет по рукам и ногам.

Скворцовы вообще всегда были стойкими и убежденными противниками всякой собственности, считая, что она «подрезает человеку крылья», как говорила Мария Анатольевна, и «убивает мечту». И порой было трудно понять, что же, собственно, связывало долгой и нежной дружбой эти два совершенно непохожих друг на друга семейства — Скворцовых и Простяковых. А может быть, именно разность интересов и держала их друг подле друга,

помогая каждому из них всякий раз после очередной встречи и разговора убеждаться в правоте избранного ими жизненного уклада и напрочь отрицать житейские устои дружественной семьи. Им было о чем спорить, и хотя до ссор дело никогда не доходило, жили они непримиримо и каждый из них считал, что именно он живет правильно.

Они так привыкли отрицать друг друга, что уже и не смогли бы, наверное, обходиться друг без друга, потому что жизнь без этого показалась бы и Простякову, и Скворцову поблекшей и пресной: каждый из них утратил бы для себя в жизни ярчайший и острейший пример для отрицания. А что может быть скучнее той жизни, в которой нечего отрицать.

В тот памятный вечер послевоенной голодной зимы, когда Сергей Александрович рассказал за столом об этих дачных участках где-то под Москвой, Демьян Николаевич, услышав это, побледнел и воскликнул с таким страданием и ужасом во взгляде, словно увидел привидение:

«Сережа! Прости меня, но... Ты! Сережа! Я тебя умоляю! Ради друга! Ради Танюши, ради всего святого на свете — возьми землю. Слушай! Не издевайся! Возьми... Я готов пойти к тебе плотником и кем угодно. Я буду доставать тебе все материалы, лес, железо, кирпич... Все! Я готов на своем горбу таскать глину. Я буду твоим садовником, твоей сторожевой собакой. Ты будешь когда угодно сажать меня на цепь, а я по ночам буду лаять, как влая овчарка. Не издевайся, Сережа! Иначе я просто убью тебя! Вот, при свидетелях — убью!»

«Кулак проклятый, — тихо сказал на это Сергей Александрович. — У меня даже денег нет. Не воровать же нам с тобой кирпич».

«Прекрасно! — возопил Демьян Николаевич. — Значит, я буду твоим компаньоном. Я все заложу в ломбард. Сережа, друг мой! Сделай божескую милость — возьми землю».

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы Татьяна Родионовна не уговорила свою добрую старую подругу подействовать на Сережу. Когда же все восстали против Сергея Александровича и даже его единомышленница выступила против него, обвинив вдруг в аскетизме, он сердцем почувал, что дружба их с семейством Простяковых висит на волоске, что Демьян Николаевич никогда не простит ему, если он откажется от земли. И сдался.

«Но учти, — сказал он. — Жить там и плесневеть будешь в основном ты, а меня ты будешь видеть только гостем. Там сырость ужасная, а у меня радикулит, как ты знаешь. И вообще делаю

это вопреки всем своим правилам и чувствую себя презренным ренегатом. Вот так! Ножом по сердцу мне эта дача. Мне от этой дачи, учти, кроме малосольных огурцов, ничего не надо. Ну и хорошо бы еще, конечно, яблоню-китайку посадить».

А Демьян Николаевич обнял своего верного друга, расцеловал его и, расслабившись от восторга, расплакался. Рюмка с водкой дрожала в его руке, и по пальцам текли капли сорокаградусной. В тот вечер он сильно опьянел и сначала веселился, а потом уже и сердить стал Марию Анатольевну, которую он зацеловал пьяными своими губами. Утром ему было плохо, он ничего не помнил и со стыдом и тоскою слушал Татьяну Родионовну, которая ему рассказывала о его чудачествах. «Не верю,— говорил он в отчаянии.— Не верю, не может этого быть! Ты все выдумываешь. Не верю». А Татьяна Родионовна смеялась и говорила ему: «Станиславский какой нашелся: не верю! Позвони тогда Машеньке, она тебе все сама расскажет».

Через два с половиной года на лесистом участке размером в двадцать пять соток вырос и засверкал новыми, чистыми стеклами рубленый домик с белыми наличниками и ставнями, окруженный дощатым забором, на калитке которого появились номер дома и фамилия владельца «С. А. Скворцов».

Сергей Александрович взял однажды черную краску и вывел кистью рядом со своей фамилией: «и К^о»,— над чем Демьян Николаевич охотно посмеялся, но через недельку закрасил белилами эту «компанию», чтобы не смущать прохожих. Хотя, по сути дела, Сергей Александрович был абсолютно прав, потому что одному только богу, как говорится, известно, сколько сил и здоровья угробил Демьян Николаевич на это любезное ему строительство. Денег у него тоже ведь не было, как и у Сергея Александровича. Но, вопреки логике, дом был выстроен и хорошо отделан внутри и снаружи. Демьян Николаевич умудрился даже поставить резные наличники на окна.

С тех пор он любил повторять, что все большие дела надо затевать вопреки всякой логике, и только тогда можно преуспеть и чего-то достичь. В его личном опыте это был, пожалуй, единственный нелогичный поступок, и он очень гордился, что вышел победителем в неравной схватке с жизнью.

Дачный поселок своими огородами подходил к железной дороге, и крыши домов видны были пассажирам дальних и пригородных поездов. Но поселок был так велик, что участок Скворцовых лежал в трех километрах от станции или, вернее, от плат-

формы, которую соорудили уже после того, как вырос поселок. Люди давно уже проторили дорожку в лесу, выпрямив и сократив свой путь от дальних участков к станции. Ходить по ней было приятнее и легче, чем по бесконечным дачным улицам, мимо частокотов из спакетника, заросших малиной и смородиной, мимо лающих и сопящих от злости собак и лязгающих велосипедов, которые неслись под своими распаренными седоками, как разъяренные, слепые и неуправляемые существа. Так понимала их Татьяна Родионовна, боявшаяся велосипедов больше, чем автомобилей в Москве. Впрочем, не в велосипедах и не в собаках дело — просто лесная дорога была короче, хотя и вводила петляночку в сторону от станции, к которой приходилось возвращаться по-над железной дорогой. А дом Скворцовых был предпоследним в лабиринте дачных улиц и домов, или вторым от леса. Здесь всегда было тихо и безлюдно, а на участке, под дубами и березами, вырастали белые грибы в урожайные годы.

Улицу, где стоял скворцовский дом, когда-то завалили шлаком, выравнивая ухабы и колдобины, но прошло уже много лет с той поры, и шлак измельчился, смешался с глинистой землей, а дубы и березы сомкнулись кронами над этой мягкой и хорошо укатанной улицей. Когда светило солнце, листва казалась стеклянно-зеленой, прозрачной, а улица сиреневой, с зелеными тенями.

Улица обрывалась и глохла сразу же за последним забором, плачущая лиловатость ее иссыкала, а желтая тропинка за последним забором сворачивала сразу же в темные елки, петляя по лесу до самой железной дороги. Она то выбегала на скошенную поляну, то скатывалась светлым ручейком в овраг, то терялась в березовом, мшистом мелколесье, а возле станции выныривала из чащобы на дощатый мостик через крохотный ручеек. Вода в нем была дымчато-прозрачная, под кустами темнели чистые и тихие бочажки глубиной по колено, и часто возле этого мосточка с корявым перильцем Дина Демьяновна вспугивала живущего здесь из года в год зимородка. Он всегда появлялся вдруг и, поражая взгляд своей пронзительной синевой, мчался над холодной, дымчатой струйкой ручья.

Но в это утро синяя птица не мелькнула перед глазами.

«Ну вот,— подумала Дина Демьяновна.— А я так надеялась на тебя!»

Всего четыре шага по хлипкому мосточку, шесть — по глинистым ступенькам в обрывистом бережку, вырытых неведомым добродетелем, взбег на земляничный жаркий холм. И все... Внизу, в зеленом рукотворном русле, дробь игрушечных пштал, ко-

ричевая галька, пунктир белых камешков, обрамляющий «Мир — мир», и напряженные, накатанные до ртутного блеска рельсы — стальная и стремительная жила, в звонкой тишине несущаяся по ржавому каменистому донышку, от которой в знойные дни исходит вкрадчивый и душистый запах гудрона и ржавчины.

И тишина.

Пронзительный блеск стали, плавный изгиб, как прогиб тугого лука, толстые провода на стальных штангах, перенасыщенные жуткой энергией, — стройная и неукротимая, взрывная динамика в зеленой беспечности летнего леса.

И все-таки тишина.

Все та же, какой и была сто или тысяча лет назад. Сталь кричит в этой летней тишине, протестует в немом своем нетерпении и сутью своей властно требует лязга и грохота тяжелого эшелона.

И все-таки... Особая, кроткая тишина. Пугливая тишь пустынной железной дороги в теплом лесу.

Дина Демьяновна вышла на асфальтированную платформу, когда с севера, утробно гудя, мчался мимо станции товарный.

Бешеный вихрь ударил в лицо, загрохотали мимо вагоны. Ветер вдруг махнул в зоздри запахом сосновых досок. И даже потом уже, когда последний вагон, болтаясь, как хвост гремящего прокатанного стального листа, стал уменьшаться и шум эшелона стал затихать, успокоившийся воздух долго еще хранил запахи свежих досок.

Тут это привычно было и знакомо — смолистый дух северных эшелонов, несущихся к близкой уже Москве, огромным магнитом раскинувшейся на пути всех рельсовых, шоссейных, воздушных и речных дорог.

Она была совсем недалеко, млеющая теперь под солнцем, под дымным куполом, под сетью электрических проводов, многоликая, миллионпоглазая, шумная, сладкая от вокзального мороженого и газированной воды, липкая от пота, пестрая и яркая, летняя, тяжкая Москва.

Но она была очень далеко от этой тихой платформы, от зеленых желудей, набухающих среди дубовых листьев, от светлых тропинок и гулких криков в березовом лесу.

В субботнее это утро было безлюдно на платформе, и лишь какой-то выгоревший, выцветший на солнце мальчишка в белесых шортах катался по платформе на большом расхлябанном велосипеде, с трудом дотягиваясь до педалей.

Он уверенно разворачивался в конце платформы, выравнивал свой трудно управляемый велосипед, и ехал по самому краешку. Было что-то безумное и жуткое в этой рискованной езде. Велосипедные спицы посверкивали на солнце, переднее колесо вдруг резко дергалось в сторону, когда мальчишка отвлекался, но худенькие и загоревшие до костей руки наездника ловко и незаметно выравнивали завихлявшийся велосипед, и машина опять лениво и тихо катилась вдоль края высокой платформы. Это была пугающая и волнующая игра, словно бы мальчишка, приехавший тоже кого-то встречать, катался по краешку специально для Дины Демьяновны, которая успела уже возненавидеть этого худенького шкетика, причинявшего ей немало волнений, пугающего ее всякий раз, когда велосипед, вильнув колесами, казалось, неминуемо свалится вместе с мальчишкой на рельсы.

— Кто же катается на платформе?!— не выдержала Дина Демьяновна.

Этот цирк она уже с трудом терпела, не в силах отвлечься и забыть о мальчишке. Но тому, видимо, нравилась рискованная забава, он был горд собой и в ответ только лишь улыбнулся снисходительно.

— Шею сломаешь, тогда будешь знать... Нашел место! Прократи сейчас жел!

— Не сломаю,— ответил с завидной уверенностью мальчишка, елозя и переваливаясь в седле, как утка.

И действительно не сломал! Ничего с ним не случилось. Подъезжавшая электричка наконец-то спугнула его, он спрыгнул на асфальт, бросив велосипед, как надоевшую игрушку, и тот с железным вскрипом и дребезгом завалился на платформу. А мальчишка даже и не оглянулся! Видимо, привык уж так-то вот бросать на землю, на траву и на что попало старое свое средство передвижения: он тоже уставился в нетерпеливом ожидании на тормозящий поезд.

Все поезда, идущие из Москвы, задолго до станции начинали тормозить, потому что дорога в этом месте шла под уклон. Те же, что шли в Москву, обычно буксовали, прежде чем стронуться, и моторы их завывали по-звериному. Щебень в той стороне, откуда приходили московские электрички, стал давно уже бурым от ржавчины.

Вот и теперь под колодками, стиснувшими сверкающие колеса, искрились огненные кольца, брызгая раскаленными чешуйками стали, вонзавшимися в рельсы и падающими, погаснув, на камешки. Весь тормозной путь был запорошен перегоревшей окалиной, и даже бетонные шпалы побурели.

«Это они», — подумала в волнении Дина Демьяновна, когда увидела трех коренастых и широких в кости женщин. И не ошиблась, потому что тут же, следом, вышел из вагона и Петя Взоров с большой спортивной сумкой через плечо.

Дина Демьяновна хотела было пойти навстречу, но силы вдруг оставили ее, она поняла, что если сию минуту пойдет, то зашатается и завихляет, как велосипед, и у нее не хватит ловкости и самообладания удержать равновесие. Она стояла и, пытаясь унять волнение, очень хотела казаться приветливой, доброй, легкой и красивой. Доброй и очень красивой! Ей так хотелось показаться всем им красивой и очень доброй! И конечно, приветливой... А для этого надо во что бы то ни стало сбросить груз оцепенения, побороть смущение, шагнуть навстречу и улыбнуться... «Здравствуйте,— сказать.— Ну как вы доехали?»

Но она сказала, когда они, не торопясь, приблизились:

— Господи! Я так нанервничалась... Не обращайтесь! Здравствуйте. У меня даже, простите, пожалуйста... Петя, здравствуй... а тут, понимаете, мальчишка на велосипеде... по краешку... — «Что я мелю?! Что я мелю?! Господи! Помоги мне... При чем тут?» — думала она между тем, делая отчаянные попытки унять волнение и обрести себя.— Здравствуйте,— сказала она опять, когда с ней стали здороваться тоже смущенные и улыбающиеся женщины.— Ну как вы доехали? А я, вы знаете, просто накричала на этого паршивца... Поезд идет, а он по самому краешку... Что вы говорите? Петя, ты бы нас познакомил. Давайте мне эту авоську. Давайте, давайте, даже не думайте, что я вам позволю... Петя, ну что же?

— Так вот они! — со смехом отозвался он.— Все мои трииваны! Вот эта, с авоськой, Полина Ивановна старшая... А это, значит... мать-одиночка...

— Очень приятно,— сказала Дина Демьяновна, пожимая широкую и сухую руку Марии Ивановны и чувствуя, что самая главная сейчас, самая важная, самая хорошая женщина на свете собралась уже поцеловать ее. Она тоже потянулась к ней, похолодев от радости, что эта добрая женщина сейчас расцелует ее по-родственному, но не дотянулась, не решилась первой, а Мария Ивановна тоже как будто бы не решилась... И обе, почувствовав неловкость, смуглились еще больше.

— Да поделуйтесь вы! — сказал Петя Взоров, посмеиваясь над их нерешительностью.

Дина Демьяновна, уже отпустив руку Марии Ивановны, снова порывисто приблизилась к ней, и они, обняв друг друга, чмок-

нудись, отчего Дина Демьяновна чуть было не упала, потому что Мария Ивановна в исповности неосторожно толкнула ее в спину, когда обнимала. Обе они покраснели, у Дины Демьяновны даже слезы выступили на глазах, хотя она и смеялась вместе со всеми.

— Та-ак! — сказал Петя Взоров. — А эта вот младшенькая...

— Хватит тебе, Петруша, — прервала его третья сестра и вдруг обняла и поцеловала Дину Демьяновну. — Я Вера Ивановна, — сказала она. — Или просто тетя Вера. Вот и познакомились. Беленькая-то какая! Не загорела. Совсем бледненькая...

Между тем, разговаривая и собираясь с мыслями, успокаиваясь, все наконец-то разобрались с самими собою и со своими чувствами и пошли не торопясь к дому: впереди шли Дина Демьяновна с Петей, а за ними, изрядно поотстав, все три Ивановны. Петя нес тяжелую сумку, а Дина авоську с апельсинами и с двумя батонами, румяными и яркими, как и апельсины.

— Ты что так разволновалась? — спрашивал потихонечку Петя Взоров и улыбался.

— Не знаю. Вообще-то, по-моему, понятно...

— Не ожидала увидеть таких вот... земноводных? Они у меня хорошие... ты их не бойся.

— Вообще ты знаешь, — сказала Дина Демьяновна, убыстряя шаг, — мне это слышать... Это, знаешь, говорить так о своих... Странно.

— А я ничего плохого не говорю. Я говорю, что именно ты, а не я, могла так подумать... Неказистые в общем-то. Что уж тут! Могла. Вон, посмотри. Видишь? Моя родня. Вон идут — тяжело, весомо... Чем не земноводные? Вот так и ходят по земле — шлеп, шлеп... Разве не похоже?

— Тебе не стыдно?

— А почему сразу стыдно? Я-то ведь не стыжусь своей родни. Видишь, коренастенькие все. Топ и топ... Полюбуйся. Это и твоя теперь родня... Тетя Вера, тетя Поля и мама. А? Как ты на это смотришь? Под каким углом? Посмотри, ни тени благородства! Смотри какие! А плечи? А руки? Такая стучает разок, и, как говорится, копыта откинешь. А? Ну что же ты молчишь? Согласна или обиделась? Обиделась... Ну что ты! Я ведь шучу. И все-таки признайся, не ожидала увидеть таких красавиц? Верно? Не ожидала?

— Перестань... Упи вянут.

— Нет, а если всерьез. Не ожидала? Оттого и смутилась, да?

— Я ведь и в самом деле обижусь,— сказала Дина Демьяновна с раздражением.

Но Петя Взоров, словно и не слышал ее, улыбался и говорил с чуть приметным придыханием:

— В нашем роду все женщины всегда были некрасивые и вот такие широкобедрые и широкоплечие. И заметь, одна только мать вышла замуж, даже дважды, а сестры ее... Обе гуляли когда-то, девками были, а привязать к себе никого не сумели. Видишь, какая история. Демьян Николаевич увидит их и грохнет об пол. Он у тебя породистый, и вдруг такая родня.

— Тебе доставляет удовольствие?

— А что?

В голосе Дины Демьяновны прорвалась лютая злость, а Петя Взоров тоже вдруг с ненавистью взглянул на нее и повторил с вызовом:

— А что?

— Ты приехал поссориться?

— А что?

— Что все это значит?

— А то, что ты очень обидела меня.

— Господи, да чем же?

— Своей реакцией.

— Какой реакцией?

— Там, на платформе, когда моих увидела. У тебя ноги подкосились. «Вот так родня!» Я ведь видел, я заметил. Да и мудро не заметить! Когда тебя мама хотела поцеловать, ты с такой брезгливостью откинулась от нее, что все это заметили, не только я. Разве не обидно?

— Ты идиот! Ты совсем не понимаешь людей... Ты... ты... перестань сейчас же, иначе я взбешусь!

— Конечно, конечно,— усмехаясь откликнулся Петя Взоров, вышагивая чуть впереди по тропинке.— Ссориться сейчас как раз самое время. А вообще хоть внешне постарайся, хоть делай вид, что они тебе по душе. Хорошие, славные тетки... окопы рыли во время войны. Им бы памятники ставить. Ладно... Чего там говорить! Как хочешь...

Это было уже слишком, и Дина Демьяновна молча крепилась, чтоб не расплакаться.

— Почему?— спросила она наконец с дрожью в голосе.— Какое ты право... так говорить мис, обвинять? Ну какое? Я была просто смущена. Я оробела.

Она хотела сказать еще, что это очень естественно — быть в смущении, когда после стольких лет жизни, стольких ночей

и дней любви она наконец-то увидела мать близкого человека, которого давно считала своим мужем, увидела родных... Она хотела сказать все это, но обида вдруг таким страданием разлилась по сердцу, так тяжело ей вдруг стало, что она не сдержалась и всхлипнула с болезненной, горькой спазмой.

— Как же ты можешь так? Зачем?— спросила она, останавливаясь.— Ведь ты заслужил пощечину. Ты понимаешь, что я сейчас сделаю? Одно слово, одно-единственное,— с неожиданным бешенством прошептала она.— И я при всех, при всех...

На этот раз Петя Ваоров испугался.

— Успокойся,— тихо попросил он.— Ну перестань... пожалуйста. Ну что это такое? Считаю, что я ничего не говорил, что это бред. Ну извини. Я ведь знал, что ты самая-самая... Прости меня.

Он схватил ее за руку и, потянув с нервной какой-то силой, побежал, увлекая Дину Демьяновну за собой.

— Я рад!— говорил он на бегу.— Я безумно рад! И прости меня. Давай еще пробежим немножечко, вон за те елочки, с глаз долой, а там я тебя расцелую. Ну бежим, бежим!

За елочкой он остановился, вытер платком ее щеки и глаза и, целуя ее, заставил улыбнуться.

— А ты можешь себе представить,— говорила она,— что я от радости смутилась? У меня от радости... Нашло на меня оцепенение от радости. Можешь? Эх ты!

— Улыбнись,— говорил он, слушая.— Сейчас же улыбнись! Ну! Что я сказал... Улыбка! Где улыбка?

И она опять с усилием улыбнулась, сказав при этом:

— Вот и стала собакой дрессированной.

— Ты знаешь... Я ведь безумно люблю своих! Пойми меня,— сказал вдруг Петя с благодарностью и признательностью.— Очень люблю. Им не повезло в личной жизни, и когда мне вдруг кажется, что кто-то обижает их, я тому, знаешь! Я тому коздри готов пальцами своими разодрать! Зверюю. У меня комплекс на этот счет. Я согласен с тобой. Да. Я согласен. Ты мне можешь ничего больше не говорить. Ты будешь права во всем. Права, права и еще раз права — и хватит. Но и я тоже прав. Пошли. А то псуудбно. Скрылись, убежали, как дети. А они дороги не знают.

И он громко и счастливо на весь лес закричал:

— Триняны! Где вы?

— Тут мы, Петя! Не поспеваем за вами, за молодыми,— откликнулись хором неторопливые и разомлевшие в ходьбе три Ивановны.

Петр Взоров напрасно так беспокоился за честь своей родни, напрасно думал, что Простяковы проявят в чем-либо свое пренебрежение к этим неказистым с виду, но добрым и простосердечным женщинам, которых он любил нежно и страстно и в то же время, сам того не сознавая, стыдился за них... Душа его всякий раз, как только он начинал думать, что они не отесаны и не настолько умны и образованны, чтобы поддержать интересный разговор или хотя бы задать какой-нибудь умный вопрос; как только он представлял их себе людьми во всяком случае не первосортными — душа его начинала болеть и весь он ощетиживался, глядел на Простяковых исподлобья, стараясь при этом скрыть свое состояние усмешкой. В этом смысле Петя Взоров был просто несчастным человеком, вызывая в себе эту оборонительную мутно-грязную реакцию своим же собственным пелепым, чудовищным подозрением, заранее ненавидя людей, которые, по соображениям Пети, могли бы вдруг выразить пренебрежение к его матери и милым теткам. Вряд ли даже тетки и мать догадывались о его страданиях.

Об этом знала теперь Дина Демьяновна. Но и она не могла уяснить себе, хорошо это или плохо. Ей казалось, что здесь смешались все чувства: очень хорошие и очень плохие, низменные, грязные и даже подлые, потому что подло, конечно, стыдиться перед людьми за свою мать, без всякой причины. Очень подло!

Демьян Николаевич и особенно Татьяна Родионовна с таким искренним радушием принимали гостей, с такой милой, душевной суетливостью старались угодить им, так угощали чаем и вареньем, поздней клубникой и домашним тортом, который Татьяна Родионовна с помощью Демьяна Николаевича испекла по случаю гостей, что три Ивановны уж и не знали, как им выйти из-за стола, как отказать от угощений.

— Демущка! Ну что же ты не угощаешь? Иди же еще собери клубнички,— говорила Татьяна Родионовна, шурша платьем из старинного коричневого шелка, которое она очень редко доставала из своего гардероба. На груди у нее желтела золотая брошь с помутневшими жемчужинами. Она припудрила лицо, и у нее разругивались щечки. Она была очень возбуждена.— Угощайтесь, пожалуйста! Мария Ивановна! Полина Ивановна! Вера Ивановна! Ну вот еще по кусочку тортика хотя бы. Да что же это вы? Значит, не понравился,— улыбалась она ласково и виновато.— Не понравился.

— Ой, да что, Татьяна Родионовна, вы говорите! Как это такая вкуснота может не понравиться? Некуда больше,— отвечали

с благодарностью сестры.— Обжормили вы нас совсем! И обжорили... Теперь и не поднимешься.

А Петя Взоров, отойдя от стола и усевшись в промятое плетеное кресло в углу террасы, прищурил глаза дрожащими ресницами и поглядывал из-под этой темной кисеи то на одних, то на других. И заметно было, что он доволен. Хотя и морщился иногда и вздрагивал от внутренней, скрытой усмешки, слыша корявые словечки в речах своих родственниц, особенно когда Полина Ивановна вдруг начала рассказывать, вспоминая о тяжелой жизни, о больных, распухающих своих ногах, о голодовке.

«Зачем она это?— думал он с брезгливостью.— Кому это интересно! Вот ведь глупая...»

Но прервать ее не решался, потому что видел, с каким сочувствием и вниманием слушают ее Простяковы. Хотя Пете и чудилось порой, будто они неискренне слушают, притворно покачивая головами, и вздыхают тоже противно. Казалось ему, что все это от чрезмерной воспитанности происходит, от врожденной вежливости и деликатности, а вовсе не потому, что понимают они Полину Ивановну и переживают вместе с ней ее давние беды, которых выпало на ее долю предостаточно. Тогда он тоже вздрагивал от скрытой усмешечки и наглухо прищуривал глаза ресницами, делая вид, что дремлет от скуки, хотя никто, кроме Дины Демьяновны, и не обращал на него внимания.

А она в то утро очень нервничала. Щеки ее покрылись розовыми пятнами, глаза блестели, как у перепугавшего, перевозбужденного ребенка, губы пересыхали и блестели, словно покрытые какой-то лаковой пленочкой. Она не могла сидеть спокойно, все время убегала из-за стола, но тут же возвращалась, садилась и старалась успокоиться, хотя и волновалась еще больше, облизывая губы, слушая всех сразу и не слыша никого, не понимая, кто о чем говорит. Но между тем ей было приятно и до боли радостно видеть всех вместе, радостно было сознавать, что все как будто понравились друг другу, полюбили друг друга.

И она тоже любила всех: влюбленно смотрела на свою добрую маму, на отца и откликалась влюбленным и благодарным взглядом, когда на нее ласково смотрела Мария Ивановна, смотрела с особенным, материнским интересом и доверчивостью, словно бы говорила ей: «Ну что ты так нервничаешь? Все хорошо. Не волнуйся, посиди со мной рядышком, поговори, расскажи что-нибудь, я послушаю. Вон ты какая у меня хорошая. И семья у тебя тоже хорошая. Мне понравилось у вас».

Во всяком случае, Дине Демьяновне в то утро слышались в ее взгляде эти слова, хотя они и не складывались у нее в со-

знании в те привычные и обыденные слова, которые можно произносить вслух или обдумывать молча. Нет, это было похоже на что-то совсем другое! Совсем незнакомое ощущение этих слов рождалось в ее сердце, когда она ловила взгляд тихой и задумчивой Марии Ивановны, когда на нее исподтишка порой смотрели ее печальные и очень усталые, мудрые в этой женской усталости глаза. «Я вас тоже люблю,— хотелось сказать Дине Демьяновне.— Я очень вас люблю».

После завтрака пошли осматривать комнаты и всю ту дачную рухлядь, которой был битком набит стареющий дом, а потом Демьян Николаевич повел гостей на участок и, конечно, показал свой огород и радовался, как малое дитя, когда слышал удивленные и недоверчивые возгласы сестер, которым уж очень понравились и огурцы, и зреющие помидоры, и морковь, и лук, и капуста — все, что росло, увядало, наливалось соком, добрело на ухоженных грядках.

— Ну, Демьян Николаевич, хоть ты и научный работник,— сказала Полина Ивановна,— а руки у тебя землю любят. И земля тебя тоже любит. Вон что делается! Легкая у тебя рука, Демьян Николаевич...

— Да какой же я...— смеялся Демьян Николаевич.

— Крестьянские у тебя руки, вот что я скажу... Да и не у всякого крестьянина такие-то вот руки... Ох, отбила бы я тебя у Татьяны Родионовны, ей-богу, отбила бы!

— Да какой же я работник-то научный,— все пытался объяснить смеющийся и очень довольный Демьян Николаевич.— Вы сказали «научный», нет! Я простой служащий.

— А мне все одно! Вижу, что человек хороший,— значит, и работник отличный, а человек, мол, плохой — дебошир да пьяница. Нет! Такого не бывает в жизни. Дай-ка ты мне, Демьян Николаевич, одну моркошку из земли выдернуть. Разреши уж ты мне это удовольствие. Много не буду, а вот эту,— говорила Полина Ивановна, поглаживая ладонью морковную кружевную ботву, подбираясь пальцами к ее основанию,— вот эту... Ох ты, господи.

И с каким-то необыкновенным наслаждением она потянула за ботву, толстая морковь поддалась, пошла вверх из земли, а земля вспучилась вокруг нее, вздыбилась и тут же обсыпалась в ту ямку, из которой вытащила Полина Ивановна тугую красную морковь с налипшей черной, влажной землей.

Полина Ивановна землю обтерла рукой и, словно бы бахвалась, откусила вдруг с треском морковь и стала жевать, щурясь от удовольствия.

— Что же не мытую, Полина Ивановна?!

— А зачем? Она из земли-то самая умытая. Самая сочная и душистая с землей. Я землей никогда не брезговала. Грязи боюсь, а земли нет. Вот, говорят... Дождь прошел, говорят, грязь. Это не грязь, это земляной раствор, а грязь — совсем другое. Говорят, ноги в грязи измазала. А не в грязи, а в земле ноги-то. Я никогда земли не чуралась, — говорила она, смачно жуя морковь.

И все смотрели на нее с детской радостью и удивлением.

Только лишь Петя Взоров, опустив ресницы, склонил голову набок, а губы его словно бы свело легкой судорогой.

На него поглядывала Дина Демьяновна, и ей не нравилась эта судорожная ухмылка, и — странное дело! — ей самой в тот момент три сестры, три Ивановны были такими понятными и родными, что она уже сама за них могла бы обидеться и втайне обижалась уже, видя Петину ухмылку. И кралось к ее сердцу мутное раздражение.

«Вот дурак-то, — думала она, раздражаясь все больше. — Вот уж дурак так дурак! Ничего не понимает. Неужели не понимает?!»

11

Гости уехали в сумерках, и Петя Взоров, сославшись на дела и плохое самочувствие, тоже собрался с ними. Дина Демьяновна проводила их до леса, расцеловалась со всеми и вернулась очень усталая домой.

Нервная эта усталость повисла на ней свинцовой какой-то, тяжелой тревогой. Каждая клеточка тела, казалось, была подавлена предчувствием неизбежной беды.

Какой беды? Почему?

— Устала, — сказала она Татьяне Родионовне, дребезжа разкладушкой на террасе. — Я, наверное, лягу.

Татьяна Родионовна и Демьян Николаевич стали молча, бесшумно убирать со стола, хотя и любили они посидеть в сумерках, под огромным, старым абажуром на застекленной террасе, увитой хмелем. Коричневые стены пропитывались оранжевым светом, становились теплыми и очень приятными, и чудилось тогда, будто вся терраса источала восковой, пчелиный запах. На деревянном, почерневшем от времени, массивном столе ярко сверкали белые чашки под низким абажуром, а лица сидящих за столом были трепетно укрыты живыми оранжевыми тенями от абажурной бахромы. И только руки были освещены. Здесь, на

террасе, стоял желто-коричневый буфет, и он всегда скрипел, приветствуя входивших на террасу и прощаясь с уходящими. Буфет был похож на забытый всеми, полуразрушенный костел. Медвяно-желтое нутро его пропахло хлебом, сахаром и печеньем, и порой даже казалось, что хлеб, полежав на его полках, становился вкуснее и душистее.

Все любили этот буфет, этот стол, этот плавающий в воздухе, отражающийся в стеклах и в чашках чая старинный абажур, пружинящие половицы, на которые сразу же откликался дремлющий возле бревенчатой стены буфет. Но в этот вечер Татьяна Родионовна, помогая дочери стелить раскладушку, сказала с шутливым страхом:

— Как ты тут не зябнешь по ночам!

Сказала так, будто ничего ровным счетом не произошло в этот день, будто это был обыкновенный день, похожий на все другие прожитые дни, когда она тоже так же вот говорила: «Как ты тут!»

И Дина Демьяновна, еле держась на ногах, была благодарна ей за это.

Лишь только раскладушка забелела простыней, лишь только Дина Демьяновна, смежая усталые веки, разделась и успела с дрожью и ознобом укрыться ватным, тяжелым одеялом и вдавиться головой в холодную подушку, как все вдруг исчезло для нее, и она отключилась, как какой-нибудь электрический прибор, от той сети жизненных хитросплетений, в которой она путалась весь этот суматошный день с лесной прогулкой после обеда, с обильным ужином и бесконечными разговорами, с напряженным ожиданием главного разговора и с разочарованием, потому что никто так и не решился или не захотел начать этот деликатный и необходимый разговор. Обо всем переговорили, но только не о судьбе Дины Демьяновны и Пети Взорова.

И опять неопределенность, но теперь уже пугающая своей жестокостью и фатальной какой-то неразрешимостью, опустошила ее душу.

Она проснулась, как от толчка, мягкого и нежного: так ее будило утреннее солнце. Но, оглядевшись с бессонной какой-то бодростью, поняла, что на дворе ночь, что светит луна, вырывал из тьмы испепеленный пронзительным и звучным светом стол и квадраты крашеного пола. Она чуть ли не со слезами вспомнила, что уснула и проспала весь вечер, что ее никто не разбудил к чаю, лишив заманчивого удовольствия. Теперь ей совсем

не хотелось спать, и она чувствовала, что не сможет уснуть в этой пустынной лунной ночи. Хотелось плакать, как в детстве, и громко звать маму.

«Что же мне делать?— подумала она в отчаянии.— Надо ведь что-то делать. Я есть хочу! Я ничего не ела весь день. Я ужасно голодная».

Луна светила так ярко и неистово, что Дина Демьяновна разглядела в ее лучах, в ее вездесущем сиянии блеснувшие стрелки часов, услышала торопливое покание крошечного механизма, которое тут же уплыло от нее вместе с рукой и растворилось в лунном свете.

Очень хотелось есть. Одно лишь воспоминание о поджаристых и больших котлетах с молодой картошкой вызвало во рту щемящий привкус голода. Но она с вожделением вспомнила и салат из свежих малосолевых огурцов, сдобренный подсолнечным маслом, помидоры, привезенные Петей из Москвы, и чуть было не заныла от нестерпимой уже обиды и какого-то счастливого голода! «Ма-ама-а!»

Она давно не ощущала такого острого и такого резкого и обнаженного чувства голода. Она вообще забыла, что это такое.

И это чувство взбудоражило и возбудило ее. Жизнь показалась вдруг такой заманчивой и сулящей столько удовольствий, столько радости в тихом своем течении, что Дина Демьяновна даже похолодела от хлынувшей вдруг сквозняковой свежести. Она знала, что в доме есть холодные котлеты, есть помидоры и холодная картошка, есть подсолнечное масло и черный хлеб, и, зная об этом, чувствовала себя так, словно именно в насыщении, в жадном поедании этих холодных котлет и таится вся прелесть жизни. А в каких отношениях она находится с людьми, живущими в ее душе,— это уже вопрос второстепенный и, в конце-то концов, не очень и важный.

«Нет, я не могу. Я умру с голоду,— подумала она с удивлением.— Это был мой день, это моя ночь. Я хочу ходить. У меня судороги начнутся, если я сейчас же не встану. У меня живот провалился от голода. Я есть хочу! К черту, к черту! Надоело все!»

Она не любила и никогда не ложилась спать в длинных рубашках и мирилась только с пижамой из светлого ситчика, предпочитая спать вообще без одежды. Но дачные ночи холодные. К тому же — терраса, тонкие переплеты застекленных рам, как аквариум, мирок, затянутый, как водорослями, хмелем, а она не гупи.

В эту голодную ночь она испытала вдруг странную и как буд-

то бы порочную, запретную во всяком случае страсть... Она сначала испугалась смутного этого и неопределенного желания, но что-то подхлестнуло ее, подтолкнуло из постели, сердце ее учащенно заколотилось, по лицу поползла испуганная улыбка... Ей захотелось вдруг встать и босой понежиться в лунном свете, напряжиться, изогнуться и увидеть себя, освещенную луной, увидеть светящуюся фосфором свою кожу — хотелось почувствовать себя бесконечно красивой и молодой.

«Ну и что ж?!— спросила она себя с удивлением.— Меня никто не увидит. А если увидит, сойдет с ума. Я очень красива, у меня широкие бедра и упругий живот, тонкие ноги и гибкая спина... И красивая ложбинка на спине. А кожа атласная... «У тебя хорошая кожа»,— вспомнила она Петины слова.

— Я очень красивая,— шепотом сказала она.— И схожу с ума от голода. Я голодная самка.

Она прошептала это слово «самка» или, вернее, продышала неслышно с таким тайным и сладостным чувством, таким желанием сиюминутного, еще неизведанного доселе, страшного, но заманчивого греха, что уже не могла сопротивляться, и, стараясь не скрипнуть половицами, опустила ноги на холодный пол. Со страхом и дрожью разделась. Стало холодно, когда она поднялась во весь рост. Она закрыла груди руками, прижав локти к животу. Полусогнувшись, на цыпочках, по ледяным половицам вошла в лунный свет, услышав громоподобный скрип старого буфета, который заворчал на нее. Кожа покрылась шершавыми мурашками от наслаждения, которое щекотно и нежно шевельнулось в груди. Она прислушалась, но в доме ничто не ответило на голос разбуженного буфета.

«Я схожу с ума,— подумала она с игривым и каким-то ложным испугом.— Почему же мне так приятно? И не страшно, не стыдно».

Ей и в самом деле было приятно стоять на холодном полу и, освещенной, чувствовать на своем теле лунный луч, пронизывающий ее насквозь.

«Я очень красивая... Это моя ночь. Я безумно люблю себя. Я никогда не была еще такой красивой, как сейчас. Я ничего не боюсь. Я люблю себя! И никто никогда не поймет, как я люблю себя. Я самая красивая женщина! И эта ночь — моя. Никто ничего не поймет и не узнает обо мне. Одна только я буду знать о себе все. Я хочу стоять вот так среди ночи, одна. Мне это приятно... И сама не знаю почему. А правда, почему? Какое-то наслаждение? И ужасно хочется есть,— подумала она вдруг, услышав урчание в животе.— Почему же мне так приятно? Потому

что я голодная, что ль? Как будто купаюсь в реке ночью, оставив все одежды на берегу. Тоже немножечко страшно и очень приятно, куда приятнее, чем в купальнике...»

И в этот момент она увидела за стеклом на лужайке, в разливах лунного света туманно-белое возвышение. Она не испугалась, а с любопытством взгляделась в это призрачное возвышение, узнав в нем бледный куст цветущей гортензии, кипы больших соцветий...

Нет, не страх она испытала в тот момент, когда вспомнила о гортензии, хотя и прошелся по спине колючий морозец,— она ощутила в этот момент свою беспомощность и обнаженность перед этой застывшей глыбой цветов, возвышавшейся над лунным половодьем. Ей стало стыдно.

«Красивый и умный юноша,— вспомнила она в эти мгновения.— Господи! Что это я? Конечно... Его земля, Колюня Скворцов. Почему же я еще не умерла от ужаса? Может, я и вправду сошла с ума? Или я лунатичка? Я сплю?»

Когда она подумала вдруг, что спит, и все, что затеяла, происходит с ней во сне, что она помимо воли подчинилась какому-то страшному и жуткому приказу встать, вот тогда-то только она и испугалась по-настоящему. Судорога страха кинула ее в теплую еще постель, раскладушка взвизгнула всеми своими пружинами, скрипнул старый буфет, а она зарылась с головой под одеяло и, притаившись, зажмурившись, долго не могла успокоиться и согреться, хотя вскоре уже и посмеивалась стыдливо над собой, над своим недавним сумасбродством, над этим диким, как ей казалось теперь, желанием увидеть себя в лунном свете.

Так она прележала до тех пор, пока ей не стало душно. В животе тоскливо сосало от голода, и она подумала опять, что не уснет, если сейчас же не встанет и не съест хотя бы кусок хлеба.

«Господи, как я устала!»

На этот раз Дина Демьяновна с раздражающей ее самой быстротой оделась и, заставив себя без страха взглянуть на туманную голову гортензии, светлеющую на лужайке, щелкнула выключателем.

И все исчезло сразу: луна, гортензия — словно бы она сменила черно-белую программу телевизора на цветную.

«Почему я должна спать?! Я так устала... Одна только ночь, господи! Неужели нельзя уделить мне одну только ночь! Одну только... Я все время одна. Не могу больше. Неужели не понимают, что я совсем одна?! Неужели спят?»

Но именно в это время услышала, как всхлипнула дверь, и в проеме появилась Татьяна Родионовна, которая со сна шу-

рилась и морщилась в недовольной и, казалось, озлобленной гримасе.

— Что?— спросила она испуганно.— Почему ты оделась?

Дина Демьяновна с ненавистью и отвращением взглянула на нее, заспанную и испуганную, и, крепя слезы от обиды, грубо ответила:

— Есть хочу.

Татьяна Родионовна, накинувшая на плечи вытертую шубу с кошачьим дравым воротником, недоуменно вперилась в дочь.

— То есть как? Ночь на дворе.

Дина Демьяновна смотрела на эту седеющую, сивую, заспанную старуху, которая была ее матерью, на дряблую шейку, прикрытую посекшимся и рваным ворсом мертвой кошачьей шерсти, и неожиданная злость подхлестнула ее, и она взорвалась.

— Ну представь себе,— сказала она шипящим голосом,— что мне очень плохо. Что я одна и мне плохо. Что я могу сойти с ума или умереть. «Ночь на дворе!» Ах, как страшно! Вы будете с папой спать? Вам хорошо, да? А мне плохо! Очень...

Татьяна Родионовна выпростала руку из-под накинутой шубы и ухватилась за косяк.

— Дина!— сказала она задремывавшим голосом, не сводя глаз с дочери.— Что?! Я не могу понять... Что? Объясни...

— Конечно, ты можешь только падать в обморок! Ах! Пугаться за меня, падать в обморок... А никто, ни ты, ни папа, ни я сама — никто не может ничего понять и объяснить мне! Никто! Боже мой! Никто...

Пришел на голоса всклокоченный Демьян Николаевич и, еще не проснувшись, спросил жутким каким-то, неживым голосом:

— Что происходит?— И, просыпаясь, переводил ошумевший взгляд с дочери на жену.

Татьяна Родионовна повернулась к нему медленно, словно околела вся, и проговорила в нерешительности:

— Вот, Дема... она... Пойди там... спички... зажги...

— Что? Чего зажги?

— О господи!— в нервном нетерпении вскричала Дина Демьяновна.— Ничего мне не надо!— переходя на истерический вопль.— Ничего! Если можно еще спрашивать, «что происходит?». Если вы... вы такие жестокие и тупые, отупевшие друг от друга, от своей... Господи! Ничего не надо! Идите спать! Я сама... Идите!

— Иди, Дема!— возвысила голос и Татьяна Родионовна.— Сейчас же!

— Куда? Я ничего не пойму. Объясните в конце концов!

— Я же сказала,— взмолилась Татьяна Родионовна, чуть не плача.— Я же тебе велела... возьми газ... Там спички... Зажги и поставь чайник. Дяночка хочет есть.

Демьян Николаевич, стараясь взять себя в руки, подозрительно посмотрел на женщин и, откашливаясь, промолвил покорно:

— Так бы сразу и сказали. Сейчас.— И ушел.

Татьяна Родионовна, скинув шубу на пол, в одной измятой полотняной рубашке подошла к дочери, обняла ее и заплакала.

— Милая ты моя,— говорила она сквозь слезы.— Радость моя. Я все... я хочу тебе... я все готова сделать для тебя. Неужели ты могла подумать,— говорила она, протягивая дрожащую руку к ее голове, дрожащие пальцы к волосам, сухое их тепло на темя побледневшей как будто бы, окаменевшей дочери.— Успокойся.

— Я спокойна.

— Тебе холодно? Я сейчас вынесу... А если в комнату? Дяночка, лучше пойти в комнату, там тепло. Накроем там и там будем... Ты, может быть, хочешь котлетку? Да что это с тобой?

— Прости, я накрывала...

— Что ты! О чем ты! Ты вся дрожишь... Пошли, пошли, и тебе накапаю валерьянки.

И Дина Демьяновна, так и не выдавив из себя слезинки, почувствовала себя очень усталой и разбитой и подчинилась матери.

В комнате было сухо и тепло. В хромированной вогнутости калорифера отражалась раскаленная, яркооранжевая спираль, источая рыжее тепло, которое припекало ноги Дины Демьяновны.

То ли это тепло, которое ласковым своим прикосновением вытеснило недавний лунный холодок из тела, то ли валерьянка, выпитая из хрустальной рюмочки, то ли горячий и крепко заваренный чай, но Дина Демьяновна успокоилась. Она сидела в мягком резном кресле с рваными подлокотниками, и ей было стыдно теперь перед своими родителями, которых переполошила среди ночи, и она пыталась как-то загладить свою вину.

— Я такой голод вдруг почувствовала,— говорила она с далекой и нездешней холодной усмешкой.— Так обидно стало. Ужас! Не разбудили... А теперь вот я вас... подняла. Ложитесь спать. Ну, пожалуйста!

— А мне не хочется,— говорил Демьян Николаевич грустным своим ночным басочком.

— Ну уж дай нам с паной сегодня уложить тебя. Ты у нас

маленькая сегодня, ночью есть захотела,— вторила ему Татьяна Родионова и шурилась в заплаканной и сонливой улыбке.

О ночном своем хождении в лунный свет Дина Демьяновна старалась не вспоминать: она только теперь испытывала запоздалый и тревожный страх.

12

Утром неожиданно-негаданно их всех разбудили Скворцовы.

— Эй вы, тетеря,— кричал Сергей Александрович.— Так-то вы дом сторожите?! Приезжает, понимаешь ли, хозяин-барин, а челядь дрыхнет в своих чуланах. Вот я розог-то прикажу наломать, вот я конюшню-то построю, высеку Демку-то с Танькой. Особенно Демку-то, лодыря! Самовар холодный, и стол не накрыт...

Демьян Николаевич, застегиваясь, слушал из-за двери и благобно улыбался.

— Получатца у тебя, Сергей Лексаныч,— отзывался он.— Чичас раздую самовар-от. Вставай, Танька! Барин-сударин приехали... Ругатца шибко!

А когда самовар тусклой желтой меди, попахивая еще дымком, пицал на подносе, картинно возвышаясь на краю большого стола, Сергея Александровича никак не могли дозваться. В прошлый свой приезд он забыл на даче электробритву и теперь, словно бы наверстывая упущенное, брился у себя в комнате, и из распахнутого окна доносилось подвывающее жужжанье.

Электробритвы, как игрушки для детей, завораживают многих мужчин. В магазине на улице Горького всегда можно увидеть праздных любителей этого одного из симпатичнейших изобретений человечества. Надо ли говорить, что мужчины ничуть не меньше женщин следят за своей внешностью, а в отношении своего лица даже, пожалуй, опередили слабый пол, ежедневно насилая природу, исправляя ее ошибки, выбривая бороду, которая дава им самой природой. И больше того, на человека, носящего усы и бороду, многие ревнители выбритого лица поглядывают с насмешливым недоумением. Велика сила привычки!

У Сергея Александровича была своя маленькая и тайная мечта — иметь лучшую в мире электробритву: бесшумную, изящную и безотказную игрушку. Он и сам уж точно не помнил, сколько перебывало у него всевозможных бритв, начиная с первой, малоудачной модели ленинградского завода, похожей на циклю по форме да и по существу: бриться ею было мучительно, и, кроме раздражения кожи, она раздражала и Сергея Алек-

сандровича, который, однако, оказался стойким и не вернулся к надежному «жиллету». Но бритвы, перебивавшие у него, пока еще не шли в сравнение с той, о которой мечтал Сергей Александрович.

— Разве это вообще-то бритвы? — говорил ему Демьян Николаевич. — Сенокосилки какие-то. То ли дело моя! Одно название чего стоит — опасная!

Немецкая бритва с костяной ручкой, которую он купил в конце войны у инвалида, брила со змеиным, опасным сипом, не оставляя на щеках даже намека на щетину. И оба друга часто спорили, выставляя напоказ свои выбритые подбородки, и даже жен своих звали в свидетели и судьи. Побеждал в этих соревнованиях всегда Демьян Николаевич, уступая, конечно, в скорости. Сергей Александрович тогда хохотал от души над белопенной бородой, которую Демьян Николаевич не успевал сбрить.

— Что, заржавела? Может, косу принести?

Так иногда забавлялись два старика, достигшие «желанного» — по древнекитайской периодике — возраста.

Сергей Александрович рано поседел, и, в отличие от своего друга, был избавлен природою от облысения. Седина его, как часто бывает у блондинов, отливала золотистым оттенком, и он выглядел куда моложе Демьяна Николаевича, у которого тоже довольно рано, увы, заблестела на темени белая кожа, обтягивающая мощный и лобастый череп.

«Старой зубной щеткой» называл его порой Сергей Александрович, хотя надо было обладать особой силы воображением, чтобы представить зубную щетку, глядя на голову Демьяна Николаевича.

У Сергея Александровича была длинная, кадыкастая шея, и казалось, он родился в неизменной белой рубашке, повязанной галстуком, в то время как Демьян Николаевич галстуки не любил, хотя и не позволял себе вольности ходить на работу без галстука.

Это были очень разные и совершенно не похожие ни по внешности, ни в привычках, ни в образе жизни люди.

А начало их дружбе положила счастливая женитьба, хотя, впрочем, и до женитьбы они были знакомы друг с другом, потому что будущие их жены были подругами детства.

Сергей Александрович ходил в то время в кожаном картузе. Он воевал в гражданскую, и у него хранилась дома пашка в черных кожаных ножках.

— Смотри! — грозился Демьян Николаевич. — Посадят тебя за это холодное оружие, — когда Сергей Александрович доставал

пашку из-за шкафа и, протерев ножны от пыли и паутины, осторожно и бесшумно выдвигал грифельно поблескивающий, избитый, источенный временем клинок.

— Ты не донесешь — кто ж узнает? — отвечал вопросом ему Сергей Александрович, загадочно поглядывая на стальную, чуть изогнутую полосу. — За нее не посадят, — уверенно заключал он и резко вгонял клинок в ножны.

— Зарубил ты хоть кого-нибудь этой шашкой? — спросил одпажды Демьян Николаевич.

А Сергей Александрович откинулся на спинку стула, положил пашку на колени и, словно баюкая ее, запел, прищурив в загадочной и странной улыбке светлые, мутно-голубые, простецкие глаза жителя северной России. Пел неразборчиво какую-то старинную песню с заунывным мотивом.

— А как же?! — ответил он вдруг с ледяным, белесым блеском в прищуре.

С тех пор Демьян Николаевич никогда не спрашивал его о прошлом.

— Ну тебя в болото с твоей шашкой! — говорил он ему, если Сергей Александрович тянулся рукою за шкаф. — Спрячь ты ее куда-нибудь подальше. Ну ее!

— Не бойся, Демущка, не зарублю... Ах, Дема, дорогой! — шутил Сергей Александрович, когда по какому-либо случаю они собирались у него за хлебосольным и хмельным столом. — А ведь если подумать, мог бы и ты против меня оказаться тогда...

— Это каким же образом?! — с тихим и еще не созревшим возмущением спрашивал бледнеющий Демьян Николаевич. — Что ж я, по-твоему, против революции был, что ли?

— Да ведь у нас с тобой, Дема, может быть, разные революции были: ты за одну, я за другую. Оттого и гражданская-то началась?

— Ну, знаешь. Мне твои эти всякие... привычки кавалерийские... Что за хамство вообще-то! Почему ты себе позволяешь хамить?!

— Не обижайся, я шучу, — успокаивал его Сергей Александрович, поглаживая потертый эфес шашки. — Я ж это с печалью говорю, с тоскою... Радуюсь, что этого не случилось. А ты, чудак, обижаешься!

— Как же не обижаться?! Хорошенькое дельце! — вскидывался Демьян Николаевич. — По-твоему выходит, что Простяковы... что ни отец мой, ни я сам не участвовали в строительстве республики, да? По-твоему, восстанавливать хозяйство — бабье дело, а шашкой махать — мужское. А ты вспомни себя! Ты пока

учился, пока тебе мозги выправляли, чтоб ты для дсяа какого-нибудь годился, я уже заведующим сберкассой был. Это что ж, прѣтвоему? Тыфу!— и растереть, что ль?! Ты учти, Простяковы хлеб свой всегда трудом зарабатывали. Всегда! И заруби себе это на носу своей... как ты ее называешь...

— Гурда она называется. Казацкая гурда. Я ее в бою взял... Из мертвой руки врага вынул... Вот так, Дема! А ты говоришь — сберкасса!

— Ну и что! А ты бы попробовал. Там гурдой не помахаешь,— горячился Демьян Николаевич.

Так они спорили иногда, и казалось, спор этот вот-вот перерастет в крупную ссору. Но тут-то как раз и вмешивалась Татьяна Родионовна, милая Танечка, в которую был чуть-чуть влюблен, не скрывая этого, Сергей Александрович.

— Сереженька,— говорила она с пугливой озабоченностью,— ты ведь сам должен понимать: каждому свое в жизни. Ты дрался, а Демьян работал. Разве можно за это упрекать? Ты ведь тоже теперь инженер, а не конник. А он даже учиться-то не мог, потому что кормильцем был в семье. Он ведь с семнадцати лет работать начал.

— А за что я его люблю? — спрашивал Сергей Александрович, словно бы осаживая коня на всем скаку.— За то, что он трудяга-парень, честный малый, и еще за то, что женушку себе выбрал такую красивую. Хитрый мужик! Сразу разглядел, а я вот не смог... Все! Заклучаем перемирие. Давай брататься, Дема!

— Пошел бы ты в болото!— говорил ему Демьян Николаевич с неостывшей еще обидой, хотя уже и без злости.— Что за привычка дурная: позвать в гости и обхамить. Куда это годится? Испортил настроение и рад... А чего ж ты? Лезешь брататься, а пашку из рук не выпускаешь?

— Убери ты ее, в самом-то деле!— в сердцах говорила ему Мария Анатольевна, которая терпеть не могла шуток опьяневшего мужа.

— С соседом-то дружись,— отвечал, смеясь, Сергей Александрович,— а за пашку держись.

Но раздоры эти, похожие на брань, случались редко и давным-давно уже не возникали вновь: то ли кровь горячая перебродила и успокоилась в сердце у драчливого по натуре и резкого в слове Сергея Александровича, то ли со временем полюбил он без оглядки своего доброго друга — во всяком случае, озлобленность его, зовущая всегда в драку, в спор, в брань, сменилась

добродушной ворчливостью, а старая гурда висела теперь открыто у него над кроватью, на зеленом ковре рядом с французской двустволкой, с которой он хаживал на охоты.

— Знаешь, сколько стоит?— спросил он как-то у Демьяна Николаевича.— Вот ты всю жизнь с деньгами имеешь дело. Сколько бы ты дал за это ружье?

— Ни копейки.

— Мне в комиссионном... Учти, в комиссионном! Там дороже не оценят. Там мне предложили тысячу двести рублей.

— Новых?— недоверчиво спросил Демьян Николаевич.

— Новых.

— Врешь небось... Чего же не продал?

— Я, Дема, люблю оружие, а не деньги. Мне на клинок смотреть приятнее, чем на сберкнижку. Само движение это, когда шашку из ножен наголо,— душу веселит. А то замки ружейные открою, услышу чмокание металла, маслице понюхаю — это же поцелуй! Ты посмотри, какая линия шейки, какая простота во всем, и, ей-богу, нет более высокого искусства! А бьет! Тут все: и форма, и содержание. Произведение искусства, а не ружье. Я не специалист по ружьям, но, чувствую, цены ему нет.

— Убивать производением искусства?! Безумие, конечно... А за сколько купил?

— Я, Дема, не знал, сколько оно стоит. Я у вдовы купил. Вдова одного нашего сотрудника. А он — фронтовик. Ружье привез с войны, на охоту тоже, как и я, мало ходил и тоже разбирался в ружьях. Вдова мне за восемьсот рублей и продала. Не новыми, а старыми... Представь себе! А уж потом, когда я цену настоящую узнал, мне нехорошо сделалось. Побежал я к вдове, а она, Дема, умерла к тому времени. Вот какая некрасивая штука получилась. Продать теперь это ружье не имею права. Продам — считай меня спекулянтом и мародером. Вот так. Пусть висит.

— Но ведь им-то оно тоже досталось не за деньги, а так... Сам говоришь...— сказал Демьян Николаевич и осекся.

Сергей Александрович с воскресшей вдруг злобой и тихим бешенством глянул на него и, задохнувшись, сказал с заиканием:

— А ты бы попробовал... за так-то! Так, говоришь... Попробовал бы — узнал, сколько стоит. Так... финансиет!

Демьян Николаевич любил своего друга с таким же беспокойством и тревогой, как он любил дочь, и если долго не виделся с ним, скучая и волновался.

— Что-то Сережка давно не приезжал,— говорил он Татьяне Родионовне.— Не случилось ли чего?!

На что она ему вполне резонно отвечала:

— Если бы случилось, мы бы знали. Никуда твой Сережа не денется.

Это бывало летом, когда Простяковы безвыездно жили на скворцовой даче, на подножном, как они говорили, корму, а сами Скворцовы жили в Москве.

Зато дни, когда они приезжали, были праздниками для Простяковых. Демьян Николаевич с годами даже перестал стыдиться слез, если вдруг они проступали у него от радости при виде седого своего, длинношеего друга, впряженного в большой зеленый рюкзак, в котором он привозил на дачу продукты.

В это утро, когда они наконец-то остались одни, когда жены их, а с ними и Дина Демьяновна, пошли прогуляться по лесу, Демьян Николаевич рассказал другу грустную историю отпущенной своей дочери с человеком, которого он сам так и не сумел полюбить.

И, рассказывая, не таил слез.

Сергей Александрович сидел сгорбившись на садовой скамейке, сцепив худые руки, брошенные между колен, и хмурился, слыша слезы в голосе друга.

— Что же ты раньше-то, — с укоризной сказал наконец он хриплым голосом, — ничего не говорил... Я ведь думал — ходит, женихается. Думал, чтой-то, дескать, Диночка такая разборчивая невеста?! Парень вроде бы улыбочивый, добрый, а она... Ничего, думал, парень-то. А тут оказывается... Ты его, Дема, гони в шею, как придет. А нужно будет, меня позови... Я ему за каждую твою слезинку, гаду! Я ведь, знаешь... Я его горбатым сделаю. Дема, перестань, милый... Дема! Я прошу.

— Как же я могу? — отвечал Демьян Николаевич сквозь слезы. — Вся беда, что она без ума от него. Я ж вижу! Не слепой... Как же я смогу?

Сергей Александрович стиснул сцепленные пальцы с такой силой, что они побелели у него, а ногти и подушечки набрякли кровавой сизостью, и с тоской посмотрел искоса на несчастного своего друга.

— И она тебе во всем сама призналась? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал с ядовитой усмешечкой: — Решительный шаг... Да и как тут быть?! Другие в ее летах детей уже нячат, а у нее только-только. — И вдруг, обозлясь, проворчал с какой-то прежней злостью и душевным неприятием: — Посадили девку на цепь, а теперь ходят, покусанные... И нечего реветь. Утри слезы, баба! Стареешь ты, Дема, стареешь...

— Стареть-то мне не с чем! — в отчаянии воскликнул Демьян

Николаевич, вытирая слезы.— Угрюмая у меня старость, хоть вешайся.

— Ты поосторожней с этим... Особенно когда мне говоришь. Я и психануть могу... У меня, Дема, могила в сердце, а ты истерики тут вслед за дочерью... Совесть поимей. Стареть не с чем?! Думаешь, могила сына — это тот самый багаж, с которым стареть приятно? Я ж тебе за это!!! Дурья бабка! Извинись сейчас же!

— Прости, Сережа,— хлопнув носом, сказал Демьян Николаевич с поспешностью.— Я ведь не хотел... Прости.

— Пороть вас всех надо! И тебя в первую очередь, старого дурака. На копышне. Вытри слезы! Иди умойся — смотреть тошно! Ну, пошли, пошли. Умойся как следует, а я тебе рюмочку налью за это. Иди!— говорил Сергей Александрович, подталкивая друга.

Но когда вернулись женщины, он и виду не подал, что ему стала известна чужая тайна. Был весел и дурачился, как обычно развлекая всех. Когда же выпили за обедом по рюмочке теплого душистого коньяку, он даже подмигивал и строил глазки Татьяне Родионовне, как это делал всегда, всю жизнь, изображая из себя несчастного влюбленного. А Татьяна Родионовна тоже, как всегда, смущалась и розовела от удовольствия. И даже чуточку молодела, робко поглядывая на своего задумчивого и печального супруга.

Был ее муж неисправимым ревнивцем, и привычку эту не оставил и теперь. А Татьяна Родионовна привыкла тоже до сих пор бояться его мрачных упреков.

Теперь она поглядывала на мужа и, видя усталость и печаль в его опухших от слез и бессонницы глазах, пыталась ласковой и робкой улыбкой успокоить его, словно бы говорила ему взглядом: «Ты не волнуйся... Я ведь только тебя люблю, а с Сережей — это у нас игра такая... Ты же знаешь!»

13

Но все это ушло в прошлое, стремительно унеслось, как последний вагон товарного поезда, влекомый чудовищной силой. Все умчалось, и шум утих, и только смолистый запах кротко и нечаянно напомнил о грохочущей, лягающей лавине металла, пролетевшей мимо тихого дачного местечка, мимо стандартной платформы с коричневой крашеной станцией и коричневыми перильцами.

А вспомнив таежный запах, можно было, закрыв глаза, легко представить себе скользящий по рельсам тупорылый болтающийся-

ся вагончик бурого цвета. И все тогда опять начиналось сызнова: запах распиленных сосен, ободранной сосновой коры, который, отстав от умчавшегося вихря, как будто бы оседал в затишье неведомой и невидимой пылью, щекоча нос и удивляя своей несовместимостью с бешеным порывом ветра и грохотом тяжело-вессного состава.

Так и Дина Демьяновна, закрывая глаза, долго еще вспоминала с каким-то непроходящим удивлением и восторгом жаркое лето, пустыри новостроек, запахи нового бетонного дома и гул разогретой, расплавленной Москвы, бешеный ее ритм, бетонную ее поступь и рев горячих моторов, рвущихся на зеленый глаз светофора, визг тормозов, торопливый шаг людей, спешащих через улицы. Люди — через, машины — вдоль, — вдох и выдох улицы, блеск хрома, блеск улыбок, груди синих голубей на скверах, тихие шаги по влажной земле и... радость...

И когда приходила радость, перед мысленным взором опять возникала стройная яблоня с зелеными яблочками, которые были еще легки и не отягощали ветвей, поднятых к небу. Яблочки крепко держались на ветвях, не боясь шквалистых, предгрозовых ветров, и были похожи на зеленые плоды шиповника, только что сбросившие лепестки. Лишь на припекке некоторые из них обматывались глухой и поверхностной розовостью, но были кислее щавеля.

Под яблоней, в перекопанном круге, в сквозящей тени росли бобы, растопырив жирные листья. Демьян Николаевич сажал их под яблоней, чтобы их корни отдавали азот земле, и чудилось, будто растения эти с цветами, похожими на красивых ночных бабочек, трудились изо дня в день.

Тут же, неподалеку, в знойный день с беспечностью и с электрическим каким-то потрескиванием корежились в судороге почерневшие на солнце, сухие, ороговевшие стручки люпинусов, заряженные лакированными ядрышками, маленькими, темными фасолинками, которые разлетались вокруг, чтобы на будущую весну прорасти в пригретой земле новыми бархатистыми заячьими ушами, а летом подняться среди зелени лиловым и розовым дымом цветов, гудящих от пчел и шмелей. Над этим сиреневым островом светилась молодая изогнутая береза, свесив прозрачную ветвь над цветами, и темнела рядом могучая ель с подтеками засахарившейся смолы на сизом стволе.

Напротив же террасы, в густой траве, на лужайке цвела бледно-зеленая среди лета гортензия, которая лишь к осени становилась белой с розовым оттенком и бумажно-сухой.

Цветы ее всю зиму стояли в доме у Скворцовых.

Татьяна Родионовна тоже увозила в Москву несколько этих пышных гроздьев и ставила их в вазы, сохраняя до весны, до первых живых цветов.

Вспоминала об этом Дина Демьяновна с таким чувством, будто весь мир в то лето удивительным образом устроен был для нее лишь одной; будто все в этом мире расцветивалось, озвучивалось, окраплялось запахами, умирало и создавалось заново только лишь для того, чтобы именно она, Простякова Дина Демьяновна, могла почувствовать, ощутить, увидеть и услышать все это бесконечное разнообразие мира и понять могла, как прекрасна жизнь во всех ее проявлениях. Мир с его звуками, красками и ароматами словно бы приглашал ее испытать все радости и все печали бытия, заманивал и соблазнял своими тайнами — и она не отказалась.

Теперь же, вспоминая, она с удивлением и недоверием разглядывала себя как бы со стороны и, не жалея ни о чем, спрашивала в некоторой растерянности: «А жить-то как? Нельзя же всю жизнь, как в то лето, ни о чем не задумываться. Нельзя же без будущего!»

«Почему же нет?— врывалась она в эти благоразумные свои размышления и с не меньшим удивлением спрашивала:— А если это единственное мое лето? Мне давно не восемнадцать, а оно у меня первое — это лето! Почему нельзя? Глупости все...»

Но опять спрашивала себя, поглядывая со стороны:

«Но разве в этом и заключается все то самое, что называется счастье? И дело вовсе не в безрассудстве поступков, нет! Я ни о чем не жалею. Наоборот! Я обо всем, о каждом дне, о каждой ночи вспоминаю с дрожью и радостью, как будто все еще во мне, все еще только теперь, сейчас, сию минуту... Но все-таки... Боже мой, как много еще надо сделать! Надо больше читать, бывать в театрах, концертах. Теперь я все понимаю и все совсем иначе чувствую, чем прежде. Только теперь я и могу, имею право на полнокровную жизнь женщины. Да, эмансипэ, эмансипэ... все это конечно... Но все-таки! Теперь я все знаю. И не хочу быть неудачницей! Я удачлива... Очень! Я люблю свою работу, люблю читать, учиться, узнавать новое, удивляться и удивлять других. Разве это не удача?»

Когда она так спрашивала себя, в душе ее нарастала вдруг, накатывала свежая и чистая радость, похожая на давнишнюю, юную, полузабытую, но очень понятную и объяснимую энергию, которая поднимала в ней силы, призывая к сиюминутной дея-

тельности. И Дина Демьяновна, испытывая этот странный и ликующий призыв, видела внутренним каким-то взором себя бегущей, смеющейся, спорящей с кем-то, махающей руками и куда-то торопящейся, торопящейся...

Ей было некогда теперь. Нужно было что-то успеть сделать или понять, чтобы почувствовать себя совершенно свободной.

Возникающие эти видения и ощущения были похожи на далекие детские мечты, когда так же зримо, и так же неопределенно рисовались перед ней в мгновение ока каждое ее желание и каждая мечта, воплощаясь сиюминутно в смутную и непонятную еще реальность. И может быть, именно эта похожесть вызывала у нее улыбку, и она верила в то, что так оно все и будет в жизни, стоит лишь захотеть...

Но что будет и как — на это уже не хватало ни знаний, ни желания узнать.

В конце сентября нанесло на город жару. Но в разгар обманчивого бабьего лета, в знойный солнечный полдень, хлынул наконец-то с севера ветер, залил улицы холодом, зашумел в липах, вытряхивая листья на трамвайные пути, высвечивая землю и асфальт стронциановой желтизной.

Вдоль чугунной низенькой ограды сквера, где кричал на фонаре предупреждающий знак «Осторожно, листопад», и там, где обрывались промятые и затоптанные тротуары в тихих переулках, которые, как трубы, всасывали ветер, — всюду засветились соломенным цветом наметы сбитых листьев.

А ветер, леденя, тащил уже над крышами города обтрепанные в пути тучи. Капли дождя вдруг чернили мостовые, обметывали холодным бисером и уносились мутной изморосью, словно бы не дождь, а сырое, серое облако хлестало своим рваным подолом дома и улицы. Листья липли к мостовым, но на сквере взметывалась еще сухая пыль, останавливая людей. Трещали деревья.

Шумно было, зябко и суетно в этой резко изменившейся, взбешенной жизни. И чудилось, будто даже трамваи и автомашины застопорились, как и люди, среди метущихся листьев, пыли, дождя и угольно-дымных туч.

Татьяна Родионовна, поглядывая в окошко, очень разволновалась и повторяла то и дело, нагоняя страху на себя:

— Придется, наверное, ехать. Ну как же! Такой вдруг холод, а она в летнем платье. И даже зонтика не взяла. Надо ехать. Я, Дема, все-таки поеду. Как ты думаешь?

— Но ведь ты же звонила. И Дина права — нечего с ума сходить. Ты все время забываешь, сколько лет твоей дочери. Успокойся, пожалуйста, ничего с ней не случится.

А Татьяна Родионовна, достав из гардероба теплую кофту и плащ, измучилась совсем от своей нерешительности.

— Поеду я, пожалуйста... Жалко ведь, простудится, слегнет. Чего ж хорошего-то? А твое легкомыслие меня просто удивляет. Надо все-таки ехать. У тебя есть трехкопеечная монета?

— Поздно, — сказал ей наконец-то Демьян Николаевич. — Ты уже не застанешь ее. И перестань сходить с ума.

Если бы Татьяна Родионовна выехала из дома сразу же, как налетел ветер и началась эта холодная рыжая буря, она бы, конечно, успела отвезти дочери теплую кофту, но прособиралась до сумерек, а теперь уж и в самом деле было поздно: впору встречать озябшую дочь горячим чаем с кагором.

Библиотека закрывалась в восемь, девочка, стоявшая на выдате, ушла до времени, заниматься на подготовительных курсах, и Дина Демьяновна заняла ее место, хотя могла бы и не делать этого.

Маленькая районная библиотека, имеющая всего около пятидесяти тысяч книг, ютилась на первом этаже старого дома. Напротив, через улицу, был сквер, на скамейках которого вечно дежурили угрюмые, возбужденно-бранчливые, мрачные и отупевшие от своей беды мужчины, потому что в старом доме, кроме библиотеки, размещался большой продовольственный магазин с винным отделом. Они сюда приходили, как приходят, наверное, люди в какой-нибудь профессиональный клуб. А Дина Демьяновна помнила время, когда в этом скверике на тех же скамейках сидели женщины с детскими колясками. И теперь она ненавидела этих больных людей, каждый день собиравшихся здесь, под липами, захвативших милый уголок среди камня, железа и асфальта. Она понимала, что нет уже никакой силы избавиться от них, пока в магазине есть винный отдел. И это очень удивляло ее и злило.

Кроме магазина, была в доме сапожная мастерская. Входная дверь библиотеки с деревянным приступочком и скромная, подслеповатая вывеска терялись на фасаде оштукатуренного дома рядом с дверями и вывесками магазина и мастерской. Шумные эти соседи с утра до вечера хлопали дверями, жужжали моторами, дребезжали пустой посудой, издавая запахи сапожного клея, хлеба и колбасы.

Впрочем, Дине Демьяновне, да и всем, кто работал в библиотеке, это шумное соседство вовсе не мешало. Все эти три заве-

дения — магазин, мастерская и библиотека — за долгие годы совместной жизни странным образом скооперировались и, как это часто бывает у добрых соседей, выручали друг друга, живя по принципу: ты мне, а я тебе. Ребята из мастерской чинили туфельки и сапожки, получая взамен дефицитные детективы и хорошие куски мяса, а читающий красавец мясник и молоденькая продавщица из бакалейного отдела не забывали тоже и о своих соседках из библиотеки, придерживали и для них лакомые кусочки мяса, «челочку для супа», как говорил мясник, филейный край, растворимый кофе, если он вдруг появлялся, копченую колбасу или селедку хорошего посола, за которой давились люди в очередях.

Особой выгоды никто, конечно, не имел от этой подпольной кооперации, если не считать сэкономленного времени и нервов. Но, в общем-то, добрососедство процветало и было приятно всем, кто проживал в этом загадочном симбиозе, хотя Дина Демьяновна иронизировала порой, если была не в настроении.

— Накорми мою плоть, — говорила она, — а я накормлю твой дух. Тоже мне, миссионерки.

Но сама же пользовалась этими маленькими благами, всякий раз чувствуя себя в долгу перед добрыми людьми и не зная, как отблагодарить их за заботу.

Именно в этот день, когда налетел холодный ветер, она тоже купила две банки бразильского кофе, два невесомых жестяных цилиндрика с ярко-красной чашечкой и рассыпанными зернами на лакированном кофейно-коричневом фоне. И, главное, купила займы.

Она была смущена, но очень довольна собой, потому что, не имея денег, купила кофе. Отказывалась, но продавщица Настя заставила ее взять и сама принесла в библиотеку эти две банки в бумажном пакете. Кофе займы до зарплаты. Чудеса!

«Надо ей что-нибудь хорошенькое подобрать, — думала теперь Дина Демьяновна, — что-нибудь такое, чтобы ей обязательно понравилось. Надо, конечно, посоветоваться с девочками, они-то уж знают ее вкус... Что-нибудь, конечно, о любви...»

И вдруг подул этот промозглый и бешеный ветер, хлопнув форточкой с-такой яростью, что стекло только чудом уцелело в раме. Отвалился и упал на пол кусок сухой замазки, обнажив ржавый гвоздик, а стекло не разбилось. После этого треска, похожего на выстрел, сразу все приглушилось, и послышался протяжный и все нарастающий сильный шипящий шум сухих деревьев, которые, как огромные языки желтого пламени, искрясь, завалились под ветром и заколыхались, потрескивая и постукивая

ветвями. Новый звук... Как будто заложило уши, и только этот унылый шум в целом мире.

«Ну вот и все,— подумала Дина Демьяновна.— Это, конечно, настоящая осень, и теперь надолго, до самого снега эти дожди и холода. Ну и ладно. Пора».

Она слушала шум деревьев, сидя в глухой, книжной тишине пустой библиотеки, в которой тепло еще пахло старым картоном, клеем и пылью истлевающих книг, и ей было так покойно, и так тихо было на душе, словно бы какой-то живительный ритм услышала она в себе, давно уже утраченный и забытый в суете дней.

«Господи, я ведь терпеть не могу жару! А это наконец-то осень. Колючие мои холода, здравствуйте. Наконец-то!»

В сумерках, когда она собралась уже уходить и достала из сумочки звякнувшие в тишине ключи, пришел запоздалый читатель.

— Принесите мне сюда всего Скотта,— возбужденно сказал он, взъерошивая волосы руками.

Это был Сыпкин, которого знали и боялись все. Он всегда взъерошивал свои хлимы и чахлые волосы, вместо того чтобы пригладить их, как это обычно делают лысеющие мужчины, а, никогда не здороваясь, сразу требовал к себе самого глубочайшего внимания.

— То есть как это всего?— опешила Дина Демьяновна.— Все-то, конечно, не понесу...

— Вы здесь, наверное, новенькая, а я-то отлично знаю, у вас там мало Скотта. Несите все.

— Это я-то новенькая? Ну-у, знаете, память у вас... А где ваши книги? Где вас прикажете искать?

— Книги еще не прочитаны. Полистал — ерунда какая-то. Ничего не могут! Так что уж ищите меня без книг. Я Сыпкин. Я не зачитываю книжки, не волнуйтесь.

— Когда вы были у нас?

— Разве я обязан помнить? Я Сыпкин... А чтой-то я вас раньше никогда не видел здесь? Вы все-таки, наверное, новенькая, но скрываете от меня.

— Я знаю, что вы Сыпкин, а вот искать-то вас где?— с раздражением спросила Дина Демьяновна, вдруг обидевшись на этого склеротика.— Вы бы еще попозже явились. Не знаю, не буду вас искать.

— Не имеете права, девушка. Вы обязаны меня искать. И вообще в библиотеке таким тоном не разговаривают, это учреждение Министерства культуры. А вот вы новенькая, должны это...

— Да какая я новенькая! Но... уже восемь часов, и библиотека закрыта.

— У меня тоже есть часы,— сказал Сыпкин.— На моих часах без двух минут восемь. Так что найдите меня и принесите сюда всего Вальтера Скотта.

Спорить с Сыпкиным было просто опасно. Его всегда очень трудно понять: шутит ли он или говорит всерьез. «Неужели он совсем не помнит меня?» — подумала Дина Демьяновна, почему-то очень обидевшись за это на Сыпкина. Впрочем, всякий раз приходилось убеждаться, что он еще никогда и ни по какому поводу не шутил, что юмор, даже самый безобидный, заказан ему навеки, и если случалось, новенькая, впервые слушая его, начинала добродушно усмехаться, он страшно возмущался и совсем выпцвечал, как рыба на песчаном дне.

— Что все это значит?— говорил он.— Почему вы смеетесь над человеком? Кто вам дал право? Вы здесь новенькая? Имейте уважение к себе. Учитесь быть человеком! Сколько вам лет? Кто вас взял сюда на работу? Кто имел право взять вас, не доросшую еще до культуры, невоспитанную девочку?!

Новенькая терялась, не в силах ничего понять, и пускала слезу. А новенькие в библиотеку приходили и в самом деле часто, почти каждый год: приходили десятиклассницы зарабатывать стаж, провалившись на экзаменах в вуз. И уходили счастливые, если удавалось поступить в институт. Дина Демьяновна недолюбливала этих временных, но в маленькой библиотеке иначе ничего не получалось, никто не шел работать постоянно на тот низкий оклад, который не смущал лишь только десятиклассницу. Постоянно здесь работали заведующая библиотекой, старший библиотекарь и Дина Демьяновна, заведующая абонементом, получая в месяц около ста рублей за свои немудреные, в общем-то, дела, пользуясь при этом относительной свободой во времени: могла прийти на работу попозже или, если надо, пораньше уйти.

Но вот, к сожалению, не смогла этого сделать именно в тот день, когда напоролась на Сыпкина.

У него была большая и, по всей вероятности, при неудачных родах помятая голова. Очень может быть, что его тащили на свет щипцами. Из глубоких вмятин этой неказистой и словно бы не законченной ваятельем, глинистой, сырой головы смотрели напряженные и невзрачные в своей неопределенности глаза — глаза психа или гения: трудно было понять.

Он порой спрашивал, находясь в хорошем расположении духа:

— Ну как она... жизнь-то? — обнажая при этом мощные и широкие желтые зубы в улыбке.

— Ничего,— отвечали ему девочки в страхе.

— А я вот никак не соберусь... Все некогда! Никак не засяду за свои бумаги. Но придет мое время! Подумать только, какое безобразие пишут фантасты! Детский лепет. Бредбери, Лем, Стругацкие — знаменитости. А ведь чепуха страшная, если разобратся... Кого ни возьми... Никакой пользы людям, а ведь фантастика, милые девушки, должна приносить человечеству пользу. Иначе зачем? Зачем задурить голову? Не знаю... Жаль, времени нет у меня. Некогда. А ведь столько тем под руками! Взять хотя бы жука майского. Ученые ничего не могут понять, откуда такая энергия в крыльях. Вы не представляете себе, сколько взмахов в секунду делает жук! Пропеллер... А за счет чего? Откуда такая энергия? А в наш век, когда энергия истощается безбожно, разве это не тема для фантаста? Дух захватывает... Но мои знания малы, чтобы вывести формулу этой энергии... Один знак... другой...— начинал он вдруг что-то невнятное бормотать, словно бы отключался,— похож, конечно, на лебединую шею, но это не латынь... нет... не буква «S», а скорее символ медицины — змея, выползающая из чаши... Какая-то подставочка под шейкой... Я хорошо помню... И это меня очень беспокоит... Да, да, да, да... Очень! А ведь в книгах-то!— восклицал он, опять обретая напряжение в глазах и в голосе.— Совершенно нечего читать! Никакого полета фантазии, мысли... Вы хоть согласны со мной, девушка?

И он так тоскливо взглядывал в глаза своей жертвы, что никому и в голову не приходило спорить с этим возбужденным и совершенно непонятным человеком. С ним деликатно соглашались, чтобы хоть как-то успокоить и отвлечь, уйти от этого страшного субъекта, которого все боялись и о котором ходили слухи, что он состоит на учете в психиатрическом диспансере.

— Ну как она,— спрашивал он хищно и, выдерживая паузу, хмылкой оканчивал привычный свой вопрос,— жизнь-то?

Собственно, с этого Сыпкина и начала Дина Демьяновна свои записки или, точнее сказать, наброски, штрихи, попытки нарисовать типичных читателей крохотной библиотеки.

Впрочем, наблюдая и записывая, она никаких особых задач перед собой не ставила и быстро охладела к этому занятию. Очень редко доставала она теперь свою тетрадку, добавляя к написанному какой-нибудь незначительный и случайный разговор, чье-либо мнение, с которым она не могла согласиться и которое мешало ей жить. И так уж случилось, что тетрадка эта стала служить ей своего рода мусорным ящичком, куда она бросала

все то ненужное и раздражающее ее, без чего она опять обрела способность быть свободной.

Она не любила эту тетрадку — скопище печальных и насмешливых своих наблюдений над людьми, но все-таки возвращалась к ней от случая к случаю, когда испытывала потребность освободиться от тоскливых своих раздумий.

Эти записки ничего общего не имели с дневниковыми записками, которые до сих пор ведут некоторые люди, храня их в тайно от друзей и родных. Ничего личного не привносила Дипа Демьяновна в эти свои литературные упражнения, никакой оценки не давала тем крохотным эпизодам, которые она наблюдала в библиотеке. Ей даже было приятно показать однажды тетрадку Пете Взорову и услышать его смех и одобрение. «Здорово! — сказал он. — Но почему так мало?» На что она ему ответила: «А разве этого не достаточно?» — «А про английский роман, — сказал Петя Взоров, — вообще гениально! Молодец...» — И, смеясь, вслух прочитал монолог женщины, доставив удовольствие Дипе Демьяновне, которая тоже очень смеялась, словно бы слышала все это впервые. «Действительно смешно!» — говорила она удивленно. Петя Взоров соглашался с ней, говорил тоже с удивлением: «А ты, оказывается, вообще-то юмористка! Кто бы мог подумать!» — «Ну какой уж тут юмор! Просто у нас с тобой хорошее настроение. Смешинка в рот попала».

Но, отвечая так на его похвалу, она млела вся от восторга и очень любила своего Петьку и очень нежна была к нему.

«Вы знаете, есть такой роман английского автора, не помню там про девушку... Ее мать вышла замуж за другого, она уезжает в Москву и там ведет роскошный образ жизни, а потом ее муж женится на другой. Ой, прекрасный роман! Я его когда-то читала, хотелось бы вновь почитать. Дайте что-нибудь в этом роде... Да, я тут фильм смотрела... это про Леонардо да Винчи... У вас нет такой книги? Да, я еще фильм смотрела «Вешние воды». Дайте мне эту книжку. Ой, но тот! Просто прекрасный роман! Вот жаль, не помню, как называется. Помню, какой-то английский автор. Вы не знаете?»

«Не люблю войну, сам воевал...» (мужчины).

«Не люблю войну, падоела она...» (женщины).

«Тут война... Дайте лучше что-нибудь про любовь...» (молodeжь).

«Рассказы не читаю. Люблю, чтоб начало и конец. А то только начнешь читать, а он на самом интересном месте кончается, и думай сам...»

«Дайте что-нибудь интересенькое: фантастику, детективчик

какой-нибудь, а то реальная жизнь и так надоела, не хватало еще о ней читать...»

«Имена какие-то непонятные. Мне переводное не давайте, не надо... Я не понимаю ничего...»

«Современных нет хороших книг. Это ведь как наши писатели сейчас пишут: расскажут со всеми подробностями дорогу там, птичек, цветочки, небо тебе опишут, воздух опишут, а конец скамкают, и сам догадывайся — чем дело кончилось...»

«Дайте какую-нибудь рваненькую, потрепанную книжку, их интересно читать».

«Чего ж у вас последнее время ничего не рвут? Хороших книг совсем, что ли, нет?»

«Дайте мне что-нибудь старенькое, потрепанное, хорошее... А то тут только новые книжки лежат. Кто их знает, что за книжки».

«Дайте что-нибудь порваннее. Я как увижу драную, сразу беру».

«— Покажите что-нибудь.

— А вы здесь смотрели?

— Здесь у вас никогда ничего хорошего не лежит. Достаньте мне что-нибудь снизу.

— Я эти книги только что оттуда достала.

— Да нет, у вас тут не бывает хорошего. У вас все хорошее внизу».

«— У вас какие-нибудь новые журналы есть?

— Вон там, наверху все лежат.

— Нет, у вас там старые.

— Ну как же! На верхней полке лежат журналы этого года.

— Да? Там, наверное, ничего интересного нет...»

«Должники приносят конфеты».

«— Лезут тут всякие без очереди, появляются неизвестно откуда.

— Она давно пришла, просто искала книги.

— Так у вас и внутрь, значит, некоторых пускают?!

— Она искала спецлитературу.

— А, ну раз спец, то ладно... Вот! Работает в МИНТИ, а ходит сюда. Что у вас там, своей библиотеки нет? Чего вы сюда ходите! Мешаете только...»

«Я современную литературу не люблю. Я и так все знаю. Я сама всю нашу жизнь вижу, уж опостылело все. А вот о том, что было двести лет назад, я не знаю, поэтому интересно почитать».

«Господи, как хочется что-нибудь новенькое, свеженькое почитать».

— «Консуэло» — такая глупость! Там кто-то кого-то убивает, что-то такое непонятное. Страшная чушь... Я забыла, кто автор-то.

— Жорж Санд. Да, мне тоже не понравилось. Ерунда по сравнению с «Женщиной в белом»... Вот самое такое, конечно, это Эдгар По... а «Консуэло» так себе.

— Да, не поймешь, что такое. Это и не фантастика и не сказка, а что-то страшное и не страшное.

— Нет, ну самое страшное, конечно, у По.

— Это то же, что у Гоголя «Вий» — не поймешь, что такое и зачем. Чего-то намудрил, намудрил...

— Да, я фантастику терпеть не могу.

— А кстати, вы знаете, Гоголь-то не умер, у него был летаргический сон, он только после летаргического сна умер...

— Я слышала...»

На этом записки ее кончались, потому что ничего нового и оригинального она уже не слышала в суждениях некоторых своих читателей. Правда, были у нее и свои собственные размышления, но, однажды перечитывая их, она устыдилась своих мыслей, они показались ей наивными и бездоказательными, и она вырвала странички из тетради. Теперь Дина Демьяновна совсем не помнила, о чем писала, хотя помнила, конечно, что думала в ту пору о рассказе и о том, почему рассказы, как, впрочем, и стихи, почти не берут в библиотеках и даже не спрашивают. Это ее очень огорчало. Но потом она пришла к мысли, что стихи и рассказы живут на книжных полках настоящих и ей совершенно неизвестных читателей, которые не ходят к ней в библиотеку... Рассказы — это что-то очень личное, какая-то тихая и тайная любовь. Рассказы стоят на книжной полке и иногда вдруг приходят — неожиданно и негаданно. К ним надо возвращаться, к неуловимой их прелести и изяществу. Их надо очень любить! Любить даже обложку книги, в которой они живут, даже место на полке, где стоит любимая книга, запахи этих книг, шорохи их желтых страниц. Знакомые начала и известные концовки... Совсем другая стихия чтения!

Но она все-таки вырвала эти странички, полагая, что слишком уж спорны ее рассуждения о рассказе, слишком много страсти и восклицательных знаков в ее коротком эссе, слишком оно уязвимо и, так сказать, «дневниково», хотя она до сих пор помнила, что были там и очень любопытные рассуждения о «стихиях чтения рассказа». Но все это забылось, как сон. Помнила, что бы-

ло что-то интересное, а что именно — восстановить в памяти уже не могла. Впрочем, она и не жалела об этом. Главное, что она пришла когда-то к истине и, утвердившись в этой истине, успокоилась. «Значит, так надо». Надо, чтобы люди не приходили к ней и не спрашивали сборники стихов и рассказов. У каждого свой Бунин, свой Чехов, свой Куприн, свой Платонов... Их читают люди, у которых есть свои библиотеки, а к ней ходят те, у которых в комнатах стоят дорогие или дешевые гардеробы, серванты, обеденные столы, диваны, тумбочки, телевизоры и магнитофоны, но у которых нет, увы, ни одной книжной полки. Нет своих книг. Это как-то не укладывалось у нее в сознании. Жить без книг?! Не видеть каждый день своих любимых книг! Как же так? Что ж это за жизнь?

Нет, она не могла себе представить такую жизнь и очень жалела людей, жалела человека, у которого не было — никогда! — своих книг, не было книги, купленной на последний рубль, которую бы человек полюбил. Эти люди приходили к ней и, боясь ошибиться, просили выдать что-нибудь «порваннее и поистрепанней».

«Значит, так надо», — решила когда-то Дина Демьяновна и больше не стала спорить с такими читателями. Да и нельзя было переспорить их: они, как наркоманы, тянулись к тому призрачному удовольствию, на которое рассчитывали, унося домой старенькую, грязную книжку, и, часто неудовлетворенные, разочарованные, вновь приходили и, не зная, что же им нужно от литературы, брали опять же полуистлевшие книжки, чураясь новых и порой несравненно более ценных и талантливых, гениальных книг. Ну их!

Популярность автора? Да, конечно. Но все-таки — бедный автор! В какое заблуждение могут ввести его эти читатели! Как грустно видеть радость и гордость в его глазах, когда он держит в руках свою истрепанную, читаную-перечитанную книгу, как трудно смотреть в эти минуты ему в глаза, говорить с ним, преисполненным восторженной уверенности, и знать, что книга его всего-навсего лишь жвачка, которую сплевывают, забывая тут же о ней.

И так уж складывалось в жизни, что тех писателей, которых она любила, почти никто не знал и не решался узнать. Тех, кому она отдавала все свои свободные часы, над книгами которых она и плакала порой, и печалилась, и наслаждалась — их как будто бы никто, кроме нее, никогда не читал. И больше того: их книги, как это ни странно было, никто не спрашивал. И ей стоило боль-

ших усилий привыкнуть к этой тревожащей ее несправедливости, пока она не записала однажды в тетрадке свои размышления на эту тему и не пришла к какой-то упрямой мысли о том, что, «значит, так надо». С тех пор она стала как будто бы увлечивагь в воздухе библиотеки, в тончайших пылинках, клубившихся в солнечных лучах, постоянное и словно бы извечное присутствие затаившейся своей любви. И оттого, что любовь эту никто как будто бы не разделял, и оттого еще, что Дина Демьяновна долго страдала и тревожилась, не понимая людей и не находя в них единомышленников, она еще больше уверилась в своей правоте и в истинности поклонения тем божествам, которых она сотворила. И все-таки она чувствовала и знала, что эта ее любовь не одинока, что на свете живут люди, которые так же, как она, страдают от кажущейся неразделенности любви. И она безумно радовалась, встречая такого человека, слыша имя писателя, которое звучало для нее волшебным каким-то звуком, вызывая в ней восторг и даже чувство ревности. Она всякий раз вздрагивала и очень смущалась, словно бы ей на людях признавались в любви, и боялась тогда выдать себя, показать свое смущение и тайную радость. Нет, она не была, конечно, одинока в своих привязанностях!

Дошло до того, что она с особой заботливостью стала думать о тех немногих книгах, которые стояли на полках в библиотеке и к которым она относилась как к своим собственным. Она собрала их вместе и держала в шкафу, нарушая все правила абонементов, и распорядилась, чтобы девочки не выдавали их без ее на то разрешения и уж во всяком случае не предлагали их кому бы то ни было. Их могли получить только люди, которые знали этих писателей и просили именно эти книги, а не что-нибудь хорошенькое вообще...

Так она отъединилась ото всех и, затаив свою любовь, почувствовала себя спокойно. И то равнодушие к шести тысячам читателей, то недоверие к ним, которое со стороны могло бы показаться непривлекательным и даже отвратительным свойством ее натуры, стало для нее своего рода защитной реакцией от людского равнодушия и недоверия. С годами она научилась безошибочно определять потребности пришедшего к ней человека, его вкусы, его возможности и, таким образом возвысившись над людьми, почувствовала наконец-то облегчение в работе. И лишь некоторые из этих людей доставляли ей беспокойство: среди них был и Сыпкин, который заставил-таки принести ее в этот вечер всего Вальтера Скотта и, мрачно бормоча над книгами, неожиданно отвлекся вдруг и пошел к выходу.

— Вы мне испортили все настроение,— сказал он на прощание и, остановившись около дверей, стал нервно застегивать свой балахонистый старый кремовый плащ.— С вами нельзя пошутить. Вы должны бы знать, что я читаю только Вальтера Скотта... И если я пришел к вам, простите, если я вообще хожу в вашу библиотеку, это вовсе не значит, что я такой же глупец, как и все... Вы, я знаю, вы такой же одинокий человек, как и я... Простите... Сегодня ветер... на меня это плохо действует... Всегда очень трудно объяснить свое состояние... Но когда ветер и такой вот странный дождь и холод, когда все сразу, неожиданно рушится на голову, я чувствую себя очень одиноким... Простите,— попросил он сдавленным и умоляющим голосом.— Я пришел к вам и хотел из ваших рук получить «Айвенго», «Квентян Дорварда», «Роб Роя»... Господи! Я так мечтал, что вы когда-нибудь со мной... Нет! Нет! Нет! Я ухожу. Не бойтесь меня. Почему меня все боятся? И вы? Только два слова... Я всегда мечтал...

Он торопливо подошел, и Дина Демьяновна увидела поблескивающий в испарине лоб, мясистую и плотную складку над переносицей, хмурый разлет бровей. И вдруг из-под всей этой массивной и напряженной мрачности посмотрели на нее светлые, обнаженные в своей беззащитности, косящие от волнения глаза. Он так посмотрел, будто бы только что снял очки с переносицы, и, подслеповато щурясь, видя перед собой расплывчатый мир и се в этом маленьком мире, в этом желтом тумане, очень смутной вдруг, растерявшись, виновато улыбнулся ей. И она не испугалась.

— Ну почему же,— сказала она неопределенно.

У лысеющих лобастых людей глаза всегда кажутся очень усталыми и печальными, словно бы оттого, что им негде спрятаться, словно бы вместе с волосами уходит из глаз хитрипка и лукавинка и они остаются одни, придавленные голым крутым скатом черепа.

— Вы очень торопитесь?— спросил он с каким-то ужасом и тоской.— Нет, я не задержу. Не бойтесь меня. Я только хочу сказать вам... Дина Демьяновна... Вот видите, я знаю, я знаю, я знаю!.. Я хочу сказать, что, с точки зрения человеческой морали, я безобразный человек, потому что я терпеть не могу животных. Я ненавижу собак, кошек, лошадей, крокодилов и львов... всех их ненавижу... Нет, я не убийца, я никого не убил из них... никогда... Но я не могу их любить! За что?!

— Но, простите, я не совсем понимаю... при чем тут...

— Нет, уж это вы меня простите великодушно! Милая Дина Демьяновна, я вот что хочу сказать: мы ведь с вами живем и

знаем, каждый день знаем и помним, что придет час, наш час, мой час! Вы знаете! Я даже больше скажу: человек тогда счастлив, когда он не думает об этом. Это редко бывает, но когда уходишь от всякой глупости, от всякой лжи — всегда думаешь, что придет и твой час... Вы представляете, как велик человек! Думает и помнит об этом, а все равно свободен! все равно желает любить и смеяться... Вы понимаете, как он велик! Как надо любить земное это существо. Ужасно кто-то сказал: человек интересное, но несимпатичное существо. Какая насмешка! Нет! Удивительно симпатичное существо! Знает, но живет! А мне говорят — люби животных. За что? Вот уж кто несимпатичен мне, так это они... кошки всякие и собаки... я люблю человека... Я готов каждому говорить, что я его люблю. Я и вам могу сказать, если вы позволите...

— Нет, это лишнее,— вежливо остановила его Дина Демьяновна, чувствуя какую-то странную подчиненность и словно бы зависимость от него.

— Вовсе нет!— воскликнул он, и лицо его при этом исказилось гримасой пронзительного восторга.— Я вас люблю. Это не то, нет, о чем вы могли бы подумать... Вы красивы, да... конечно... но разве я могу, разве я смею о той любви. Но вы не в силах запретить мне любить вас, как человека. Если подумать, если немножко вдуматься, то ведь очень страшно родиться на свет именно человеком, родиться, чтобы развить свой ум и однажды понять, что придет и твой час. Как же мне не любить всех вас?! Вы понимаете мою мысль? А мне говорят — люби животных. И многие любят, любят так, что начинают ненавидеть человека за то, что он-де не любит животных. Вы знаете, мне иногда кажется, что многие наши беды именно от того и идут, что мы хотим любить кого угодно — какую-нибудь крысу, хомяка, собаку, кошку, голубя, но не хотим любить человека. То есть вы понимаете, что происходит: если я не люблю человека, то, значит, я и себя не люблю, потому что я тоже человек. Значит, я ничтожество по сравнению с какой-то павкой. А раз я ничтожество и рядом со мной тоже ничтожество, то мне ничего не стоит плюнуть им в душу. Ничтожество переживет, утрется... Так? Не тронь мою собаку! А все остальное — пожалуйте... Я вижу, я понимаю, вы не согласны со мной. Нет, я не против природы и животных... Боже упаси! Пусть живут, размножаются, спариваются — бог с ними. Но как бы это вам сказать... Мы говорим: не люби вещь, а люби животных. Любовь к вещи безнравственна, а к животному — нравственна. А если я люблю, например, легковой автомобиль? У меня нет автомобиля, к сожалению, конеч-

но... Я даже не мечтаю... Хотя нет, я мечтаю, конечно, но... увы... Но я его люблю, потому что его сделал человек для себя. Человек достоин всяческой роскоши, он все может, он может создать для себя искусственную среду обитания, ничего общего не имеющую с лесом, речкой или каким-нибудь цветистым лугом, но и в этой среде он будет счастлив не меньше, чем на лугу возле реки... Почему бы нет? Хватило бы только энергии... но это уже вопрос другого порядка... А разве город... Вы мне скажите, разве город — современный, огромный город, например Париж, — разве его рекламы и все огни не отразились уже в автомобильных крышах? Разве это не красиво?

— Вы бывали в Париже?

— Не все ли равно — бывал или нет. Но я его видел. И вижу. Читал, видел, думал, — значит, почти бывал. Нет, я не бывал в Париже, к сожалению. Но можно же легко себе представить, если уже говорят, что еще один автомобиль может погубить Париж. Это, конечно, французы острят, но, в общем-то, может быть... Вот вопрос, — сказал он вдруг с грустной усмешкой, — у меня нет автомобиля, я не бывал в Париже. Это смешно, конечно, говорить о Париже и об автомобилях... Простите меня великодушно. К сожалению, это так...

— Да, мне тоже вот, к сожалению, пора... — сказала Дина Демьяновна.

— Я вас понимаю... Но, Дина Демьяновна... Нет, нет, я все, конечно, понимаю. Я создаю, наверное, ужасное впечатление. Но, знаете, я к этому привык с детства. Мне до сих пор еще кажется, что всякий прохожий, как только увидит меня рядом, так сразу весь оживляется и, что самое смешное, хочет сразу же ущипнуть меня или пнуть ногою, плюнуть в мою сторону, бросить окурок... Мне, конечно, очень не повезло, если можно так сказать, с моей внешностью, но в то же время, представляете себе, и повезло: на меня все обращают внимание, и я во всяком встречном вызываю какую-то определенную реакцию — презрение, жалость, отвращение, гадливость. А это тоже интересно наблюдать, честное слово. В общем, это нормальная реакция: человек редко сознается самому себе, что он некрасив или просто уродлив. Это свойственно всем нам за редким исключением. Исключение — это я. Я не скрою, я перед вами не скрою, что это порой неприятно сознавать и такая бывает тоска... Но зато я могу лучше всех мечтать или, вернее, не лучше, конечно, а... как бы это сказать — ярче всех, наверное... Знаете о чем? — и Сыпкин вдруг рассмеялся. Он смеялся так неожиданно хорошо, так искренне и звучно, что именно это заставило вдруг вздрог-

вуть Дину Демьяновну и словно бы испугаться. — Нет, — говорил он, успокаивая свой смех, — вы даже представить себе не сможете. Я мечтаю, да. О чем? Глупо. Ужасно. Но я порой заберусь под одеяло — простите меня за такие подробности! — и вижу себя красивым и почему-то с курчавой светло-русой бородкой в совершенно белом автомобиле, на меня взглядывают женщины, а я поглядываю на них и курю сигарету. Ничего себе картинка! Нет, по все-таки это очень интересно — так вот глупо мечтать, и, знаете, приятно даже, и даже, скажу вам по секрету, сон пропадает. Ну, Дина Демьяновна, если бы и вы меня увидели таким, каким я себя вижу, если бы хоть разочек взглянули на меня, когда я в своем белом автомобиле курю сигарету и пепел стряхиваю за окошечко, вы бы и то, наверное, полюбили б меня. — И он опять, на этот раз резко и с кашлем, рассмеялся. — А вот теперь... Вы меня только уж простите, пожалуйста. Что-то напало на меня сегодня такое, сам не пойму... Вот я стою тут рядом с вами, вот над книгами этими, над «Айвенго», над «Дорвардом», а вы от меня за перегородкой... Вы бы хоть присели, Дина Демьяновна.

— Нет, нет, — сказала Дина Демьяновна. — Что же это мы друг перед другом все извиняемся, а время-то идет... Вы меня правильно поймите: все это, конечно, очень интересно, но, видите ли, сегодня вдруг похолодало, а я совсем по-летнему, мне, к сожалению, пора, и я вас прошу...

Она говорила ему это, но чувствовала скованность и какую-то странную лень говорить все это, искать какие-то убедительные доводы, похожие на просьбу.

— Так в чем же дело! — воскликнул он. — Я сейчас же поймаю такси и отвезу вас домой. У меня есть деньги. Вы не думайте, я боюсь вас обидеть, но мне, честное слово, будет очень приятно... Черт возьми! Конечно, конечно!

— Спасибо, не надо. Я сама.

— Я вас обидел? Простите. Но я очень искренне хотел... Нет, я обязательно отвезу вас до дома. И вообще... я не хочу вас даже слушать! Вы простудитесь! Сейчас грипп ходит по Москве... Ни в коем случае, что вы!

И вдруг что-то как будто бы щелкнуло в сознании Дины Демьяновны, она улыбнулась, услышав от Сыпкина про грипп и простуду, ей стала вдруг приятна эта неожиданная и очень смешная, как ей показалось, забота, и она подумала с веселой беспшашностью: «А пусть отвезет! Подумаешь, какое дело!» Она вдруг почувствовала себя так, словно бы ей предложили выпить стакан водки и вообще напиться допьяна, и хоть ей и не

хотелось сначала, но потом она вдруг согласилась и вышла. «Ну и что? Подумаешь!»

— Ну вот еще! — сказала она уже совсем другим тоном, как будто и вправду увидела Сыпкина в белоснежной, сияющей машине стряхивающим пепел сигареты. — С какой же это стати вы меня вдруг повезете на такси? Вы что, очень богатый человек?

Но Сыпкин не услышал игривости в ее голосе и очень серьезно ответил:

— Нет, я довольно скромно живу, но почему бы не позволить себе в этот холодный вечер прокатиться по Москве на такси..

— Простите, я что-то не помню, я, конечно, могу посмотреть... ваше имя-отчество.

— Конечно! Но меня зовут... Вы знаете, и тут даже какая-то чепуха! Меня зовут... Ардалионом и почему-то... Такое редко имя! Зачем? — Ардалион — смешно.

И она впервые увидела смущение на лице этого вечно мрачного человека.

— Но это еще полбеды, — сказал он с усмешкой. — Моего отца звали Анимподистом. Вы представляете себе, какой ужас! Ардалион Анимподистович. Нет, это невозможно запомнить, разумеется, не надо этого делать... давайте что-нибудь придумаем полегче, ну, например, Александр Александрович или того проще — Андрей Андреевич... Зовите, если вдруг вам захочется назвать меня по имени и отчеству, зовите меня Андреем Андреевичем или как хотите... Ксан Саньч... например, Ксан Саньч — очень просто. Я откликнусь сразу же.

— Ксан Саньч?

— Да, чудесно! Ксан Саньч. А почему вы не смеетесь? Вы, наверное, думаете, что я не люблю, когда надо мной смеются. Да, я не люблю этого. Конечно, кто же любит! Но тут-то ведь в самом деле смешно. И я ничуть не обижусь на вас, потому что это, наверное, смешно. Дина Демьяновна, а у вас тоже редкое имя и отчество, но не смешные ни имя, ни отчество. А у меня совсем другое дело. Прямо яз пьес Островского... А я его, знаете, недолюбиваю... Да, так вот, Дина Демьяновна, а что вы... вот вы... Я за вами давно наблюдаю, не удивляйтесь, пожалуйста, я даже в библиотеку стал приходить потому, что здесь работаете вы. Нет, я не то хочу сказать. Да я и не первый это вам говорю, вам уже надоело это... Черт побери, как не хочется быть дураком, а вот, знаете, так и тянет, так и тянет... задать вам глупейший вопрос, сказать вам такое, что потом стыдно будет, сегодня же ночью стыдно будет и мучиться буду, а теперь вот тянет сказать вам...

— Мы достаточно поговорили... Мне пора.

— Да, конечно, пора, я бегу за такси, но я не о том, я хотел спросить: вы ведь тоже знаете, что такое одиночество? Вот что я хотел спросить у вас. Не обижайтесь на меня. Я, как пьяница, все до последней рюмки готов выпить... Вот все... Я долго наблюдал за вами, и, знаете, в мечтах, когда я становился красивым, и, как вы, наверное, помните, со светло-русой бородкой, я думал о вас... И вот вы не поверите мне,— и не надо!— я просто чувствовал родство душ. Вы ведь тоже одинокая душа? Простите меня, я и в самом деле, как горький пьяница, все до последней капли... Не надо, а все равно... Нельзя, а тянет... Вот зачем я спросил это у вас? Я ведь знаю, вы можете обидеться на меня и рассердиться и правильно сделаете. Мне будет больно, но кто ж виноват, кроме меня самого.

Дина Демьяновна молча вышла из-за перегородки и направилась к двери, а Сыпкин в своем балахоне, неряшливый, с недобритой шеей, кинулся вперед и открыл дверь перед ней. Замятый воротничок ковбойки грязно торчал у него из-под ворота пиджака: видимо, терпеть не мог зеркала и старался не видеть себя.

Она погасила свет и молча вышла на улицу. Уже зажгли фонари, и в лиловом их освещении, в мертвенном свете новых этих и очень ярких огней оба они — и Сыпкин, и Дина Демьяновна,— словно бы выцвели и обескровились, и Дину Демьяновну неприятно поразил блеск его глаз на бледном и широком, плоском лице. В этом пронзительном свете пропали все формы или, вернее, вся бесформенность и глыбистость его лица, пропали глазные впадины, и на какой-то белой плоскости заблестели безумно усталые, одинокие, потерянные глаза.

— Вы, Дина Демьяновна, не отвечайте мне ничего. И забудьте, что я вас о чем-то спрашивал,— сказал он с мольбою.— Вот видите теперь, какой я, как все равно запойный... Мне и сейчас... вот поверьте мне! Мне хочется спрашивать вас о самом недозволенном, о самых ваших больших тайнах хочется узнать.

— Я и не собиралась вам отвечать. Мне только одно... Мне хотелось бы вам заметить, что я никогда не бываю, как вы сказали, тоже. Не тоже, а просто порой одиноко на душе... Что значит — тоже? Когда человек тоскует в одиночестве, какое уж там тоже. Но вот вы, хоть и наблюдали за мной... Не знаю, как это вы проделывали... Ну, не важно. Только я вам хочу сказать, что я не в том смысле, может быть, одинока, как вы думаете. У меня есть муж, и я счастлива с ним. Так что мое одиночество совсем, можно сказать, другого рода. У меня бывает приятное мне одиночество души. Я люблю пребывать в состоянии одиночества. Не

всегда, конечно, но порой... Вот так. А сейчас, я вас прошу, вы не беспокойтесь, не так уж и холодно, я доберусь сама.

Он стоял перед ней, этот мучнисто-белый человек, и ждал, вслушиваясь в ее слова, продолжения, а рука его тем временем ощущивала что-то в карманах пиджака, словно бы сама по себе, без его воли... И Дина Демьяновна каким-то седьмым чувством поняла вдруг, что он ошибся, что он только что знал и рассчитывал, что у него есть деньги, а вот теперь вдруг понял, что ошибся. Она по выражению его глаз поняла, что он ужасно ошибся — денег не было с ним. И она торопливо сказала ему опять:

— Ну, я прощаюсь с вами, мне на трамвай. До свидания, заходите...

— Что ж это такое,— тихо промямлил он, все еще пытаюсь найти деньги.— Нет, нет, что вы!— воскликнул он вдруг.— Я тут рядом, вон он, мой дом, в том переулке... Я забыл... Я сейчас... Или нет! Я возьму такси, отвезу вас и вернусь, а потом расплачусь с ним. Все очень просто! Вы знаете, мне ни к чему, я их и не захватил с собой.

Но в это время стремительный и напористый вагон трамвая уже мчался мимо сквера, а от него, как брызги, разлетались палье листья из-под колес и, завихряясь, возносились следом жиденьким шлейфом. Вагон пружинисто покачивался, дуга вдруг выбила искры...

— Не выдумывайте, пожалуйста,— сказала Дина Демьяновна и с облегчением кинулась бегом к остановке и, не оглянувшись на Сыпкина, успела вскочить на подножку и увестись в золотистом стеклянном свете.

А Сыпкин стоял уже под фонарем и все еще никак не мог оторваться от своих многочисленных и пустых карманов, снова и снова начиная с внутренних пиджака и кончая глубокими мешковатыми карманами стираного и неотглаженного, неказистого плаща. Он смотрел чуть в сторону и, ничего не видя перед собой, казалось, весь ушел в себя, в свои карманы, в кончики пальцев, в чувствительные подушечки, которыми он все еще рассчитывал нащупать злополучную пятерку, зная при этом, что он просто не захватил ее с собой.

— Да что же это...— шептал он ворчливо.— Что ж это такое...— и у него вырывался вдруг сквозь зубы грудной и басовитый, как собачье рычание, стон.— Ах, черт побери! «Айвенго!» «Квентин Дорвард». Ах, черт побери!

Прохожие недружелюбно поглядывали на него, а женщины обходили стороной, думая, вероятно, что человек этот очень пьян.

Ветры, принесшие холод, утихли, а в Москве начались наконец-то туманные, поблескивающие дождичками пасмурные деньки. Дождей-то как будто бы и не было, но мостовые и тротуары не просыхали от измороси.

Дина Демьяновна надевала теперь на голову свой мутно-голубой берет, связанный из пуха, и, забрав в него волосы, надвигала на уши и на брови. Этот берет придавал ее лицу монашескую отрешенность и бледность. Губы ее пунцовели на холоде, тонкий пух берета обметывался невесомыми крохотными капельками морозящей влаги, глаза темнели, словно бы дождевые тучки, и не было тогда женщины на свете, которая могла бы соперничать с ее странной, аскетической красотой. И она знала об этом, ловя на себе взгляды прохожих. Но не эти взгляды рождали в ней уверенность, а то высокое состояние души, в котором она пребывала все эти дни. Она почти физически ощущала свою свободу, и ей было так хорошо, так хотелось движения, смеха, разговоров, что даже чудилось, будто она до сих пор болела, а теперь вот выздоровела окончательно.

И когда в день зарплаты ей позвонил вдруг Петя Взоров, она, застигнутая врасплох, растерялась и не знала, что говорить ему и как себя вести с ним.

Он хотел увидаться, а она, получив деньги, собралась уже поехать в Столешников переулок, зайти в магазины и, быть может, что-нибудь купить. И представить себе не могла, что Петя Взоров будет требовать внимания к себе.

— Я сегодня не могу,— говорила она в трубку и, сознавая, что лжет ему, злилась на него же, словно бы он принуждал ее к этой лжи.

— Почему?— спрашивал он.

— Не могу, и все. Мне некогда, и я плохо себя чувствую.— Она шурилась в смущенной улыбке, ожидая следующего вопроса.

— Я приеду за тобой и провожу тебя.

— Не падо. Я хотела забежать в магазин.

— Забежим вместе.

Она молчала, не зная, что сказать, и не решаясь на последнее, на резкость и на простое нет. А он снова спрашивал:

— Ты чего хандрить? Погода?

— При чем тут погода! И вовсе я не хандрю. Ну... не хочется просто. Ты когда не хочешь, ты ведь не звонишь и не заходишь, верно? А почему я не могу?

— А куда ты собралась?

— Никуда.

— А мне хочется купить бутылку и выпить с тобой.

— Со мной?!

— Да.

— Хорошенькое дело!

— Почему бы нет? Я бы не стал, конечно, тебя уговаривать, но все-таки... с тобой... рядом с тобой выпить и поговорить...

— О чем?

— Ну если такой вопрос, значит, нам обязательно надо увидеться и поговорить. Понимаешь? Когда ты освободишься?

Она подумала, что так будет и в самом деле лучше — встретиться и поговорить — и ответила:

— Половина седьмого я буду в Столешниковом... Я не знаю где... Давай около магазина «Меха»... Не комиссионного, а того, что выходит на Петровку.

— В половине седьмого я тебя жду у входа, — сказал Петя Взоров и положил трубку.

Он звонил с работы, и Дина Демьяновна слышала в паузах звуковой фон — голоса безымянных людей, похожие на жужжащие летних шмелей и мух.

«Не было печали», — подумала она, но в половине седьмого была уже в Столешниковом и шла в толпе по мостовой, по единственной мостовой в Москве, кроме, может быть, Красной площади, где была запрещена езда автомобилей.

Крохотный мирок старой Москвы — дома с фасадами, нагруженными, как дорогие праздничные торты... Впрочем, люди, бегущие по тротуарам и мостовой, никогда не разглядывали фасады больших домов, стиснувших узкий переулок. Здесь будто бы не было высоты, не было вертикали. Здесь были витрины магазинов, приковывающие внимание, были лица людей, одежда, яркие галстуки, запахи знаменитой кондитерской, а фасады домов, образующие переулок, словно бы выпячивали свою коммерческую безвкусицу, загораживая небо, и не пускали взгляд выше модных витрин и пузатого благолепия камня.

— Это черт знает что такое, — сказал однажды Петя Взоров, разглядывая вместе с Диной Демьяновной стрельчатые и овалы арки, мощные пилястры — всю эту тучную, орнаментированную перегруженность домов. — Черт знает что! А ведь стоят и зовут сюда людей, и никто их не видит, никто не обращает на них внимания. Но сделано это, заметь, не по прихоти, а по нужде. Думаешь, для чего это пиршество на фасадах? Был такой пуслячок в свое время под названием шум. А такими вот каменными подушками и кружевами боролись с децибелами. С децибелочка-

ми! Что там за шум! Лошадь процокает, дворник поругается, шаркнет метлой... Вот и ругай за безвкусицу. А теперь наоборот... Децибелы стали децибеллищами, а фасады плоские, как это... как... — И, не найдя слова, он умолк с брезгливой гримасой на лице.

Дина Демьяновна не решилась ему возразить, не понимая того раздражения, с каким Петя Взоров говорил о красивых, как ей казалось, домах, в которых, наверное, хорошо было жить. Ей неприятны были его слова о безвкусице, ибо она восприняла их очень лично, словно он именно ей сказал: «У тебя не хватает вкуса».

И теперь, увидев Петю Взорова среди людей, наткнувшись взглядом на его тугую спину в непромокаемой болонье, она вспомнила брезгливую его гримасу, и ей стало противно от сознания, что он сейчас, сию минуту, обернется, увидит ее и насмешливо спросит, растягивая слова: «Вы есть мадам Простякова? Здравствуйте».

Но на этот раз он был раздражен.

— Ну ладно,— сказал он.— Мы уже здоровались по телефону. Целоваться на людях считаю делом неприличным. Давай о деле.

— О деле?

Он цепко взял ее локоть, и они пошли по мостовой, мимо стоянки автомашин с запотевшими стеклами, с блестками капель на крышах, в которых отразился свет витрин и вывесок. Дина Демьяновна впервые в жизни испытала вдруг чувство какого-то детского страха перед этим рассерженным и мрачным мужчиной. Она засмеялась и спросила:

— О каком деле?

А Петя Взоров оглядел ее и сказал наконец-то с насмешкой:

— Ты в этом берете похожа на Фантомаса.

— Ну хорошо. Давай о деле. Но о каком деле-то? Ты хочешь сказать, что тебе все надоело, что ты больше не можешь, что мы с тобой... Я знаю все, что ты мне скажешь, а если и не скажешь — подумаешь. Это еще хуже. Лучше бы сказал... Я не боюсь. Господи, почему я должна все это выслушивать! Зачем все это? Ты не знаешь? Если знаешь, объясни.

— Нет, не знаю,— ответил Петя Взоров.— Я просто не понимаю тебя. Я делом называл желание выпить с тобой. А ты о чем? Я о бутылке вина говорил. О каком еще деле нам говорить с тобой?! Ты, девочка моя, что-то преувеличиваешь. Я ж говорю — погода. Я тоже устал. И давай о чем-нибудь повеселее. Ну поругаемся, ну разбежимся, проклянем друг друга, растопчем все и вся, перебьем стекла, измордуем друг друга. А раны-то кому

зализывать? Нам же с тобой. Ты мой, я твои. Стоит ли? Век такой странный, и погода паршивая — ругаться даже не хочется. Ну что ты на меня смотришь? Обиделась за Фантомаса? Глупости. Фантом — это что-то сверх... За что ж обижаться? Обиделась. Ну ладно... Напиши завтра в газету и скажи: «Дорогая редакция, я дружила с молодым человеком, а он назвал меня Фантомасом, и я обиделась. Правильно ли я поступила?» Они тебе ответят: «Дорогая Дина, вы не правы».

Они шли в толпе, среди нарядно и не по-осеннему ярко одетых людей под пестрыми зонтиками с хромированными тросточками, по черному лаку мостовой и видели в этой поблескивающей черноте блеск мелькающих сапожек, тени и огни. Они не торопились.

— Почему ты без шапки? — спросила Дина Демьяновна.

— Это проявление заботы? Спасибо. Я, между прочим, зашел сегодня в аптеку и вижу пузырьки с какой-то черемичной водой. Я спрашиваю: а что это за вода? А аптекарша отвечает: от насекомых в голове. Я спрашиваю: внутри головы или снаружи? Улыбнулась. А мне бы сейчас какую-нибудь черемичную, чтоб изнутри всех насекомых... Зайдем? — спросил он, кивнув на винный магазин.

И они зашли. Петины волосы, затуманенные изморосью, блеснули упругим золотом, когда он пригладил их рукой.

— Я люблю этот магазин, — продолжал Петя Взоров, оглядывая посверкивающие ряды бутылок. — Купишь вина, и кажется, что здесь оно вкуснее, чем около дома. Вот стоит «Мукузани»... Слушай, Диночка, милая, — зашептал он, склонившись к ней, — перестань дуться. Мы сейчас купим две бутылки «Мукузани», купим где-нибудь мяса, поедем к тебе, и, ей-богу, я сегодня сам поджарю мяса и угощу всех вас. Ты забыла? Ты дрянь ужасная, ты все забыла. У меня ведь сегодня день рождения.

Вот уж чего не ожидала услышать Дина Демьяновна от него, так это о дне рождения, всплывшем в ее памяти круглым, гулким, ярким, пронзительным третьим октября.

— Но ведь сегодня второе, — сказала она, выпутываясь из липкого и омерзительного стыда. — Сегодня второе, — повторила она. — У тебя завтра... и, пожалуйста, не выдумывай... Я ведь и поехала сюда, чтобы... Ты сам...

А Петя Взоров рассмеялся, видя ее смущение, и, поверив ей и все вдруг приняв как должное — ее нежелание видеться с ним, ее раздраженность, — пожал ей локоток и сказал, оттаивая душу:

— Завтра это для матушки, для сестренки, а сегодня для нас

с тобой. Завтра ее праздник, а сегодня мой — перед дорогой...

Она не поняла его:

— Перед какой дорогой?

— Как перед какой? Жизненной, конечно. Завтра я ведь на свет появлюсь.

Но она все равно с трудом уразумела это, все еще занятая собою, своим странным состоянием: то ли разочарования, то ли радостного смущения. словно бы долго не решалась идти к врачу, боясь услышать о своих недомоганиях что-нибудь ужасное и, в лучшем случае, безнадежно-затяжное, но наконец-то решилась, и пришла, и подошла к двери кабинета, но сестра объявила, что прием закончен.

Потом они зашли в кондитерскую за пирожными, но никаких пирожных там не было в этот поздний час. Они прочли фамилию продавца, напоминавшую что-то о борце или шах, купили фруктовый торт и опять вышли в лиловый и сирой туман. И тут вдруг увидели волосатеньких и модных девушку и парня в одинаковых одеждах, в одинаковых джинсах, и оба сразу заметили даже, что у парня яркий шарф на шее, а у девушки тусклое что-то и невнятное и что лица у них, освещенные огнями витрины, тоже одинаковые и озябшие. Длинноногие и пезнакомые пришельцы, которые в свои семнадцать лет сумели узнать друг о друге больше, чем многие старики за всю свою жизнь, успели порейти какую-то границу, какой-то рубеж, разделяющий смысл от бессмыслия, замороженные друг другом, остановились теперь возле освещенной витрины и, подчиняясь прихотям друг друга, внезапной страсти, вспышке взаимной нежности или презрения к толпе, стояли, прижавшись, и в забвении целовали друг друга: она, чуть ниже его ростом, в подбородок и губы, а он, освобождаясь от ее поцелуев, с ласковой благодарностью касался губами ее глаз и бровей. У серенькой девушки, похожей на длинношею утку, были сладостно полуприкрыты вознесенные к своему изобразнику глаза, а он с какой-то недетской мудростью поглядывал на нее сверху, тихо и неслышно восторгаясь бледной своей подругой. Мимо шли люди, но, как это ни странно, никто из них даже не смотрел на целующуюся пару, никто не удивлялся, никто не осуждал, не стыдил, не смеялся, как это было бы несколько лет назад, словно бы это серые птицы опустынились на тротуар, сизые голуби, уточка с принаряженным брачным селезенком.

Но это были дети спешащих мимо людей, младшие братья их или сестры. Покоренные друг другом, одинокие и единственные в целом мире, еще не понятые, но уже прощенные, они вынесли

свою любовь на мокрый тротуар к витрине кондитерского магазина. Вынесли эту блестящую и загадочную страсть, которую еще, слава богу, не научились понимать русские люди, и вдруг обесцветили мимо идущих людей, обезличили, отбросили, покоровив многих из них, и даже тех, кто сделал вид, будто ничего не заметил, привели к душевному смятению, к удивленным вопросам, на которые не находились ответы: «Разве так можно?», «Это ведь неприлично», «Неужели самим-то приятно и не стыдно?»

Вопрос без ответа, взгляд, скользящий по стеклу, по прозрачной стенке, разделяющей всех и их. Больно, но теплится надежда: «А может быть, любят? Разве лучше в кустах или в подворотне?»

Острый кулачок с побелевшими от напряжения суставчиками, худое запястье с выступающей косточкой, пальтишко из дешевого букле. Ее рука на плече возле яркого шарфа и волосы, похожие на мокрые перья.

— Их бы отмыть в горячей ванне, — сказал Петя Взоров, — одеть во все чистое и... и... и...

— И что? — спросила Дина Демьяновна.

— И пустить в теплую комнату, запереть одних. А что? Мне они понравились. Типичные мужчина и женщина. Ты заметила, как он поглядывал на нее?

— Ты думаешь, мужчина и женщина? Они ведь дети. Любкой из них мог бы стать нашей дочерью или сыном.

— А где?.. Бог с ними, я уже привык к таким сценкам... Мне даже нравится. Где нам мяса купить — вот что главное. В Елисейском?

Непонятно почему, но Дине Демьяновне было приятно услышать от него это признание: «нравится». Ей тоже, как ни странно, понравились существа, влюбленные друг в друга. И она глушила в душе протестующую нотку.

«А что, в самом деле?! Ничего плохого... Мальчик и девочка. Нет! Они еще мальчик и девочка».

Люди под пестрыми зонтиками, блеск лакированных сапожек, огонек сигареты, смех парней в нейлоновых куртках, сиреневый манекен в драгоценном каракулевом мантио и туманный, тихо морсящий прохладный дождик, по которому соскучились москвичи... Глыбы долгих, вытянутых друг против друга домов остались позади, они вышли из сверкающего и мрачного ущелья, и слева по улице мчались уже на них машины, но они, точно гонимые, кинулись им наперерез и, нарушая все правила, слыша визг тормозов, успели врезаться в другую толпу, в другой свет,

в другой шум, за которым уже не слышалось даже шарканья шагов.

В троллейбусе женщины держали в руках полусложенные зонтики, и было похоже, что все они держат букетики сиреневых, голубых и розовых цветов.

— А почему ты без зонта?— спросил Петя Взоров.

— У меня ведь черный,— ответила Дина Демьяновна.— Кто ж теперь ходит с таким.

Давным-давно, в такое же время года, люди в Москве ходили по улицам в черном: в черном пальто, в черных шапках и укрывались от дождя под черными мышинными крыльями больших зонтов.

Дина Демьяновна помнила черную от одежд вешалку в прихожей, малиново-красную изнанку галош, черные шляпы и черные зонты. Немногое изменилось теперь в ее доме, но исчезли галоши и ботинки, вклинились в привычную черноту на вешалке бежевые плащи и ее клетчатое пальто с пелериной, а зонты остались старые, и, в общем-то, надежные и удобные, хотя и не модные теперь. Отношение к цветным, ярким зонтикам в семье Простяковых было всегда высокомерно-пренебрежительное и насмешливое.

— Господи, неужели люди не понимают, что это зонты от солнечных лучей?!— говорила Татьяна Родионовна в полнейшем недоумении.— Раньше тоже были светлые зонты, но ведь никому и в голову не приходило выйти с таким зонтиком в дождь. Люди с ума сошли.

Это отношение было так прочно и незыблемо, что Дина Демьяновна и не оспаривала его и сама на первых порах тоже относилась к пестрым зонтикам с нескрываемой пронией. А теперь вот не решалась выйти на улицу под черным, хотя и цветного тоже еще не решалась купить и лишь только приглядывалась.

— Я вообще не люблю зонты,— сказала она, выходя из троллейбуса.— Сумки, зонты, портфели... Руки заняты, а я этого терпеть не могу. Лучше промокнуть.

В девятом часу вечера, голодные и мокрые, с покупками в руках, они ворвались сырым ветром в тихие простяковские комнаты, и вскоре в этой теплой, печной тишине запахло жареным мясом.

Дина Демьяновна грелась возле белого зеркала голландской печи, а Петя Взоров, как и обещал, жарил мясо.

Татьяна Родионовна накрывала на стол и говорила с добродушным осуждением:

— Дивочка, ну ты бы все-таки пошла, помогла бы Пете. Неудобно: мужчина жарит мясо, а ты тут греешься. Он ведь, наверное, не умеет, а меня не слушает совсем.

Демьян Николаевич, шурша газетой, отвечал вместо дочери:

— Самое вкусное мясо готовят мужчины, а женщины умеют делать только котлеты. Женщин вообще научили готовить мужчины. Давно известно, что женщина еще не придумала ни одного нового блюда. Все это делали мужчины. Бефстроганов... и так далее... А на завтра обещают с прояснениями и кратковременные дожди... День тоже кратковременен, особенно осенний.

Дина Демьяновна, пронизанная сухим теплом, сладко обожженная сияющими изразцами, молча смотрела на поблескивающий стол, нагружаемый фарфором, металлом и стеклом, и состояние полнейшего равнодушия окутывало ее. Ей не хотелось спорить с отцом, отвечать матери, не хотелось двигаться, думать. Она ждала, когда на холодном этом столе задымится мясо. В эти минуты ей очень хотелось пить красное вино и есть горячее мясо. Горизонталь белого стола, вертикаль белой печи — холодная плоскость и плоскость горячая... Она была в эти минуты одна, распластанно нежась в тепле, чувствуя лопатками покалывающий жар раскаленных изразцов. И чудилось ей, что она лежит на горячем белом песке, а перед ней сияет посудой холодная вертикаль стола, хрустальные рюмки, дутое серебро ножей и вилок...

— У меня от голода, — сказала она, — кружится голова. Если я сейчас пойду ему помогать, я обязательно чего-нибудь уроню и вообще вывалю мясо на пол. А ты, папа, конечно, большой изобретатель и выдумщик у нас.

— Я? Да, конечно... А ты разве не помнишь моих бутербродов? Хлеб с маслом, с абрикосовым джемом и ломтиками швейцарского сыра. Разве это не я придумал? А котлеты из колбасы?

Однажды гости не притронулись к колбасе, и Демьян Николаевич на следующий день провернул нарезанную колбасу и приготовил жесткие и очень соленые котлеты, назвав их колбалами.

— А кто их доедал? Кто их вообще-то ел?

— Не в этом дело, доченька. Но ведь вам с мамой в голову не пришло, и колбаса бы пропала, а тут все-таки... А потом, все новое обычно не сразу завоевывает признание. На-ка лучше почитай газету, очень интересная газета, чрезвычайно, ты никогда ничего подобного не читала.

В простяковском доме царило в этот вечер благодущие, и

опять надежды расслабили всех, настроили на добрый лад, на семейную доверительную воркотню, на рюмочку густого вина и мясо, поджаренное зятем, на тот маленький и случайный ужин, похожий на загородный пикник, который только и возможен в счастливом доме. И всем казалось в этот вечер, что так теперь в будет всю жизнь: ничто не предвещало беды.

Демьян Николаевич даже озянул в этот вечер, потому что он не удержался и прибавил к вину домашнюю вишневку. А Татьяна Родионовна очень хвалила мясо, хотя и положила себе жесткий и самый подгоревший кусочек. Но хвалила она вполне искренне, и съела она свой кусочек с большим аппетитом, запивая его маленькими глоточками вина. И даже горчичка пригаринки казалась ей пикантной и неожиданно подходящей к жесткому мясу. И жесткость не казалась ей жесткостью: ей даже чудилось, что эта жесткость придавала мясу изначальный, диковатый и только далеким пращурам знакомый вкус.

— Вот что значит мужская рука,— говорила она, млея от удовольствия.— А я все делаю совсем не так... Я долго его колотчу, пока оно в мочалку не превратится, а потом уж на сковородку.

А Демьян Николаевич не забывал, конечно, подтрусить над ней.

— И получают котлеты,— говорил он, рассчитывая на улыбки.

А в этот вечер улыбки не сходили с лиц. И души всех были распахнуты для добра, любви и обожания. Даже Петя Взорov улыбался в этот вечер так хорошо, что Дина Демьяновна не вытерпела однажды, схватила его за руку, порывисто подняла со стула и увлекла за собой в свою комнату, а там прижалась к нему, как та, в Столешниковом, вознесла на него взгляд и таким долгим поцелуем поблагодарила его за весь этот вечер, что даже слезы у нее выступили, и она не сразу еще вернулась в общую комнату, охорашиваясь перед зеркалом после этого поцелуя, покусывая онемевшую губу и припудривая щеки. Она себя чувствовала так в эти минуты, будто безумно устала от какого-то бешеного и очень приятного ей танца, но, не в силах еще отдышаться, уже готова была снова пуститься в пляс.

— Ну что ты, дурочка, так радуешься,— говорила она своему отражению.— Нельзя так радоваться, нельзя. Что это случилось вдруг с тобой? Слезы, восторги! Роковой поцелуй, вознесение на небо... Боже мой, нельзя же так! Это можно тем, которые там, над толпой... Но ты ведь совсем другая...

Так она твердила себе мысленно, а когда, очень смущенная

и словно бы сразу повзрослевшая, успокоенная, вошла в комнату и села на стул, первое, что она сделала, подчинившись какой-то возникшей в ней язвительности и иронии, был коротенький и пренебрежительный рассказ о целующейся паре возле кондитерского магазина.

И, рассказывая, она словно бы Пете Взорову говорила: «Мне тоже захотелось так же, но, как видишь, ничего из этого не получилось, увы. Мы с тобой другие, нам нужна теплая комната, а те, которые там, под дождем, ничего не хотели и никто им не нужен был в целом мире. А мы с тобой почки дерева, у которого старые и сухие корни. Нам бы под дождь, а мы сидим в теплой комнате и сохнем».

— Ужасное безобразие, — сказала Татьяна Родионовна. — Молодежь так распушена, не знаешь что и подумать...

— Нет, — возразил ей Петя Взоров. — Это, наверное, не распушенность, а просто стиль поведения. Или спекуляция. Импортные сапожки из-под полы втридорога. Чувства на грош, ног и подогреваются эдаким протестом против нормы... А в общем-то, я с вами, Татьяна Родионовна, согласен, конечно, — распушенность нравов сейчас великая... Хотя, может, это и не распушенность все-таки...

Дина Демьяновна с удивлением и растерянностью посмотрела на него и тихо спросила:

— А разве не ты говорил, что они тебе понравились?

Петя Взоров, как он это часто делал, нахмурился вдруг на мгновение, дернул бровями и, снова расслабившись, ответил:

— Говорил. Но что значит — понравились! Если я слушаю смешную болтовню пьяного или вижу, как он идет, заплетаясь, а потом об этом рассказываю, например, тебе, разве я не с удовольствием это делаю? Мне этот пьяный понравился, он прошел мимо и не задел меня, но доставил мне маленькое удовольствие. Делать же вывод, что мне вообще по душе пьяные люди, что я в восторге, это, по-моему, совсем другое дело. Как бы там ни было, а есть нравственные нормы, которые нужны не мне, че тебе, а обществу, в целом...

— Но разве они?.. При чем тут нормы... Разве любовь...

— Подожди, я еще не кончил... Люди — маленькие клеточки большого организма, который я назвал бы человечеством... Вот так я думаю. Да. И если одна клеточка больна, она может заразить соседнюю, а та, в свою очередь, своих соседей и так далее... Клетки не смогут уже, делаясь, рождать клетки или во всяком случае будут рождать себе подобные больные клетки... В конце концов этот процесс может стать неуправляемым, и тогда все, к

чему пришло человечество, вообще вся цивилизация может вернуться к пещерным правам. Вот скажи мне, пожалуйста, где граница нравственного и безнравственного: парень идет рядом с девушкой, парень идет под руку, парень идет, обняв ее за плечи, идет, обняв за талию, идет и целуется, идет и гладит ее и так далее. Где граница? Она ведь никем еще не ограждена или, вернее, была когда-то у каждого народа ограждена по-своему. А теперь-то нет. Какую информацию, какой код заложат эти двое целующихся своему дитяти, если оно у них родится? Все дозволено? Да, конечно, но ты не смотри на меня как на ретрограда какого-нибудь... Я понимаю, моя позиция несимпатична эмоциональным людям!.. Как же! Любовь и нормы?! Ужас... Конформизм и прочее, и прочее... Ну хорошо, парень наденет девичью юбочку и начнет собирать подснежники... Это хорошо?

— Если подснежники — хорошо.

— Плохо, потому что мужчина должен быть антиподом женщины. Критская культура погибла, и ее растоптали варвары, когда пресытившиеся мужчины стали собирать прокусы. Я о чем хочу сказать, я тут сбился немножко, но, в общем-то, все к одному. Я бы не хотел, например, увидеть своих сестреночек целующихся таким образом, как мы видели сегодня.

— Диночка, ну что тут спорить?— сказала Татьяна Родионова.— Петя, конечно, прав. Я бы стореда со стыда, если бы мне довелось увидеть тебя целующейся в толпе на улице.

— Глупости все это. Почему никто не хочет допустить хорошего: они любят друг друга? Почему только плохое?

А Петя Взоров рассмеялся и, миротворчески протягивая к ней руку, от которой она отстранилась, сказал уже с запалом в голосе:

— Ты сама говоришь глупости! Нужны же человеку сдерживающие начала! Говорим о свободе, а ограничиваемся сплошь и рядом обыкновенной бесконтрольностью. А это ничего общего не имеет со свободой. Свобода — понятие духовное, а вовсе не поведенческое. Как же ты это не понимаешь?! И я больше скажу: человек должен чувствовать ответственность вовсе не перед соседом и не перед товарищем по работе, а перед теми мертвыми предками своими, перед прадедами, дедами и отцами, которые лежат в могилах и уже ничего не могут тебе сказать. Ты как грибок над землей, над своим родом выпрыгнул и радуешься солнцу и дождику, говоришь что-то, что-то делаешь, а наши старцы истлели, но цепь-то жива, и ты последнее звено в этой цепи.. Я вовсе не за дельфинью информацию от поколения к поколению, но я за память предков. Если бы мой прадед восстал сейчас

из мертвых и увидел меня в теперешнем наряде, в этом пиджаке, в этом галстуке, в этих ботинках, он бы тут же, наверное, умер бы опять от страха. Не то чтоб не поверил, что я его правнук, а просто бы умер с перепугу, решив, что перед ним черт. Какой уж там правнук! Тут не о прямой информации речь, а о чувстве свободы и ответственности я говорю, вот о чем. Ведь говорили же раньше: не посрами отца. Это норма? Разве это плохо?

— А если отец сам плох, почему бы не посрамить?

— Глушенькая, так ведь это же не в бытовом смысле говорилось, а как одна из заповедей духовного поведения... Да и не сказал бы это плохой отец. Да и вообще, что значит плохой отец? Ушел от семьи? Сыну или дочери жизнь поломал? Но ведь сын и дочь все равно в страданиях тянутся в мыслях к отцу, а умрет он, и все ему простится. Нет, милая моя! Идея отца — великая идея, и ее нельзя походя переиначивать. В этом смысле, если хочешь, я религиозный человек, хотя и по-своему понимаю: бог отец, бог сын, бог дух святой... Вот за этот дух святой я и молюсь, так сказать. А люди, которые в бездуховности живут, то есть сорвавшиеся с цепи, для которых друг дороже отца родного, тех я не люблю и не верю им совсем.

— Правильно, Петенька, — сказала Татьяна Родионовна, щуясь в блаженной, слезливо-розовой улыбке.

— Да нет, я... у меня нет никакой определенной системы, человек я тоже путанный, но если к тем двоим вернуться, то, конечно, тут Дина тоже права — они вроде бы и приятны в своей отрешенности и даже, я бы сказал, в смелости, но ведь мы не об этом... Я просто хочу сказать, что те многие, которые проходили мимо, которые, в общем-то, вели себя нормально, более свободны, чем эти двое возле витрины. Эти двое свою бесконтрольность принимают за свободу, потому что еще молоды и даже не знают, не подозревают о настоящей свободе. Это сложный, конечно, вопрос... Над ним бились великие умы, куда уж нам.

Демьян Николаевич, который все это время молчал, растопырив уши, как атакующий слон, спросил вдруг Петю Взорова, что называется в лоб:

— А ты сам свободен?

— Свободен, — ответил ему Петя Взоров. — Пускай я мало зарабатываю и не достиг того, чего я хотел, но ведь человеку самое дорогое дается бесплатно. А это я свободен выбирать: дружбу, любовь, труд или хотя бы наш странный разговор, поиски духовности и отрицание бездуховности. Все это и есть свобода человеческого духа. Если хотите, свобода интеллекта.

— Значит, по-твоему, есть люди и не свободные?

— Конечно. Если они еще не вышли из чисто материнского мира. Они не свободны, если разум их ограничен обеденным столом.

— Но на голодный-то желудок...

— Я не об этом! Разве я против хорошего стола? Нет, конечно... Но человек должен преодолеть это притяжение и стать не только яблоней, но и садовником.

— Ну хорошо, а кто же будет поливать яблони? Кто будет окучивать, собирать плоды?

— Садовник.

— А плодоносить?

— Яблони.

— А как же тогда: «не только яблоней, но и садовником»? Что-то тут у тебя не получается.

— Все получается. Я ж говорил, человек — крохотная клеточка величайшего организма, который каждый час, каждую минуту и секунду разрастается, хотя мы и не слышим вопль рождающегося и стоны умирающего. А лично я, мой род, мой личный род — та яблоня, на ветвях которой и мне суждено было родиться... Я яблоко, но я и садовник, потому что с любовью ухаживаю за своей яблоней. Мне дано право так думать, а значит — я свободен.

Демьян Николаевич отодвинулся от стола вместе с грохотнувшим стулом, откашлялся и сказал с усмешкой:

— А говоришь, нет определенной системы. Не знаю, но знаю... Что-то я устал от такой-то свободы, голова распухла... А в общем — интересно. Как ты считаешь, Таня?

Татьяна Родионовна не ожидала вопроса и с веселой укоризной глянула на мужа.

— Я не поняла ничего, — сказала она искренне, — но вот про отца, про яблоню, про садовника — хорошо, по-моему.

— Глупости все это, — резко сказала вдруг Дина Демьяновна и вышла из комнаты.

Но тут же вернулась и тем же холодным тоном, словно бы отчитывая Петю Взорова, отчеканила:

— За такую свободу никто никогда не пошел бы драться. Зачем?! А твой величайший организм, который ты называешь человечеством и который вопит, как ты говоришь, разрастаясь, только и делает, что дерется.

Петя Взоров поднялся, дернул бровями и, вдруг задохнувшись от негодования, выпалил ей:

— Оно ж за справедливость дерется! Дерется с бесконтрольностью — за свободу! Да ну тебя к черту!

— Иди сам туда же! Философ доморощенный!— выкрикнула Дина Демьяновна и хлопнула дверью.

Татьяна Родионовна вспомнила про чай и тоже вышла из комнаты, тихо прикрыв за собою дверь, словно бы смягчая тем самым резкость дочери.

Петя Взоров, щурясь в припухшей, мрачно-насмешливой улыбке, уставился в точку и напряженно молчал, точно ожидая реакции Демьяна Николаевича. А тот, порозовевший и растерянный, не знал, что и подумать о вспышке, которая застала врасплох и его, и Татьяну Родионовну. И если он думал о ком-либо в эти минуты, то только лишь о милой своей Танечке, которая тенью удалилась из комнаты: он-то знал, чего стоило это неслышное ее бегство, как страдала она теперь и как чутко ждала хоть какого-нибудь намека на благоразумное примирение в доме.

— Как у тебя дела?— неожиданно спросил он.— Как на работе?

— На работе? По-старому,— ответил Петя Взоров.— Начальство уходит и приходит, повышается или понижается, а у нас все по-старому. Как всегда. Мне это даже стало нравиться. Эдакая приятная стабильность в зарплате, в потребностях и в возможностях. Никаких конфликтов, никаких особых хлопот. Сказано — сделано, не сказано — тоже кое-что сделано.

— Не так уж плохо...

— Я и говорю!

— Нет, но ты же с иронией.

— Я?! Нет, что вы!

— Мне показалось, ты опять...

— Ну, а если и с иронией, тогда что? Я могу и о матери с иронией, но пусть кто-нибудь попробует обидеть ее...

Демьян Николаевич мучительно искал продолжения этого мутного разговора, но, мысленно уйдя из комнаты, весь преисполненный сострадания к Татьяне Родионовне, которая, бог знает, может быть, и плакала тихонечко в эти минуты, ничего не нашел что ответить Пете Взорову и сказал со вздохом отчаяния:

— Не знаю я... как это... Что-то у тебя с твоим садом, что-то я ничего не пойму... Ты извини... Чего вы ругаетесь-то?! Дина взорвалась, ты...

— Да поймите вы!— прервал его Петя Взоров.— Неужели вам никогда не приходило на ум, что мы живем с вами в разные эпохи? Вы, мы и те двое целующихся. Три поколения, три эпохи, три геологических периода... А вы все еще не устали удивляться. Ну как же так можно?! Вы бунтуете против наших нравов,

мы против новых и, простите, против ваших тоже... Нам труднее. С одного бока греет, с другого поддувает... Вот и бесимся в бессоннице этой бесконечной... Вы о работе говорите! А что работа! Там есть вопросы и есть ответы. Поломай голову, и будет ответ, а когда двое целуются — чепуха, конечно... Но как понять? Где ответ? А вопросы без ответа — бомбы. Вам кажется, мы ругаемся по какому-то капризу или дурацкой прихоти. А ведь мы гармонии в своих душах ищем. Нелепо и бездарно, но разве мы виноваты? Мы не такие уж плохие, как вы о нас вправе подумать. А как защититься? Иронией?

Демьян Николаевич смотрел на него широко открытыми и словно бы слушающими, пытающимися понять, проникнуть в суть его слов страдающими глазами. Он сидел против Пети Взорова, облокотившись на стол и подперев ладонями свою усталую от хмеля и радости и неожиданной тоски лысую голову, молча вопрошая: «Кто же ты? Зачем здесь? А я, старый идиот, слушаю тебя? Почему я не могу выпнать? За что ты нам мстишь? Разве мы в чем-нибудь виноваты перед тобой?»

— А вообще, — сказал вдруг Петя Взоров, — все это действительно доморощенная чепуха. И Дина права. Нет прочных знаний, нет хорошего образования — вот в чем беда. Люди давно, наверное, перешагнули это, а мы, невежды, портим друг другу нервы, мудруем, спорим, ругаемся... Зачем? Зачем, спрашивается. Ну что там Дина? — сказал он с раздражением. — Неужели надо было так резко? Ну что это такое... — И поднялся.

Он застал ее плачущей перед зеркалом. Она словно бы любовалась собою, плачущей. Лицо ее было спокойно, а из опухших и скорбно прищуренных глаз сочились слезы. Она увидела его отражение в зеркале, злой и раздраженный взгляд в стекле, в старинной амальгаме золотистого зеркала, сказала ему, ограженному:

— Прости меня, пожалуйста.

Но не успел Петя Взоров и рта раскрыть, как в комнату без стука втиснулся Демьян Николаевич и, увидев слезы, вскипел и почти крикнул:

— Ты говоришь, все дорогое бесплатно... нет!!! За все в жизни платить надо! И платить вдвойне за то, что бесплатно... Самым дорогим и платить! Вопрос, есть ли это дорогое в душе. Вот тогда, конечно, тогда бесплатно... Воруют тоже бесплатно.

— Папа! Прекрати сейчас же! Уйди отсюда!

— В следующий раз думай, что говоришь. Ничего в жизни не бывает, не дается бесплатно... За все надо платить.

— В следующий раз, — спокойно перебил его Петя Взоров, —

мы с вами составим калькуляцию: что почем — поцелуй, улыбка, слово и так далее.

Демьян Николаевич, не дослушав, вышел и с такой силой стукнул дверь, что сверху на паркет тихо упала пластинка побелки и хрупко разлетелась на белые кусочки.

— Сумасшедший старик, — сказал Петя Взоров. — Разве я о такой плате говорил: ты мне — я тебе? Ты мне килограмм урюку, я тебе килограмм изюму... Разве я об этом? Ну, спасибо, в общем, за милый вечер, за теплые поздравления.

— Подожди, ты не прав, — сказала Дина Демьяновна. — Я тебя никуда не пушу, и не смей сопротивляться.

Она схватила его за руку. Он стал вырываться. Но она с такой силой и с таким отчаянием боролась с ним, такое ожесточение вдруг пробудилось в ней, так она мрачно говорила ему, соля от напряжения борьбы:

— Никуда... я тебя... не выпущу из этой... комнаты... Никуда... ты не уйдешь... Иначе я не знаю, что... я сделаю... Сядь сейчас же!

Так все это серьезно и в то же время уморительно было, так боролись в нем злость и веселье...

— Ты пьяная, — говорил он ей, хватая ее за неузнаваемо сильные руки, побелевшие от бешеной этой силы. — Ты просто сошла с ума. Ты... Ну что же ты делаешь? Ты же мне рубашку разорвала! Ну зачем это? Отстань от меня, слышишь... Я ведь и разозлиться могу...

Так это не похоже было на прежние их шутливые игры...

— Черт с ней... с твоей, — говорила она, ожесточаясь и уже не владея собой. — Я тебе не только... рубашку, я тебе сейчас все разорву, если ты... Если ты не сядешь сейчас же. Ты еще не знаешь меня... Мне надоело... Ты... сядь сейчас же!

Так все неожиданно было и незнакомо, так непохожа была Дина Демьяновна в эти минуты на милую и ласковую женщину, которую он знал до сих пор, что он, обессилив вдруг от этой дикой борьбы, подталкиваемый руками и коленом, безвольно опустился в кресло и испуганно улыбнулся, услышав сказанное с бешеным каким-то сипом:

— Сиди! Вот так... И не смей...

— Диночка, ты что? — спросил он в крайнем удивлении. — Ты совсем окосела или сошла с ума?

В комнате резко пахло ее потом, ее бешенством, ее горячим, воспаленным телом. Всклокоченные волосы падали ей на лицо, она их судорожно смахивала с глаз и тоже, как и он, пыталась улыбнуться, загнанно дыша.

Она села на кровать и, по-мужски расставив ноги, спросила с этой своей блуждающей улыбкой, которую никак не могла удерживать на лице:

— Ну что? Испугался! То-то!

— Совсем нет! За тебя — да... Ты что? Ну зачем ты рубашку порвала? Тебе это приятно, да? Ну хорошо.

— Подумаешь — рубашка!

— Ты меня извини, но обычно на дни рождения те же рубашки дарят, а не рвут последнюю на теле.

Он пытался шутить, но она не принимала шутки.

— Я тебе куплю новую, не плачь. Рубашку пожалел!

— Мне этот твой тон не очень-то...

— А мне наплевать.

— Какого черта ты меня здесь усадила? Чтобы поиздеваться надо мной?

— Ну ладно! Хватит! Приведи себя в порядок, и пойдем пить чай. Во всем виноваты те двое у витрины. Из-за них весь сыр-бор. Я подумала, если бы их, как ты говоришь, отмыть и запенить в комнате, они бы, наверное, не знали, что им делать. Им бы, наверное, скучно стало одним.

— Я это говорю?! Ах да... Ты, моя милая, что-то...

— И хватит о них. Иди сюда, поцелуй и попроси у меня прощения.

— За что?

— За все.

— С тобой действительно не скучно, — сказал он с усмешкой. — С тобой весело!

— А разве нет? Со мной очень весело — я не умею ссориться надолго. Разве я плохая жена? Почему же ты не ценишь? Найди ещё такую дуру... Пойдем, я извинюсь перед мамой и перед папой... Пойдем. Им, конечно, ужасно обидно, ты бы им тоже сказал что-нибудь ласковое, что-нибудь о грозе и солнышке... Видишь, я уже могу смеяться, перестань и ты хмуриться... Они поймут. Ну мало ли чего не бывает! Поругались, помирились. Ты же сам говорил — раны кому зализывать: тебе мои, мне твои. Давай полиземся и пойдем. Слышишь! А рубашку я тебе подарю... Ты галстук немножко сдвинь, вот так... и ничего... Видишь, совсем незаметно. Ну пошёл, мой родной, а то неудобно перед родителями. И прости меня, пожалуйста, — сказала она и чмокнула его в ухо, да так звонко, что он сморщился от пронзительного этого звука, похожего на выстрел.

И он, ошеломленный, вышел вместе с ней к чайному столу.

— Вы нас простите,— сказала она просто,— мы немножко повздорили и помирились.

— А мы вас ждем-пождем,— откликнулся Демьян Николаевич.— Чайник еще горячий, садитесь и больше не ругайтесь. А я сейчас нарежу торт. Танечка, неси-ка торт на стол. Вот ведь какая чепуха. Вот ведь чепуха какая! Я ведь тоже совсем распался на части, тоже ругаться полез. А кому это нужно? Кому нужно-то? Вот ведь как глупо все! Вы тоже меня простите. Вы уж поверьте, у меня одна забота в жизни осталась, чтоб вам хорошо было... Вот и хорошо все... Пришли, и ладно. Пейте чай, ешьте конфеты, торт. Знаете поговорку: где жестокость, там и милость. Вы по этой поговорке сегодня жили... Ну да ладно, будем же милостивы друг к другу. Не ругайтесь.

А Татьяна Родионова, морщаась в розовой своей, блестящей улыбке, подхватила тут же:

— Живите дружно,— и стала разливать чай.

Руки у нее дрожали. Петя Взоров боялся, что она ошпарится кипятком, но обошлось.

15

Перед тем как ему уходить, Дина Демьяновна отвела его за руку в свою комнату, закрыла плотно дверь, задвинула старенькие золотисто-коричневые портьеры и усадила Петю Взорова в кресло. Сама она села напротив и, все еще не в силах успокоиться, все еще возбужденная и излишне уверенная в себе, спросила, как ребенка:

— Ну и что? Бежишь?

— Я и так засиделся.

— Ах, ах, ах! Бедный мальчик!

— Ну зачем опять этот тон? Ты же знаешь, мне завтра рано вставать, ехать на объект.

— Да, да, конечно! Через всю Москву...

— Почему вы не почините телевизор?— спросил Петя Взоров.— Вам что — совсем неинтересно? Года два уже, наверное, если не три... У вас в доме даже радио нет... Тебе самой не кажется это странным?

Она хотела сказать ему: «Переезжай ко мне и займись всем этим». Но что-то в ней возмутилось вдруг, взбунтовалось, она посмотрела на него с нескрываемой брезгливостью и жалостью, как на котенка, которого нужно утопить.

— Слушай меня внимательно,— сказала она ему.— Уходи и никогда не возвращайся сюда. Мне с тобой скучно. Оставь меня

в покое. Еще немножко, и ты станешь противен мне. Неужели ты не можешь этого понять? Ну что ты улыбаешься? Мне с тобой неинтересно. Я не люблю неудачников, понимаешь? Мне страшно представить себе, что я всю жизнь проживу с неудачником. Ты неполноценный человек! Ты стыдишься своей матери, своих теток... Ты пойми, ты слишком честолюбив для своих крохотных душевных возможностей... И это заметно! Господи, как я могла не заметить этого сразу! Уходи! Я прошу тебя.

Она не отвела взгляда, пока не проговорила все это, и у нее даже закружилась голова от неимоверного напряжения и страха.

— Сколько же это может продолжаться!— сказала она опять, поражаясь тому спокойствию, с которым Петя Взоров выслушал все это.

У него только лишь веки неприятно набухли и потяжелел взгляд. Он словно бы приготовился слушать ее и ждать продолжения.

А она вдруг почувствовала себя в тупике, который становился все теснее с каждым мгновением, и совсем испугалась, когда подумала — не временное ли это помрачение рассудка у нее, имеет ли она право так обойтись с человеком.

— Ну что ты молчишь?— спросила она у него.— Неужели ты не можешь встать и ударить меня за эти слова?!

Он что-то попытался сказать, но хрипота не позволила ему этого сделать, он откашлялся, или, вернее, прорычался сдавленно и сказал наконец:

— У меня тоже есть слова... Зачем же! Словами больной.

Он поднялся и, недоуменно улыбаясь, погладил вдруг ее потные волосы.

— Я не верю ни одному твоему слову, ты, как всякая неврастеничка, реагируешь на погоду, на дождь, на перепад давления... Это пройдет, и ты будешь жалеть об этих словах. Жаль и мне, что я услышал их. Все-таки... очень жаль... Но, видишь ли, мне не так хотелось... Видишь ли...

— Убери свою руку, мне неприятно!

— Видишь ли,— продолжал он, поглядывая на нее сверху вниз,— мне ровным счетом наплевать на то, что ты обо мне думаешь. Мне важно лишь то, что я о тебе думаю. Ты мне слишком легко досталась, а это я не очень ценю.

Если бы он не улыбнулся в этот момент, Дина Демьяновна, возможно бы, нашла в себе силы и постаралась бы спокойно и с достоинством выдворить его вон. Но Петя Взоров с нескрываемым облегчением улыбнулся, и она, не помня уже себя, наот-

мать ударила его по щеке и сама же вскрикнула, закрыв лицо руками, словно бы не она, а ее самое ударили.

Петя Взоров сказал с очень искренним злорадством:

— Ну и прекрасно! Тем лучше! Спасибо!

И торопливо вышел, и Дина Демьяновна, оглушенная, слышала только, как грохнула входная дверь.

Когда же в комнату вбежала на крик Татьяна Родионовна и увидела дочь, прикрывшую руками лицо, она, конечно, подумала сразу, что Петя Взоров ударил ее и подло сбежал. А потом и Демьяну Николаевичу она в отчаянии закричала, введя его невольно в заблуждение, что этот мерзавец ударил Диночку по лицу.

Впрочем, какое уж там заблуждение! Петя Взоров и в самом деле, обороняясь, нанес неожиданный и коварный удар, а та бесильная пощечина, которую он получил сам, была сущим пустяком — небольшой царапкой на душе.

16

В тот поздний вечер на крики отца, оскорблявшего ее так, как никто еще никогда не смел, отвечала она криками, хотя и была напугана его гневом, о силе которого и не догадывалась. Помимо своей воли, словно бы подстегнутая упрямством и нестерпимым желанием досадить отцу, кричала она в бешенстве, что любит Петю Взорова и не мыслит себе жизни без него. Она не очень-то старалась разубедить стариков в ошибке, и, как это ни странно, ей легче было оттого, что они думали, будто именно Петя ударил ее по лицу, а не она его. Дина Демьяновна чувствовала, что отцу будет больнее, если она в помутившемся его сознании, в кричащих, безумных его глазах останется униженной, избитой, но все равно любящей женщиной.

И она добилась своего: Демьян Николаевич был совершенно раздавлен этой ее уничтоженностью и плакал, закрывшись в уборной, ибо другого места не было для тайных его слез.

Он плакал. По щекам текли слезы, а лицо было страдальчески сморщенным. Плечи тряслись от рыданий.

Кто и когда сказал, что мужчины не умеют плакать? Они плачут так же, как дети и женщины, так же вспухают нос и глаза, так же льются слезы, так же сотрясают их рыдания и так же нелегко им остановиться... Есть, конечно, люди, которые не умеют плакать: мужчины или женщины — супермены, а чаще всего просто недоразвитые в своих чувствах субъекты. Но Демьян Николаевич ни к тем, ни к другим не принадлежал.

Он долго умывался холодной водой, сморкался и даже чистил зубы, а потом тер лицо полотенцем, прежде чем выйти опять к дочери и Татьяне Родионовне, которые не о себе уже, а только о нем и думали, забыв обо всех обидах. Татьяна Родионовна горестно всхлипнула, увидев его, и у нее задрожал подбородок. А Дина Демьяновна опустила глаза и нахмурилась, делая вид, что отцовские слезы вовсе не тронули ее, хотя тоже еле сдержалась от прилива собственных тоскливых слез, потому что плакал Демьян Николаевич так редко, что она и не могла бы точно припомнить, когда еще видела заплаканное его лицо.

Ей было трудно побороть свой порыв кинуться к отцу на шею, все ему рассказать, пожаловаться и попросить защиты. Но недавний его крик, бранные его слова остановили ее. И она опять взвинтила в себе озлобленность, оскорбляясь опять и опять за свою любовь, которую отец назвал «лягушачьей страстишкой», а Петю Взорова «самцом лягушки».

«Идиотизм какой-то! Надо же такое вообразить! — подумала она. — Ну разве кто-нибудь из них испытал в своей жизни хоть приблизительно похожее на то, что мне пришлось? Так чем же они мне помогут? Каким советом? — думала она, ища оправдания себе. — Вместе плакать? Нет, я взбешусь, если они начнут жалеть меня! Я не знаю, что натворю! Неужели хотите, чтоб я жила так же, как вы?! Я бы прокляла себя, если бы хоть чуточку стала похожа на вас. Мне ненавистен ваш дом, ваши восторги и ваша слюнявая любовь... Вы никогда ничего... вы не поймете, как я счастлива была и как теперь несчастна. И я ничего от вас не хочу слышать. И ничего не слышу. В конце концов, это мое личное дело. Вы мне дали жизнь — и спасибо на этом. А теперь я как-нибудь сама, без вас... Вы все равно не поймете меня...»

Так она думала в тот вечер и была, как никогда, далека от истины, потому что не могла даже представить себе в своем озлоблении те муки, которые испытывали Татьяна Родионовна и Демьян Николаевич, видя в беде единственную свою дочь. Она и предположить не могла, что ее страдания и обиды были в сердцах стареющих ее родителей возвеличены до таких грандиозных размеров, что, приди даже смерть к ним в эти минуты, они и умереть не могли бы, потому что дочь их была в беде: им просто нельзя было бы умереть, оставив в несчастии дочь, которую некому, кроме них, защитить.

А для них не было в тот вечер более несчастного человека, чем их дочь. И только себя они чувствовали совсем уж несчастными людьми, ибо понимали, что ничем не могут ей помочь. Ровным счетом ничем! И это была самая мучительная жесто-

кость, какую они испытывали когда-либо. Оттого и плакал Демьян Николаевич, проклиная свое бессилие.

Он, который всю жизнь с тех пор, как родилась на свет его дочь, дрался мысленно со всеми ее врагами, выдумывая их в томительные вечера, когда Дина, белокурая его девочка с карими глазами, отчего-то задерживалась и опаздывала к обещанному часу. Какие только страхи не рисовались в возбужденном его воображении! Наглые пьяные парни хватали ее за руки и, угрожая, тащили в потемки переулка, а она, испуганная до смерти, рвалась от них и, онемев от страха, не могла позвать на помощь. И вдруг он, старый Демьян, с огромными ручищами, оказывался случайно поблизости и узнавал в этой беленькой девочке свою дочь! Он в бешенстве хватал парней за волосы и с такой силой стучал их лбами друг о друга, что оба они тут же падали полумертвыми... Динка! Радость моя, что они с тобой сделали?! Папочка! Ай!.. Нет, он решительно сходил с ума по вечерам, когда дочь его задерживалась. Он видел вдруг себя ни с того ни с сего с пистолетом в руках, убивающим бандита, который уже занес свой самодельный нож над грудью Диночки... Трах!

— Ты что так сопишь?— спрашивала Татьяна Родионовна, когда он, отрешившись, пребывал в этих воображаемых страшных видениях.— У тебя что-нибудь болит? Ты как-то странно дышишь.

Он переводил дыхание и, стараясь скрыть от жены свое волнение, ссылаясь на усталость.

И радовался, как собака, и готов был прыгать вокруг и приплясывать, когда наконец-то приходила дочь. Он всякий раз выбегал встречать ее к вешалке и, если была зима, принимал холодную ее душистую шубку, а если было тепло, подавал ей, как ушастый спаниель, домашние туфли.

— Ты где так долго пропадала?— спрашивал он с восторгом.— Красавица ты моя! Тебя же могут похитить!— И кричал радостно: — Танюша, ставь скорее чайник, красавица наша пришла.

Это была сумасшедшая любовь, похожая скорее на какое-то боготворение. Впрочем, он и сам понимал, что дочь в его жизни занимала, может быть, слишком большое место. Но что значило для Демьяна Николаевича слово «понимал», если, понимая, он ничего не мог с собой поделать. Так... пустой звук. Понимал, конечно...

И теперь, когда божество это сидело перед ним в слезах и в злом упрямстве выкрикивало ненавистные ему слова, когда он сам кричал, с ненавистью глядя на этот мокрый от слез и желчи комочек жизни, и готов был, позабыв обо всем, плюнуть, уда-

рять, растоптать свое божество, а потом сам же плакал втайне ото всех, в уборной, то и дело спуская воду из бачка, — теперь ему чудилось, что жизнь его прошла зря, и все в этой жизни было напрасно, и даже любовь его к Тане, к милой Татьяне Родионовне, была преступна, потому что именно она явилась началом несчастий, которые выпали на долю его дочери... Все было напрасно! И он готов был, не колеблясь, тут же проклясть свое прежнее благодушие, обернувшееся, как ему чудилось теперь, в несчастье дочери.

Голова его разламывалась от этой безумной диалектики, от ненужных и, в общем-то, способных прийти только в очень разгоряченную голову размышлений, которыми он словно бы казнил себя, пытаясь хоть как-то приблизиться к страданиям дочери.

Если бы ему вдруг сказали, что сам он в эти часы и минуты был более несчастным человеком, чем его дочь, он бы зло расхохотался в ответ, ибо жил в эти минуты и часы только лишь бедою дочери, думая о ней, как о великой мученице с нимбом над скорбным лбом. А сам он? Господи! Сам он не существовал в эти часы и минуты. Горе его было так велико, что он даже о Пете Взорове позабыл, забыл о том, что живет на свете этот человек, причина всех несчастий, свалившихся на голову дочери. Нет! Он не вспоминал о нем. У него не сжимались кулаки, не болело сердце от тоски по мщению. Он был подавлен печалью более высокой, а виновным понимал одного лишь себя, зачавшего когда-то это обиженное жизнью, родное и любимейшее существо.

Дина Демьяновна, шатаясь от нервной и мрачной усталости, ушла к себе и легла. Демьян Николаевич не вытерпел и вскоре тихонечко постучался в дверь и, не дождавшись ответа, вошел в темную комнату.

— Дина, — позвал он, — ты спишь?

— Ну что? — спросила она голосом мертвым и холодным.

Он присел на краешек ее постели, нащел ее очень горячую и словно бы распаренную руку, стал гладить ее, положив на свою ладонь, и спросил:

— Может, тебе не ходить завтра на работу?

Она не ответила, и он долго сидел молча, не слыша, как дышит дочь. Рука ее была расслаблена и потому казалась тяжелой на его ладони и большой. Он впервые в жизни испытал эту страшную тяжесть женской руки и сам невольно весь сосредоточился на этой удивившей его тяжести.

— Спи, радость моя,— шепотом сказал он.— Пусть тебе приснится очень хороший какой-нибудь сон. Ты ведь самая-самая красивая на свете. Ты лучше всех. Ты умнее всех, добрее, ласковее, нежнее. Я ведь знаю! Никто так не умеет улыбаться, как ты, смеяться, радоваться... Пусть тебе все это приснится,— говорил он ей, как когда-то в детстве.— И пусть какая-нибудь речка приснится с песчаным бережком. Ах, Динка, Динка! Что же я еще-то, кроме этого... кроме хорошего сна, могу тебе!.. Ты сердисься на меня, да? Прости...

— Уж лучше пускай какой-нибудь страшный приснится,— с неожиданной грубоватой усмешкой сказала вдруг Дина Демьяновна.— Самый страшный.

— Зачем же? Не-ет! Почему же страшный?

— После страшного приятней просыпаться.

— Ах, вон оно в чем дело!— воскликнул радостным и таинственным шепотом Демьян Николаевич.— Правильно. Тогда пускай... А какой самый страшный для тебя сон? Про бандитов? Или каких-нибудь чудовищ?

— Нет,— ответила Дина Демьяновна.— Как будто я убила человека, спрятала труп, а меня подозревают, и вот-вот должно все открыться... От страха я просыпаюсь и радуюсь, что это во сне. И такая счастливая!

— Этого не может быть,— тихо сказал Демьян Николаевич и крепко сжал руку дочери.— Это мой сон. Я тоже иногда... и тоже прячу... Ужас какой-то!

— Честное слово?

— Да.

— А почему это так? Сон по наследству? Странно. Может быть, в нашем роду кто-нибудь был убийцей?

В это время дверь в комнату тихо отворилась, и желтый свет раздвинул тьму. Дина Демьяновна вздрогнула и поспешно сказала:

— И мама тоже... не спит...

А Татьяна Родионовна улыбнулась на ее слова и сказала:

— А я слышу, пепчетесь тут...

— Мы страшные сны придумываем,— сказал Демьян Николаевич.

Сам он потом долго не спал и никак не мог выпустить из внутреннего своего взора спящее лицо дочери с полураскрытыми губами, тяжелую ее руку, уроненную на одеяло, может быть слишком тяжелую для женской руки, и к сердцу его подкатыва-

ла вдруг такая тоска, что он страдальчески морщился и в бессмысленной какой-то мольбе твердил:

— Родная моя... Как же ты несчастна! Как больно тебе сейчас... За что? Все твои школьные подруги давно уже стали матерями... У всех мужья, семьи... А ты одна. Неужели ты из тех неудачниц, которых теперь так много на земле? Почему же ты? Разве ты хуже других? Ты самая красивая из всех твоих подруг. Или это мне только кажется? Нет же! Ах ты, господи! Ты совсем одна. Старые твои, несчастные старики... Зачем они тебе? С нами ты совсем-совсем одинока. Господи! Пусть она будет счастлива. Милая моя Динка! Постарайся быть счастливой. А то я умру от жалости к тебе. Мне жаль тебя, очень и очень жаль. Пусть все, что было, станет для тебя тем страшным сном, от которого ты очнешься и сразу обрадуешься, что это был сон. Это был просто сон. Ты еще молода, и к тебе еще может прийти такое счастье, от которого ты даже зажмуришься, как от солнца. Да, да! Так оно и будет.

Вот уж никогда и вообразить себе не смог бы Демьян Николаевич, что настанет время, придет бессонная ночь, и он будет так вот лежать в горячей постели и молить небо о счастье дочери...

Впрочем, Дина Демьяновна была совершенно права, когда думала о своем отце, что он всю окружающую его жизнь моделирует, исходя только из личного опыта: непохожа, значит, неправильна. Он горько бы усмехнулся, если бы ему кто-нибудь вдруг сказал, что ничего особенного не случилось в жизни его дочери: просто разошлись два человека, наскучившие друг другу.

«Не смейтесь над старым человеком,— сказал бы он с горечью.— Разве о такой жизни мечтают люди?»

Да, разумеется, не о такой — он тоже был прав, по-своему. Хотя и представить себе не мог, что вполне вероятно и другая жизнь, совсем непохожая на ту, которую он прочил своей дочери.

Что же касается счастья или несчастья, то здесь надо вполне определенно сказать, что Демьян Николаевич, который о жизни думал, меряя ее только этими понятиями, был и сам не очень-то уверен — счастлив ли он. Да и что такое счастье? Знал ли он сам? Слишком уж часто поигрывал он этими словами...

«Придет красивый и умный юноша,— говорил он когда-то,— молча посмотрит на тебя... Самый красивый и самый умный из всех живущих на земле... И ты будешь счастлива с ним...»

Жирный перегной, которым удобрен был участок скверцовской дачи, после каждого дождя или, вернее, в первые солнечные минуты после летнего дождя, казалось, начинал дымиться, как сумеречный мир. Каждый комочек земли, каждая крупинка, каждая маковка бывали тогда обметаны теплым паром, а воздух, прогретый солнцем, наливался пьянящим духом черной доброй земли, похожим на запах цветущей горькой черемухи.

И чудилось тогда, будто вся жизнь на Земле, все сущее на ней началось когда-то именно в такой же вот жаркий, живородный, душистый день мая... Чудилось, будто именно в такой же день что-то стряслось в немом и тусклом мире, в той далекой преисподне, о которой люди и догадываться толком не умеют, и атомы и молекулы так вдруг соединились, так соотнеслись друг с другом, что неожиданно-негаданно родилась на Земле жизнь, или, как говорят химики и физики, возник белок — начало всех начал.

Правда, те же физики шутят, раздумывая всерьез о возможности другой жизни во Вселенной, что случайность возникновения белка в подходящих для этого условиях так же мала, как мало, например, шансов получить вдруг от простого перетряхивания каких-то деталей цветной телевизор... Это смешно, конечно, представить себе цветной телевизор, возникший из хаоса, — прибор довольно сложный и хрупкий.

Но жизнь! Вот тут уж никакого воображения не хватит, чтобы попытаться представить себе возникновение ее в зримых и понятных образах...

Впрочем, кто-то ведь должен был увидеть заснеженные вершины гор, извержения вулканов, голубой огонь океана, кто-то должен был увидеть пар, поднимающийся от земли, услышать грохот и гул землетрясения или рев водопада, учуять запах согретого камня и запах мокрых лишайников...

Иначе зачем все это? Молодая земля шумела, грохотала, была окутана туманами и лазурью, отраженной в бескрайних водах океанов, и кто-то должен был видеть все это, слышать, осязать, иначе пропал бы смысл всего этого раскрашенного, вздыбленного, плоского, жидкого, шумного, твердого, тихого, душистого и зловонного мира — цветного этого телевизора, программы которого некому было смотреть.

И когда теперь проливался на землю белый и шумный ливень, когда все звуки тонули в его упругом и ровном гуле, про-

резаемом только адскими громовыми раскатами, а потом вдруг вспыхивало из-за отошедшей тучи вечное солнце, вот тогда в звучании тихих капель казалось, будто жизнь только сейчас, сию минуту народилась на грохочущей, затопленной ливнем, мокрой и теплой земле, будто только теперь все живые существа, выползающие из своих нор, из укрытий, из-под листьев, выпархивающие из-под веток деревьев, выходящие из дверей домов, познают своими чувствами туманный смысл цветной этой и душистой картинки, в которую они волею судеб вписаны великим и непознанным мастером — солнечным тем лучом, который дал цвет, запах и жизненные силы всему существу на Земле и, играючи отразившись в зеркалах восхищенных глаз, ликующим и мощным потоком унесся, запечатленный, в неведомые и безжизненные пропасти Вселенной.

После этих теплых ливней с молниями и громами зацветала яблоня. Прохладные ярко-розовые бутоны в мучительном и сладостном напряжении раскрывались, распахивались, обнажая в счастливом ожидании золотистые тычинки и животворный пестик, таящий в себе нектар. Каждый цветок в своей печной и недосыгаемой гармонии являлся миру маленьким и совершенным чудом жизни, каждый был достоин любования, но каждый из них разворачивал свои упругие лепестки в великой надежде на продолжение и на бессмертие. Их было множество — бело-розовых этих цветов, распутившихся в теплые дни мая, над ними в солнечном воздухе вились жужжащие осы и пчелы, и чудилось, будто белая яблоня звоном этим славилась жизнь.

Демьян Николаевич выносил табуретку, садился под яблоней и слушал звон. Изощренное и чуткое ухо его ловило в этом хаосе звуков торжествующие крики людской толпы, отдаленные и невнятные, и перезвоны маленьких колокольчиков, созывающие народ. Он улыбался, согретый солнцем и звонким ликованием, но когда рассказывал домашним о своих слуховых галлюцинациях, над ним посмеивались. А он, сидя под цветущей яблоней, не только слышал, но и видел «третьим» своим глазом площадь древнего города, белую звонницу и яркие толпы ликующего народа, славящего жизнь.

В такие дни, когда прогревалась земля, Демьян Николаевич сажал обычно морковь.

Скворцовы в этом «сельском хозяйстве», как говорил Сергей Александрович, никакого участия не принимали, хотя давно уже перестали относиться иронически к муравьиному трудолюбию Демьяна Николаевича и не отказывались никогда погостить на грядках клубники, отщипывая тяжелые спелые ягоды, лакоми-

лись сладким синим крыжовником, черной или красной смородиной, стручками сахарного горошка или садовой малиной, ягодой крупной и красивой, но по вкусу и аромату не сравнимой с дикой, лесной, которой в урожайные годы вызревало огромное множество в окрестных овражистых лесах.

Но как-то однажды Демьян Николаевич был очень занят в теплые эти майские дни и попросил Скворцовых посадить на подготовленной уже грядке морковь. За дело взялась Мария Анатольевна и дня через два, позвонив Простяковым, сказала, что морковь посажена.

Каково же было удивление и сколько смеху было потом, когда Демьян Николаевич увидел эту грядку. Сначала он глазам своим не поверил, предположив, что Мария Анатольевна, женщина здравого рассудка и одаренная чувством юмора, решила подшутить над ним. И разумеется, Сергей Александрович тоже не остался в стороне от баловства, решил Демьян Николаевич, увидев спелую морковь в земле, успевшую уже закурчавиться тугими листьями.

Но оказалось, что тут и намек не было на шутку. Без малейшего сомнения Мария Анатольевна купила на рынке морковь и посадила ее в грядку, словно бы репчатый лук. Она волновалась, конечно, потому что делала это впервые в жизни, и ей искренне хотелось все исполнить лучшим образом, угодить друзьям, чтобы потом, в золотые денечки, на грядке уродилась бы сочная и сладкая морковь и все бы говорили с удовольствием: «Вот какую хорошую морковь посадила Маруся!» Она была довольна собой. Морковь, по ее предположениям, должна была уродиться очень хорошей, потому она выбрала на рынке ярко-оранжевую, сочную и вкусную каротельку, лучше которой, пожалуй, и не было в тот день на Центральном рынке. «Зачем тебе столько? — спросил у нее Сергей Александрович, хрупая морковь. — Она ведь завянет!» Но она решила оставить в секрете просьбу Демьяна Николаевича и ответила неопределенно: «Нужно, нужно... Ты ведь не будешь есть суп без моркови или мяса тушеное». Впрочем, скажи она своему мужу о назначении этой моркови, он вряд ли бы стал отговаривать ее, не решившись, конечно, спорить с тенью самого Демьяна Николаевича. Раз Демьян сказал, значит, так и нужно.

— А ты-то! — говорил ему потом, задыхаясь от смеха, Демьян Николаевич. — Ты-то где был? Ты-то как сподобился на такое?!

— А кто вас знает! — отвечал на смех Сергей Александрович. — Мне она не докладывала о вашем сговоре. Ты с ней дого-

варивался, ты и спрашивай с нее. Она всю жизнь сюрпризы любила делать, вот и тут не удержалась. Верно я говорю, Маруся?

Мария Анатольевна была смущена, но сама больше всех смеялась над собой, и чудилось, будто ей даже приятно было сознавать втайне, что она рассмешила всех и что сама она такая вот недотепушка в огородничестве, такая вот неисправимая городская сумасшедшая.

Она была абсолютно искренна в полном своем невежестве, ни тени игры или озорства не было в ней, и даже странным казалось, что у этой веселой и умной женщины до такой уж немыслимой степени атрофированы были естественные связи с землей и природой, словно она была искусственным каким-то существом, в которое забыли заложить при сборке аппаратик, принимающий информацию о живом, зеленом мире.

Лесные поляны, заросшие цветами, желтые по весне, пестрые летом и лиловые к осени, были для нее сырыми и топкими болотами, по которым опасно ходить, и об этой сырости она не уставала говорить всем и всегда, если речь заходила о лесной прогулке, словно бы она не в лес попадала, а в какую-то вонючую, заплесневевшую топь. Она боялась комаров и, если они кусали ее, начинала с тревогой говорить о малярии. Она даже бабочек боялась. Знала, что они безвредны, но одно прикосновение к ним, особенно к жирным ночным мотылькам, залетавшим по вечерам в комнаты и метавшимся в беспорядочном полете, стучающимся о потолок, стены и лампы, — одно прикосновение к ним или даже одно их присутствие приводило ее в ужас, и она в паническом страхе цепенела, и ей дурно даже становилось, пока Демьян Николаевич или Сергей Александрович не излавливали бедную ночную красавицу. Она боялась темноты, потому что в потемках выходили охотиться на прогретые тропинки лягушки, и ойкала всякий раз, хватаясь судорожно за руку мужа, если слышала в тишине плещающий прыжок вспугнутой лягушки. Но больше всего на свете Мария Анатольевна боялась летучих мышей, которых, к ее несчастью, было великое множество в окрестностях и которые, с наступлением сумерек, тоже вылетали на охоту, бесшумно и рвано порхая над домом и яблоней. Она с содроганием представляла себе, как эта бесшумная и неожиданная в своем полете мышь с холодными перепонками крыльев вцепится в ее белые волосы, запутается в них, и она тут же умрет от жуткого ужаса и даже крикнуть на помощь не успеет.

Она только в городе, а вернее, только в Москве, чувствовала себя нормально и ничем не отличалась от других людей: ее оставляли все страхи, она так же, как и многие москвичи, покупа-

ла зимой багульник, а весной мимозу, летом и осенью садовые и полсные цветы и даже разводила их дома в горшках, заботливо ухаживая за ними. Она до слез любила Черное море и камни на его пляжах. Любила летать в Крым или на Кавказ и ничуть не боялась высоты. Ей даже в голову не приходила мысль о какой-либо опасности, когда она летала на высоте десяти километров над землей. И моря она тоже не боялась. Она хорошо плавала и могла заплывать чуть ли не к горизонту, лечь там на спину и петь в странном одиночестве. И хоть бы один укольчик страха потревожил ее в эти минуты. Ничего подобного!

Когда же попадала в Подмоскovie, становилась совершенно ненормальной. Она бледнела, и ей делалось плохо, у нее кружилась голова, если, переходя какую-нибудь хлюпающую от дождей лошадку, утопала она по щиколотку в травянистой жижице.

«Ой-ой-ей! — растерянно вскрикивала она. — Мы зашли в какое-то болото... Сережа, дай скорей руку, меня засасывает!»

Казалось, она всерьез считала в эти минуты, что ей угрожает опасность. Никто не мог разубедить ее в этом! И если бы Мария Анатольевна не обладала добрым характером и не была бы так приятна в обхождении с людьми, она слыла бы нестерпимой и несносной особой.

И еще одно качество украшало ее: она была с детства бесконечно доверчива к людям. Так, например, однажды, оставшись на даче, когда все ушли в лес собирать грибы, она услышала мужской голос за оградой, звавший хозяев. Она вышла. Какой-то бесконечно усталый, как ей показалось, мужчина предложил ей машину конского навоза за двадцать рублей. Она тут же согласилась, благо деньги у нее были с собой. «А где же машина?» — спросила она, предчувствуя уже радость Демьяна Николаевича, которому, как она понимала, для полного счастья не хватало только лишь конского навоза. «Застряла машина, — отвечал усталый человек. — Мы ведь что?! Мы везли навоз Михаилу Васильевичу, а его дома не оказалось. Вы знаете Михаила Васильевича?» — «Нет, — ответила Мария Анатольевна, — но, кажется, что-то слышала», — добавила она, хотя не имела никакого представления об этом Михаиле Васильевиче. «Ну так вот, — сказал мужчина, горестно улыбаясь, — ему и везли, а потом через лес сюда поехали и застряли». — «А как же быть? — спросила Мария Анатольевна. — Не на тачке же нам его из лесу везти?..» — «Нет, конечно, я уже с трактористом договорился, чтоб машину вытащил, а у нас денег всего рубль пятнадцать, а он пятерку требует.. Значит, три восемьдесят пять не хватает. Вы мне их дайте, я

трактористу заплачу и минут через двадцать — тут как тут. Потом рассчитаемся. Вместо двадцати шестнадцать дадите, и все дела... копейки там какие-то не в счет. Если хотите, пойдемте вместе, я ведь без обману». — «А скоро ли вы управитесь?» — спросила Мария Анатольевна с некоторой недоверчивостью. «Я ж вам говорю, тут рядом, небось слышали, как я буксовал, — минут двадцать, ну тридцать от силы, и я тут как тут! А за навоз благодарить будете... Я ведь для Михаила Васильевича вез, не кому-то, а ему по договоренности, да вот дома нет... Такая неудача! И он-то, конечно, сам расстроится. А что мне делать? Куда его девать?.. Навоз-то... Вот и предлагаю поэтому... Не хотите, я сейчас любому продам... Это большой дефицит в наше время, только скажи — с руками оторвут». — «Ну хорошо, — согласилась Мария Анатольевна, — я сейчас вынесу».

И вынесла четыре рубля.

— «Вот вам пятнадцать копеек сдачи, — сказал ей оживившийся мужчина, — мне лишнего не надо. Три восемьдесят пять...»

Мария Анатольевна хоть и отказывалась, но добрый человек заставил ее взять монету, приказав ждать его и подготовить место на участке, чтоб было куда, не мешкая, сыпать.

Она до самого вечера не могла поверить, что ее обманул этот усталый и очень искренний, как ей казалось, человек.

Демьяну Николаевичу, когда он из леса вернулся, она сразу же объявила о своей покупке, предупредив его, что это ее подарок. Сначала тот было обрадовался, но когда узнал подробности сделки, все сразу понял и посмотрел с большим удивлением на Марию Анатольевну.

— Маруся, тебе сколько лет? — только и спросил он у нее.

А она никак не хотела верить в обман. Она сидела на крыльчке. Солнце уже загордилось большой темной елью, росшей за забором, лучи его огромными золотистыми пластами косо упирались в землю, и в этих золотисто-дымных, невесомых пластах искрились в бестолковом каком-то танце тысячи маленьких мошек и комаров, которые не видны были бы в воздухе, если бы не эти косые солнечные лучи, разделенные темной елью. В лучах комарики плавали, как какие-нибудь светящиеся рыбки. Над крышей скользили в радостном полете повизгивающие стрижи. А потом померкли лучи и пропали золотые рыбки. И когда уж совсем смерклось, только тогда Мария Анатольевна поняла наконец-то, что ее обманули. Ей стало очень обидно, и она заплакала, повторяя сквозь слезы, что ей совсем не жалко четырех рублей, а жалко, что она обманулась в человеке.

— Уж лучше бы ворвался в дом и отнял у меня все деньги, —

говорила она,— мне бы легче было. А это так низко! Так мерзко! Неужели верить никому нельзя?

Вот какая странная жила на свете женщина, которая потеряла единственного сына на войне, а сама в сорок первом рыла под Крюковым противотанковые рвы.

Единственное существо, которое полюбила Мария Анатольевна, не считая, конечно, певчих птиц, был ежик, которого Демьян Николаевич нашел однажды в лесу. Он подтолкнул ежа палкой и подкатил к ногам Марии Анатольевны пыхтящий, фыркающий, колючий шар. Спачала она испугалась и отпрянула, но, узнав ежика, вдруг рассмеялась радостно и долго не хотела уходить от него, дожидаясь, когда тот выглянет из-под своих колючек. И дождалась, спрятавшись за елочку. Ежик притих и осторожно распрямил свое свернутое тельце, вытянулся, встал на ноги, понюхал воздух блестящим, черным, как у собачки, пяточком, блеснул глазками, спрятанными в рыженькой шерсти, и торопливо побежал на своих длинных, как показалось Марии Анатольевне, утиных ножках прочь.

Это было единственное живое существо, обитающее в лесу, которое очень понравилось ей и которое удивило ее своим сходством и в то же время непохожестью на все рисунки в детских книжках, которые когда-либо видела Мария Анатольевна.

— Ну какая же прелесть!— не уставала она говорить о еже.— Удивительно приятное существо!

Ей приятно было думать о еже еще и потому, наверное, что еж, как она знала, может съесть даже ядовитую змею, не говоря о слизняках и лягушках. Ее разум был устроен таким странным образом, что, думая о змеях и слизняках, она с благодарностью и симпатией обращалась мысленно к ежу, как будто он жил в лесу исключительно для того, чтобы очищать его от всякой мрази, при одном лишь воспоминании о которой у Марии Анатольевны покалывало сердце. И получалось так, что именно еж был лучшим ее другом: ел мышей, ночных всяких скользких и холодных тварей, червяков, слизняков, лягушек, а при случае мог съесть даже змею. А уж на змей она боялась смотреть даже в террариуме, ни разу не встретив ни одной змеи или ужа у себя под ногами. К счастью, конечно.

— А почему бы нам на участке не развести ежей?— спрашивала она с удивлением и радостной надеждой.— Такие симпатичные зверушки! Их даже можно молочком подкармливать, чтоб они не разбежались.

Когда Мария Анатольевна, опираясь на руку мужа, села в тот день под вечер в электричку, везя в Москву корзиночку

клубники и букет цветов, среди которых были два багрово-черных гладиолуса, она, помахав на прощание Демьяну Николаевичу сквозь запыленное стекло, прижалась к плечу сонного Сергея Александровича, вздохнула с облегчением и с задумчивой улыбкой сказала, вспомнив про ежа:

— Удивительно милое создание...

— Да-а,— дремотно ответил ей Сергей Александрович, прикрывая глаза.

— А тебе не показалось? Он ужасно похож на чернобурку,— с тихим и тайным каким-то оживлением в голосе спросила Мария Анатольевна.

— Возможно... Но не хотел бы на шею... такую прелесть...

За окном уже сгустились потемки, в вагоне включили свет, и все смазалось за стеклом, в котором отразилась противоположная стенка вагона, скамейки и люди с цветами.

— Бедный ежик! Неужели он так один и живет в лесу?!— со вздохом сказала Мария Анатольевна.— Ночью, в лесу один... Ах, господи...— И окунулась взглядом в мелькающие, смутные очертания колючего леса за окном.

А четыре года спустя после этой трогательной встречи с ежиком, в весенний пасмурный день, когда уже немного времени оставалось до цветения яблони, когда земля после половодья зарастала упругой травой, а в Москве было парко и пахло топодем, Мария Анатольевна неожиданно умерла.

Как у всякой старой жительницы Москвы, у нее было место на кладбище, был семейный участок, огражденный металлической решеткой, за которой лежали в могилах ее мать, отец и старший брат, лежали над истлевшими дедушками и бабушками, над костями далеких предков, которых даже и не знала, не помнила сама Мария Анатольевна.

В могилу матери, на дубовый ее гроб опустили желтый, дешевенький гробик с телом Марии Анатольевны.

«Завари-ка чаю,— сказала она Сергею Александровичу.— Я что-то устала, прилягу на минутку».

И пока он заваривал чай, она тихо умерла, словно бы заснула.

Никто не хотел верить в эту смерть, в эту нелепость, которая случилась с крепкой еще на вид, живой, энергичной Марией Анатольевной. Она иногда вдруг с улыбкой прикладывала руку к груди и затихала. Сергей Александрович спрашивал: «Ты что?» А она отвечала: «Так... сердечко что-то... Пройдет».

А у Простяковых, у Демьяна Николаевича, у Татьяны Родионовны и особенно у Дины Демьяновны, которая всегда усмешливо, но очень тепло любила Марию Анатольевну, было такое чувство, будто умерла не пожилая, стареющая женщина, а совсем еще юная, не успевшая ничего понять в жизни, еще только-только приглядывающаяся к ней, шутливая и бесстрашная, смешная и умная беловолосая девочка... Чудилось, будто Мария Анатольевна притворялась все время старенькой, а на самом деле так и осталась на всю жизнь хитрющей, но доброй девочкой, которой приятно было смешить людей своими милыми страхами, будто бы она так привыкла всех забавлять, что эта застарелая привычка стала второй ее натурой.

Все плакали, когда опускали гроб, но отчаяннее всех Дина Демьяновна, которой было так жалко Марию Анатольевну, что она даже будто бы слышала ее ворчливый и испуганный голосок: «Господи, сырость-то какая здесь ужасная...» — и видела грустную усмешку в ее глазах. Когда она подумала таким странным образом о Марии Анатольевне, то никаких сил у нее не осталось, и она в голос заплакала, зарыдала с какими-то неприятно квакающими захлебывающимися закатываниями. Демьян Николаевич даже взял ее за локоть и стал шептать ей на ухо, чтоб она успокоилась. Но какое там!

На поминках Дина Демьяновна выпила три рюмки холодной водки и, не опьянев, успокоилась и стала приглядываться к людям, собравшимся за печальной трапезой.

Люди были внимательны и добры друг к другу, никто не шумел, никто не говорил о делах, и казалось, все любили друг друга, забыв о себе.

Она почти никого не знала из родственников Скворцовых и Денисовых, из рода которых происходила Мария Анатольевна. Да и сами эти родственники, как она поняла, тоже не очень-то хорошо были знакомы между собой. Она узнала сразу сестру Сергея Александровича, которая однажды приезжала на дачу, узнала худеньких ее дочерей, и те ее тоже узнали... А остальные — все были чужие люди.

И среди них военный — молчаливый и хмурый, но предупредительный и очень какой-то весь напряженный в этой своей предупредительности, словно бы только потому и сидел он здесь за столом, чтобы кому-то помочь, не упустить случая передать горячие блины, принесенные с кухни в эмалированной миске, усталанной промасленной бумагой, передать соусник со сметаной или растопленным желтым горячим маслом, предложить молча селедку, чудом появившуюся на столе красную рыбу или

налить в опустевшие рюмки водки. Он был мрачен и казался в своей парадной форме, в золотистых погонах каким-то чужеродным и неуместно ярким за этим печальным столом и, словно бы сам хорошо сознавая это, мучился своим чужеродством. У него была гладкая, тонко обработанная парикмахером розовая шея, и весь он был гладкий, плотный и очень какой-то душистый, будто бы только что вышел из бани и из парикмахерской, будто бы довольный своей работой мастер только что вытер салфеткой его наодоколоненную розовую шею.

«Кто же это? — думала Дина Демьяновна, равнодушно встречая его ускользящие взгляды. — Неужели племянник Марии Анатольевны? Военный летчик, майор... Наверное, это ее племянник. А имя его? Дмитрий, кажется. Или Федя? Нет, все-таки Митя, если это он. Митя Денисов... А рядом? Жена? по похоже... Они и словом не обменялись».

Когда все стали выходить из-за стола и, собираясь домой, прощались с Сергеем Александровичем, Дина Демьяновна вдруг удивленно спросила у этого майора:

— А вы — Митя Денисов?

— Да, — ответил майор и досадливо поморщился, словно бы сожалел, что он — Митя.

Сергей Александрович, сидевший все время безучастно и лишь изредка произносивший с болезненным вздохом одно и то же: «Да-а-а»... — теперь вдруг встрепенулся, увидев, что Митя поднялся тоже, и с неожиданно старческой, плаксивой нетерпеливостью воскликнул:

— Мить! Митенька! Ты-то куда?! Знаешь? Ведь это дочка Простяковых. Дивочка наша. Посиди ты, пожалуйста... Не торопись. Куда тебе торопиться?! Ты бы остался почевать у меня. Я уж даже не знаю, как я теперь один... Мить, слышишь?

— Да, дядя Сереж, все слышу.

А Сергей Александрович в унисон ему откликнулся:

— Да-а-а, — протяжно выдыхая из себя свою тоску или утверждая ее. — Да-а-а...

У Дины Демьяновны глаза опять увязли в слезах. Без того уже опухшие, заплаканные, раздраженные до красноты, они теперь болели, словно бы слезы стали ядовитыми.

А Митя Денисов опять нахмурился.

— Давайте по рюмочке, — сказал он.

И всем налил водки, а себе, так сверх, разлив на скатерть.

— За жизнь, — добавил он.

Дина Демьяновна в расслабленности своей, в порыве род-

ственных каких-то чувств посмотрела на Митю, как на брата, и сказала:

— Да, да, надо выпить за это. За жизнь...

Сказала и почувствовала вдруг себя очень одинокой в этой самой жизни, за которую хотела пить, и очень старой себя почувствовала, не нужной здесь никому. Слезы опять начали сочиться и щекотать верхнюю губу и краешки носа: она улыбнулась виновато и, подняв рюмку, чокнулась на этот раз с Митиной рюмкой и сказала опять:

— Сергей Александрович, давайте выпьем за жизнь!

Но Сергей Александрович уже ушел в свою тоску, оцепенел, зачарованный бездумным и бесчувственным созерцанием бездны, разверзшейся перед ним.

Митя Денисов поощряюще кивнул ей, а сам хмуро и зло влил в себя водку. В этот момент Дина Демьяновна заметила встревоженный взгляд матери, которая немо смотрела на свою дочь, не решаясь ее остановить, но и не одобряя явно.

«Ну и ладно»,— подумала Дина Демьяновна и выпила водку.

— Однаво живем,— сказала она Мите Денисову, поражаясь легкости, с какой выпила эту рюмку горькой.

«Я знаю,— сказала она, глядя на него.— Я все знаю,— говорила она в молчании.— Вы сейчас чувствуете то же, что и я,— родственную близость. Странно, но я хорошо это ощущаю. Знаю, что и вам нужно мое участие, а мне нужно ваше. И вот сейчас, сию минуту, секунду вы посмотрите на меня и все поймете... Да,— сказала она ему взглядом, когда он и в самом деле внимательно посмотрел на нее через стол.— Я знала, что вы посмотрите. Мы не можем теперь пройти мимо друг друга. Я знаю это. И вы тоже знаете. Хотя никто на свете этого не знает и не догадывается об этом. Тем лучше. Я не знаю, зачем это нужно, но так оно и будет, как я сейчас хочу...»

Она давно уже считала себя способной улавливать безошибочно тайные движения чужой души, как бы предугадывая желания и чувства людей. А частые совпадения ее предчувствий с теми ожидаемыми ею жестами, словами или душевным движением, которых она собственной волей требовала от человека,— все больше убеждали ее в своей способности тонкого психолога или даже в задатках гипнотического какого-то свойства.

Ей иногда казалось, что люди слышат ее мысли и подчиняются ей. Она, пожалуй, боялась этого своего качества, и оно несколько не радовало ее, потому что человек, которого она заставляла оглянуться, с подозрительной внимательностью разглядывал ее, словно бы она его разбудила, и он не совсем ясно

понимал спросошня — зачем. В эти мгновения она сама себя чувствовала изучаемым объектом, и ей иногда чудилось, что она просто-напросто громко окликала людей, а они, оборачиваясь, не могли понять, зачем их окликнули.

Так и Митя Денисов поглядел на нее с подозрением, когда она все сказала ему, заставив посмотреть на себя. Он словно бы задумался о сказанном ею и, словно бы тоже разбуженный, никак не мог понять — зачем все это.

И Дина Демьяновна, опьяневшая и расслабленная, выручила его.

— Митя, — спросила она, — а мы с вами виделись в детстве? Были такие случаи или нет? Что-то я не помню. С Колюней — да, а вот с вами...

— Нет, наверное, — отвечал Митя Денисов, хмурия лоб. — У меня отец был военным, мы и не жили в Москве. Так только, наездами...

— Значит, вы по стопам отца?

— Семейная традиция... У меня дед был военным.

— Вы в отпуске или служите в Москве?

— Нет, служу не в Москве...

У него была странная манера говорить. Он всякий раз напряженно гнул шею, набычивался, смотрел исподлобья, поигрывая дымчатыми глазами, и отвечал так, будто делал одолжение.

— А в Москву надолго? Или только... на похороны?

На этот раз он вздохнул и ничего не ответил.

— Простите, — сказала ему Дина Демьяновна. — Можете и не отвечать.

Она хотела было подняться из-за стола, но Митя Денисов покраснел вдруг и сказал ей виновато:

— У меня совершенно дико болит голова. Горько болит! Ничего не соображаю...

И опять Дина Демьяновна заметила вдруг своих тихих старичков, которые сидели рядышком около Сергея Александровича, поникшие и печальные, а сами искоса поглядывали все время на дочь. Они видели, конечно, что Дина Демьяновна слишком много выпила, не рассчитав своих сил, а теперь все больше и больше возбуждается, забывая, где она и почему... Их смущали раскрасневшиеся ее щеки, громкий ее голос и слишком уж явное внимание к Дмитрию. Им казалось, что все, кто остался, тоже замечают это и осуждают их дочь.

«Неужели она не понимает, что это неприлично? — с тревогой думала Татьяна Родионовна. — Она, того гляди, рассмеет-

ся...— И печально поглядывала на Демьяна Николаевича, как бы спрашивая его:— Ты-то хоть понимаешь, как бестактно ведет себя твоя дочь?»

«Да,— отвечал ей взглядом Демьян Николаевич.— Ей совсем нельзя ни рюмки. Она теряет разум. Но что я могу поделать?»

Им было очень стыдно за те взгляды, которые бросала их дочь на Дмитрия, до отвращения всем понятные, как им казалось, в своей загадочности и серьезности.

Татьяна Родионовна бледнела, поджимала сухонькие свои губы и, словно бы копируя дочь, с той же заглядывающей в душу манерой пристально смотрела на своего печального мужа.

«Ты понимаешь, что это уже переходит все границы? — говорила она ему взглядом.— Скажи ей что-нибудь, сделай так, чтобы она перестала позорить нас с тобой».

— Дема,— сказала она ему наконец,— пора и нам собираться. Надо Сереже отдохнуть. Зови Дину.

Но Сергей Александрович встрепенулся, услышав это, и взмолился:

— Останьтесь, братцы... Не оставляйте меня одного. Вам-то куда уж спешить?

И они вынуждены были остаться.

Дина Демьяновна и сама чувствовала, что слишком опьянела и ведет себя довольно странно для такого случая. Но Митя ей нравился, и она не могла ничего поделать с собой. Ей даже нравилось, что у него болит голова и он съел две таблетки анальгина, которые она ему дала. Как будто бы в этом заключался какой-то тайный смысл, понятный только ей и ему: две таблетки из ее рук, прикосновение его руки... Все это было очень важно и очень серьезно, и никто этого не понимал, кроме них.

«Я все должна рассказать ему,— думала она.— Он все должен знать обо мне. Как брат... Или, вернее, нет... брат совсем не то... Я все ему расскажу...»

А Демьян Николаевич, не на шутку уже встревоженный ее поведением, сделал тогда вот что: он подсел к Мите Денисову, мельком оглядев погоны, и, отвлекая его на себя, спросил:

— Как служится? С семьей здесь или один?

— Папа!— громко сказала ему Дина Демьяновна, и это прозвучало чересчур оживленно.— Папа, у Мити болит голова, и он ничего не соображает. Оставьте его в покое.

Это совсем расстроило Демьяна Николаевича, а Татьяна Родионовна, услышав бесперомонное одергивание, сделалась со-

вершиной белой, и на дряблых ее щечках выступили красные пятна.

— Я ведь не тебя спрашиваю,— вежливо, как только мог, возразил ей Демьян Николаевич.

— Да, я тут один,— отвечал Митя Денисов.— А служится... Это, как говорится, грудь не в орденах... одни значки...

— Хорошо!— сказал Демьян Николаевич, заглядывая ему в глаза.— Это прекрасно! Значит, мир на земле. Вашему брату только на войне ордена плывут. А сейчас все больше дояркам дают, спортсменам, хлопкоробам... И это хорошо!— воскликнул он опять.— Значит — мир! Так и должно быть. И не мечтайте об орденах. Упаси вас господи, как говорится.

— Папа, ну что за околесицу ты плетешь?! Не мечтайте! Почему?

В последнее время стал замечать Демьян Николаевич, как это ни горько ему было, что дочь его сделалась слишком петерпима ко всему, что он ни скажет, и часто вот так же прерывала его, обвиняя в глупости, словно бы остановить его спешила, чтобы он не казался ей уж очень смешным. Это всегда было обидно слышать от дочери, и обида всякий раз сводила ему губы в скорбную складку кротости и боли, он умолкал, с тихим укором взглядывая на дочь, точно хотел кротостью своей притупить ее.

Но на этот раз не уступил. Глаза его похолодели, и он сказал с перехваченным дыханием:

— Тебе не кажется, что ты меня с кем-то путаешь?

К чести Дины Демьяновны, она не утратила с годами способности быстро взглянуть на себя со стороны и дать самооценку.

— Разве? — спросила она виновато.— Прости, я не совсем поняла... Я обидела тебя? Прости, я не хотела. Да, я понимаю, понимаю, ты совсем о другом... Прости, пожалуйста.

Митя Денисов вышел из комнаты и долго не возвращался. Дине Демьяновне совсем не так хотелось расстаться с ним, и она с нетерпением ждала его, надеясь, что он выйдет покурить на лестницу.

Небо под вечер, сплошные мутные облака, пропиталось закатной желтизной, было тепло и липко, словно все было залито растаявшим крем-брюле... Крыши домов, мостовые, позеленевшие тополя — все уже погружалось в дымку весенних сумерек. И воробьи примолкли. Наступала гулкая тишина, какая бывает в Москве только весенними вечерами. Что тогда происходит с Москвою, трудно понять: то ли после зимней снежной

тишины звуки оживают в обнаженном еще городе, то ли люди, отвыкшие за зиму от гулкости каменных кварталов, таят в себе по привычке зимнюю глухоту улиц, и оттого в сознании как бы уживаются сразу два эти явления — тишина и гулкость. Ухо ловит новые звуки — гулко разгоняющийся автомобиль, крик ребенка, подвывания электромотора; все они ярко и округло вплетаются в весеннюю сырую тишину вечера, в тот душистый воздух, с которым тоже происходят всякие чудеса весной: похоже, что он тоже цветет и распускается невидимой глазу зеленью.

Словом, наступила эта теплая тишина под желтоватым, мутным небом.

«А она умерла, — с тоской подумала Дина Демьяновна. — Ее теперь нет нигде и никогда не будет. А я, как дура последняя, напилась и влюбилась в ее племянника. Глупо и бессмысленно. Он племянник, а я кто? Я для всех тут — никто. Но я любила Марию Анатольевну! Любил ли кто-нибудь ее, как я? Вот и пришла и... ах, как все-таки стыдно! Ну их всех в болото. Неужели он ушел?»

Но он вернулся и уже от самой двери посмотрел на Дину Демьяновну долгим, протянувшимся через всю комнату и словно бы провисшим, как веревка, значительным и тяжелым взглядом.

Он подсел к ней и тихо шепнул:

— На улице благодать. Вы далеко живете?

А узнав, что не очень далеко, предложил прогуляться.

— Голова пройдет, — говорил он, — а вы тем временем расскажете о тете Маше. Я ведь ее почти совсем не знал.

Демьян Николаевич и Татьяна Родионовна оглушенно и немно смотрели, как их дочь поднималась, как прощалась с Сергеем Александровичем и как вышла, не посмеяв взглянуть на них и сказать хотя бы, куда она и надолго ли...

Поздно вечером они вернулись усталые и разбитые домой, позвонили, надеясь, что им откроет дочь. Но никто не вышел на звонок, который так и умер без отклика в могильной тишине темных комнат.

Когда они зажгли свет, то на столе увидели записку, прижатую хрустальной вазой. Татьяна Родионовна, предчувствуя неладное, дрожащей рукой надела очки и, прочитав, посмотрела с ужасом на Демьяна Николаевича.

А тот затрясся вдруг в сдавленном хохоте, похожем на рыдания, и, махнув рукой, пошел прочь от стола к окну и там, остановившись, продолжал вздрагивать и колыхаться согбенной спиной.

— Сошла с ума!— крикнул он вдруг и рванул на себе галстук.— Не-про-сти-тельно! Уехать на дачу с незнакомым мужчиной на ночь глядя... И когда?! В день похорон! Нет, она сошла с ума. И нас решила тоже... Я знать ее больше не хочу! Уехать с женатым человеком... И это моя дочь?! Ну что ты молчишь?!

Татьяна Родионовна стояла ошеломленная посреди комнаты, так и не сняв с головы черный кружевной шелковый платок, а в руке у нее дрожал, как живой, исписанный листок. И слышно было дрожащее шуршание бумаги.

— Не кричи,— сказала она тихо.— Это твоя дочь, да.

— И твоя тоже!— выкрикнул Демьян Николаевич, и лицо его исказилось в мгновенной вспышке ненависти.

— И моя тоже, успокойся.

— Как успокоиться?! Ты что говоришь?! Дмитрий женат и у него дети. А наша дрянь...

Татьяна Родионовна вдруг пошатнулась и истопным ором провизла Демьяна Николаевича:

— Не смей кричать! Не смей! На несчастную... мою...

И, не договорив, заплакала.

Что уж было потом с бедными старичками, можно, конечно, и не рассказывать: столько слез было пролито, столько капель и успокоительных таблеток выпито Татьяной Родионовной и Демьяном Николаевичем!

Они, конечно, никак не ожидали от дочери такого преступления, такого надругательства над их святыми истинами, которыми они были живы от рождения и до старости.

А когда стало уже рассветать, они с горечью решили никогда больше не вмешиваться в личную жизнь дочери, которая достигла того зрелого возраста, в каком они сами когда-то встретили войну.

Диве Демьяновне было уже тридцать шесть лет... Ну, а им было тогда под сорок.

Они словно бы опомнились после тяжелого забытья, когда попытались представить себе зрительный образ всех этих прожитых отлетевших тридцати шести лет, сумели с неожиданным

и удивительным откровением поставить себя на место дочери, воплотиться в ее годы и глазами ее сверстников взглядеться во круг.

Они, конечно, и раньше частенько удивлялись и тихо грустили, глядя на свою давно уже взрослую дочь, но на этот раз случилось какое-то маленькое чудо: Демьян Николаевич и Татьяна Родионовна с облегчением осознали вдруг, что дочь их и в самом деле давно перестала быть той милой и беззащитной Диночкой, которой нужны были папа и мама, и что теперь и для них наступила пора отдохнуть от волнений и тревог, похожих на волнения суматошных каких-то птиц, выкармливающих птенца.

Им даже смешно стало, когда они вспомнили себя в этом возрасте.

Это их душевное состояние было, конечно, похоже на состояние человека, изобретшего и построившего в конце двадцатого века велосипед, но как бы то ни было, оба они сели на этот прекрасный и единственный в своем роде велосипед и легко покатались по тихой и ровной аллее, сознавая себя счастливыми первооткрывателями... Да, их дочь, славная их Диночка, уважаемая и любимая Дина Демьяновна, сама давно уже вправе строить свою жизнь так, как ей нравится, и поступать в своей жизни так, как ей подсказывает совесть. А сами они теперь будут поглядывать на нее как бы со стороны и, памятуя, конечно, о том, что Дина Демьяновна все-таки их родная дочь, будут, однако, больше думать о себе, неся за плечами тяжесть всех своих прожитых лет.

Татьяна Родионовна и Демьян Николаевич словно бы впервые вспомнили вдруг о себе, а безумная, всепоглощающая их любовь к дочери — эта вечная их боль — вдруг утихла, отболела и отвалилась болячкой.

— А иначе нельзя. Иначе мы просто сойдем с ума и никому не будем нужны, — говорил Демьян Николаевич, веря в то, что теперь для него начинается новая, спокойная и беспечная жизнь.

— Да, Дема, да. Я тоже обдумала все и решила: пусть живет как знает. В конце концов, не для нас с тобой она родилась на свет. Надо спокойней ко всему относиться.

Так они убеждали в эту тревожную ночь друг друга, стараясь поверить в те свои новые ощущения, которые как будто бы уже поселились в них, но и Демьян Николаевич и особенно Татьяна Родионовна втайне понимали и чувствовали, что это мечтательное их состояние, все эти надежды на спокойную

жизнь так и останутся мечтанием. Но в эту бессонную ночь после похорон им хотелось думать и знать, что теперь они будут жить по-новому, а та грань, которая отделила их от дочери, будет спасительной вехой, и они еще сами сумеют хорошенько и славно пожить для себя.

Оба они до сих пор считали, что в жизни их не было дня, который бы они прожили только лишь для себя. И они были правы по-своему. Демьян Николаевич жил для милой Татьяны Родионовны, оберегая ее от всех жизненных невзгод, а та, в свою очередь, жила для него, больше всего на свете боясь остаться вдовой, и оба они жили для дочери, желая видеть в ней и в ее вероятной семье самих себя. В жизни своей они и в самом деле не знали душевного покоя, и никогда еще до сих пор их не посещали эгоистические чувства. Они, конечно, что-то делали и для людей, среди которых жили: Демьян Николаевич честно работал и был отличным специалистом своего дела, а Татьяна Родионовна растила дочь, вела, как умела, домашнее хозяйство и к вечеру каждого дня была вправу бы пожаловаться на усталость, хотя и не делала этого никогда. Если бы им кто-то сказал, всерьез или в шутку, что оба они всю жизнь прожили лишь для себя, они бы очень обиделись.

Но было бы несправедливо, наверное, сказать о них такое, потому что вся их жизнь, при всей ее внешней незначительности, была примером верности друг другу, вечной влюбленности друг в друга, души их были преисполнены любви ко всему живому, а тот маленький кусочек жизни, который выпал на их долю, они сумели слабыми своими силенками украсить такой нежностью и любовью, что им даже казалось порой, что они самые великие счастливцы на земле, недостижимые в своей гениальности, люди, познавшие, как никто другой, тайны вечной красоты жизни.

Впрочем, никто из людей, знавших доброе семейство Простяковых, и не подумал бы сказать о них что-то обидное и недостойное: ни у кого бы язык не повернулся на дурное слово.

А в эту весеннюю ночь Демьян Николаевич и Татьяна Родионовна чувствовали себя заговорщиками, посягающими на святую, и в тайных своих страстях, в своем полупешотном бунте казались сами себе жестокими и безжалостными злодеями. Они всегда хорошо понимали и безошибочно чувствовали друг друга, а потому в эту ночь были особенно ласковы и нежны; злодейские же свои страсти оправдывали благоразумием, которое снизошло на них в эту первую ночь после похорон.

— Так будет лучше и нам и ей, — говорил Демьян Николае-

вич. — Самый, конечно, оптимальный вариант — жить отдельно, разменять эту квартиру на две однокомнатные. Но это трудно себе представить, такой вариант...

— Да-а, уж это ты слишком, Демочка, — говорила Татьяна Родионова. — И без того-то бог знает что надумали... Но я согласна: так ей будет лучше.

— И ей, и нам с тобой, — подчеркивал Демьян Николаевич.

— Да, Дема, может быть, и нам, — соглашалась с ним Татьяна Родионова.

20

Дождит еле-еле. Небо в жиденьких туманных облаках. Озаренное на закате солнцем, оно излучало теперь внутренний свой сердоликово-мутный свет. И земля была вся в этом небесном озарении. Даже воздух и тот порозовел.

В лесу верещали, свистели и квохтали дрозды. А дождичек не переставал, хотя и незаметен был совсем: легкие капельки его, казалось, повисли в вечерней розовости, и только кожей лица улавливала Дина Демьяновна щекотное прикосновение теплого этого буса.

Талая вода тускло розовела в коричневых сумерках. Донесли издали два выстрела. И кажется, впервые за все время пути Денисов вдруг оживился:

— По вальдшнепу кто-то... Да-а! Сегодня тяга!

И тут схватил за рукав Дину Демьяновну, остановил ее и прошептал, глядя поверх коричневого дыма голых берез:

— Слышите?! Летит... Слышите?

Но вальдшнеп пролетел стороной, и за шумом дроздов Дина Демьяновна не расслышала странного звука, отдаленно похожего на урчание весенней лягушки, который так взволновал Денисова.

— А ну, давайте-ка постоим, — опять шепотом сказал он. — Тихо! — приказал он, хотя Дина Демьяновна и рта не раскрывала. Сам же он весь напрягся, вслушиваясь в весенний лес.

— Не знала, что вы охотник, — шепнула Дина Демьяновна.

А он сразу обмяк, усмехнулся и махнул рукой.

— Какой уж! Так, прихватило вдруг... Вспомнилась молодость. На охоту я последний раз года два назад выезжал, да и то... В наших степях утки только и зайцы. А тут вдруг дуплет, вальдшнеп... Снеговой водой пахнет! Где мы? Далеко еще? Чтой-то мы с вами сегодня?! Вы не жалесте?

— А вы?

Он в ответ громко рассмеялся.

— Нет, конечно, но боюсь, нас неправильно поймут.

— Хотите, вернемся...

Ей и самой эта неожиданная поездка показалась вдруг нелепой затеей. Только теперь, на лесной дороге, она словно бы опомнилась, подумав о том, что неизбежно наступит завтрашний день возвращения домой, осуждающие глаза матери, угрюмый взгляд отца... «К черту, к черту!» — успела подумать она.

— Я этого не люблю,— сказал Денисов, кладя ей руку на плечо.

— Чего вы не любите?

— Возвращаться с полпути.

По тону его голоса Дина Демьяновна поняла, что он вкладывает некий значительный смысл, говоря о возвращении с полпути. Но не удивилась и не обиделась.

— Ну что ж,— сказала она вызывающе.— Грешить так грешить.

Она хотела ясности. И как это ни странно, хотела заранее договориться с Денисовым обо всем. Ничто так не пугало ее в эти минуты, как та неловкость, в которой она может оказаться перед этим человеком. Ей страшно было представить себе, как он начнет говорить ей слова, обычные в подобных случаях и неискренние, будет гладить ее колени, обнимать, дурея от собственной страсти. А она будет терпеливо притворяться, разводить его руки, сопротивляться... Бог ~~тм~~ мой! Зачем?

Ей хотелось перепрыгнуть все эти условности поведения и просто прийти в холодный дом, зажечь керосиновую лампу, растопить печь, согреть простыню и одеяло, постелить возле горячей печки, раздеться, лечь и сказать, как мужу, с которым прожито много лет: «Бросай сигарету...»

Черт знает что кружилось в ее голове, когда она молча шла рядом с Денисовым, который, услышав это ее: «Грешить так грешить», — растерялся, примолк и надолго задумался.

«Ну разве нельзя представить себе, что мы муж и жена?— спрашивала Дина Демьяновна.— Хотя на какой-то миг представить все это и не ломаться друг перед другом, не играть в любовников. Мы взрослые люди и понимаем друг друга, хотя я ничего не знаю о тебе. Только не вздумай говорить мне, что ты не любишь жену! Никогда не смей! Эти признания ей не нужны, а мне тем более. О чем ты задумался? Ты ведь знал, зачем мы поехали в этот пустой и холодный дом, и я тоже знала. И не будем притворяться, играть в случайность. Мы се-

годня муж и жена. Мы с тобой прожили тысячу лет и просто давно не виделись и отвыкли друг от друга».

Все выходило просто и ясно в сознании, и она удивлялась, почему невозможно все это так же просто и ясно сказать сейчас, спю минуту Денисову, объясниться с ним и как бы уйти из мира людей, и из мира их отношений, отключиться на время, а потом все это забыть. И чтоб не было никому от этого плохо, и конечно же в первую очередь его жене, его детям и ему самому.

Они обходили грязь и лужи на дороге, и так это у них получалось всякий раз, что он обходил слева, а она справа. А потом, посуху, они опять шли рядышком, но снова молча расходились, точно им это очень нужно было: остаться хоть ненадолго один на один со своими чувственными переживаниями — ей с ее бредовой идеей отрешиться от всех условностей, а ему хоть как-то понять странную эту поездку, странную женщипу и странную свою роль во всей этой истории.

Он тоже очень хотел объясниться с ней, но его беспокоили совсем другие соображения: ему надо было как-то дать ей понять, что она не может ни на что рассчитывать в дальнейшем — он женат, у него семья, и это, конечно, свято для него. Ему хотелось каким-то деликатным образом высказать это свое беспокойство, потому что больше всего его пугала возможность какого-то продолжения в дальнейшем.

Ни Демьян Николаевич, ни Татьяна Родионовна не могли бы себе представить и сотой доли того, о чем думала в этот поздний вечер их дочь, идя рядом с Денисовым по весенней, размолоченной дороге.

...А над этой дорогой неожиданно-негаданно появился вдруг вальдшнеп, ворвался в сознание резким и пронзительным свистом, скрежещущим, как показалось Дине Демьяновне, и жвакающим, грубым побряхтыванием, и Денисов вскричал, запрокинув голову и хватаясь за фуражку:

— Вот он! Ты смотри! Над головой прошел... Бах! Бах!

Странная, взъерошенная птица наискось пролетела над дорогой и, теряясь в сумерках, мелькнула и скрылась за коричневой мутью берез, и свистки ее тоже скоро затихли.

— А лес-то! — опять возбужденно воскликнул Денисов. — Молчит лес! Как мы его прозевали?! Я над головой у себя только и услышал его!

— Я тоже, — отвечала ему Дина Демьяновна, не совсем понимая его восторга.

— Это был верный вальдшнеп! Его даже нельзя было бы

сразу стрелять, надо было отпустить метров на двадцать и бить в угол,— говорил Денисов, учащенно и радостно дыша.— И упал бы на чистое местечко! На эту поляночку... Ах, какой был бы выстрел! А вы говорите — охотник! Разве ж я охотник?! Охотник стоял бы сейчас в лесу и стрелял в этих хрипунов... Хотя, впрочем, в Подмоскowie уже закрыта, наверное, весенняя охота. Да, конечно, закрыта. Ну ладно хоть это, а то ведь просто сердце вон... Вы понимаете, Диночка?

— Понимаю... Значит, не зря вас вытащила из города,— сказала она удивленно и, покачав головой, добавила:— Интересный вы человек!

А сама подумала с холодком в душе, что вальдшнеп этот пролетел совсем некстати. И это было похоже на какую-то глупую и безрассудную ревность. Подумаешь, вальдшнеп! Ну и что?!

В полном уже мраке подошли они к дому, с трудом отперли заржавевший за зиму замок и со спичками в руках вошли в погребную тьму, в холодное и плесенное нутро дома, пребывающего в зимней спячке.

Холодное стекло керосиновой лампы сразу же запотело. Чахлый огонек затрещал в мутной колбе, слабо освещая лица Дины Демьяновны и Денисова, но пламя наконец-то устоялось, распалило прояснившееся стекло и проявило в потемках комнаты старый шкаф, который словно бы пододвинулся к теплomu огоньку и, коричнево улыбаясь, простуженно и зябко скрипнул на живых половицах. Отозвались пружинным звоном и голые кровати, накрытые газетами. Побежал, заскользил прочь маленький паучок, свивший паутину под куполом темного абажура. Оконные стекла, затемненные снаружи двустворчатыми ставнями, с холодным равнодушием отразили в своей водянистой черноте сумрачное убожество нежилой комнаты, и Дина Демьяновна увидела пар изо рта Денисова.

— У нас как в охотничьей избушке,— сказала она в смущении.— Дрова и растопка за печкой, крупа, сахар, соль и чай в шкафу. И кажется, коробка мясных консервов.— Она засмелась.— Одно время папа даже оставлял бутылку водки на столе. Он очень смешно рассуждал: он говорил, что если в дом заберутся воров, а всех воров он считает пьяницами, то они сразу же увидят бутылку, понюхают ее, как крысы, обрадуются и выпьют, а потом подберут, скажут спасибо хозяину и уйдут.

— Помогало?

— Воров не было!

— Не знали, что для них бутылочка припасена?

— Может быть. А водку папа весной настаивал на почках черной смородины, она делалась зеленая, как шартрез, и мы устраивали весеннее новоселье. Приезжали Сергей Александрович и, конечно... Господи! Такая веселая была! Молодая! Любила эту зеленую водку, любовалась ее цветом и называла старой киплинговской коброй, потому что водка, как все считали, оберегала наше «богатство», плесневеющие сокровища, хламиду нашу охраняла. Но знаете,— сказала Дина Демьяновна,— летом здесь просто чудо!

Денисов все еще пребывал в состоянии растерянности и озаченности: он то хмурился, то улыбался, и видно было, что он недоволен собой. Он пытался шутить.

— И давно папа отказался от своей идеи? — спросил он с улыбкой.— Я бы сейчас не прочь... И как это мы с вами оплошали... А где, вы говорите, дрова?

— За печкой.

Дымоход, казалось, законопачен был холодной весенней сыростью, и дым попола из топки, опадая клубами на пол, словно бы тоже был холодный и оттого особенно едкий и вонючий. Запахло зловонным пожарищем, залитым водой. В комнате стало как будто еще холодней. Огонек керосиновой лампы, и без того тусклый, совсем покраснел. Окна, только что сиявшие чернотой, запотели. Заслезились глаза.

Денисов с Дивой Демьяновной стояли у распахнутой двери и обреченно смотрели на сизый дымволок, не зная, что делать. Оба они очень устали за день, и теперь это сказывалось: тяжкая сонливость и безразличие придавили их души. А когда дым почти иссяк, они увидели в топке черные хлопья полусожженных старых тетрадей и прокоптившиеся на бумажном дыму поленья. Даже искорки не заметили они в этой посапывающей черноте.

Пришлось начинать все сначала, вспоминая нехитрую науку растопки печей, и, перепачкавшись сажей, они наконец-то разожгли в топке ворох лучины. Трескучий огонь метнулся в глубь топки, жар пробил холодную пробку в дымоходе, и они обрадовались, увидев, как огонь стал облизывать и обласкивать черные поленья, услышав, как затрещала, корежась, береста и как загудело воскресшее нутро печи.

На этот раз не понадобились старые тетради, которые приготовила уже Дина Демьяновна, достав их из-за печи.

Она сама впервые попала в это неуточное время на дачу. Обычно сюда первым приезжал Демьян Николаевич и приво-

дил все в порядок. И теперь была очень смущена перед Денисовым, словно бы обманула его, загатила на дачу, как хозяйка, а сама теперь не знала, где чистое ведро, где посуда, чайник, и вообще не знала, как им пережить, скоротать в продыmlенном доме весеннюю ночь.

— Вы, наверное, ругаете меня, да? — спросила она.

— Чепуха, — отвечал Денисов, понимая ее. — Найдем ведро, принесем воды, вскипятим чайник, заварим чифирь... Все будет хорошо. По чашке черного сладкого чая, чтоб огонь по жилам, и вот увидите — оживем.

Но ведра они так и не нашли, и Дина Демьяновна, вслух уже поругивая отца, не могла себе представить, куда он мог запрятать его. Ладно, хоть чайник нашелся.

— Может, из бочки возьмем? — спросила она робко. — Талой? Я где-то слышала, что талая вода самая полезная, что даже птицы своих птенцов... В общем, живая вода. У нее, кажется, даже структура совсем другая, чем у обычной. Может, попробуем?

— Руки бы сполоснуть, — сказал Денисов. — С мылом... Я, конечно, за любую воду — был бы чай. И дверь, наверное, пора закрывать. Что-то я никогда еще так не уставал, — признался он с вялой улыбкой. — Черт знает что! Никаких сил. И знобит...

Железная бочка на углу дома была полна до краев, и вода успела отстояться. Ледяной панцирь, плитой лежавший еще на теневой стороне дома, с глухим хрустом обломился под ногами Денисова. Дина Демьяновна светила с крылечка лампой, пока он во тьме набирал плескучую воду в чайник. В безмерной тишине сырой ночи вода с радостным каким-то чмоканьем и плеском бежала через край бочки на землю, в объятия родной стихии. Но вот умолкла опять, притаилась, обмерла в железной своей клетке.

В сырой ночи хорошо был слышен далекий ноезд, но чудилось, будто он шумел за ближним лесом, будто даже земля, напрягая свои мускулы, нервно зудела под ногами, с трудом уже перенося небывалую тяжесть бесконечных стальных колес.

Когда в распаренной комнате, в которой не только окна, но и шкаф уже запотел, с грозным шипением взорвалась на раскаленной плите вскипевшая вода, Дина Демьяновна, из последних сил борясь со сном, бросила на стол старую школьную тетрадку и, подхватив полотенцем шипящий чайник, тяжело и глухо опустила его на бумажную подстилку, высыпала в него пачку индийского чая и укутала тряпьем.

На голую кровать она бросила старую отцовскую шубу, изъеденную молью, и Денисов, полуразвалившись на ней, дремал.

Они, как гонимые бедою беженцы, добравшиеся наконец-то до теплого ночлега, были в эти минуты настолько равнодушны ко всему остальному на свете, настолько весильна была власть беды и усталости, настолько важно им было хоть на минуту провалиться в сон, что понадобились огромные усилия Дине Демьяновне, чтобы еще раз подняться из-за стола и достать посуду и сахар из шкафа. Она забыла про ложки, но это уже было неважно, и она сквозь смежающиеся ресницы, сквозь мерцающую паутину увидела спящего Денисова, улыбнулась и, распластав руки на клеенке стола, коснулась лбом и щекой мягкого их тепла и тут же в нетерпении заби-лась.

Она впервые в жизни испытывала это очень странное состояние полусна: чувствовала подкорковым сознанием, что спит, что ей очень легко и необъяснимо сладко спать, но в каком-то сомнамбулическом сосредоточии с необыкновенной ясностью понимала движение времени, разделенного на медлительные вздохи секунд и на огромные, неподвластные разуму, неторопливые и бесконечные минуты. В этом чутком сне она словно бы воочию созерцала время, которое проплывало в ее сумеречном сознании тихо и плавно скользящей серебристой лодкой, освещенной звездами.

И когда Дина Демьяновна, вздрогнув, вернулась на землю, она знала, что прошло ровно семь минут с тех пор, как она прикорнула на расслабленных руках. Почему именно семь, она не могла бы объяснить, но твердо знала, что спала ровно семь минут, которых оказалось вполне достаточно, чтобы опять взбодриться.

Чай к этому времени хорошо настоялся и был еще огненно-горяч. Она достала стальные нержавеющие ложечки, купленные когда-то специально для дачи, звякнула ими, надеясь, что Денисов услышит и проснется. Но разбудить его оказалось не просто. Он, как ребенок, вспотевший во сне, страдальчески морщился, отворачивался от нее, шарил руками в поисках несуществующего одеяла, хмурился, рассерженно бубнил что-то невнятное и бранчливое, отмахивался, а в довершение всего вдруг агрессивно и пружинисто приподнялся на локте и, вскинув голову, мутно и зло вперился в Дину Демьяновну, в свою врагиню, которая вторглась в блаженный сон. Какое-то подобие ужаса вдруг стерло выражение зла и ненависти на его

лице, и он, не узнавая ее улыбки, ее взгляда и ее самое, обмяк опять и бубнящим баском спросил:

— Я, кажется, дрыхнул без задних ног? Разве сегодня... ночные? Фу, черт! Я ведь... Ты что-то путаешь... Ладно, ладно...

Денисову только что казалось, что его будит жена, что у него ночные полеты и пора идти на предполетное построение, но теперь, когда он пытался сбросить с себя оцепенение сна, ему жутковато стало оттого, что он, просыпаясь, видел перед собой жену, которая трясла его за плечо, но вдруг вместо жены, которая только что стояла над ним, улыбулась ему другая женщина, по-другому красивая и совсем непохожая на Катю. Он даже прижмурил один глаз, словно у него двоилось, но и тогда вместо жены над ним возвысилась другая, соблазнительно ласковая, но нереальная в своей потусторонности женщина. И пока он выкарабкивался из олушительного и вязкого сна, она беззвучно шевелила губами, утопая в коричневом каком-то свете, и снова возвращалась, материализуясь, обретая опять объемные формы и теплую плоть. Он почувствовал прикосновение ее руки и наконец-то услышал ее тихий смех и голос:

— Митя, чай остынет. Вставайте.

Он с ужасом вспомнил все: похороны, поминки, лесную дорогу, дым из печки — хотя никак не мог припомнить имени этой женщины. Он знал, что имя не совсем обычное и короткое, но какое?! Кира? Алла? Ему вдруг в нетерпении представилось, что ее зовут Аллой. «Ну конечно, Алла», — подумал он.

— Простите, Аллочка, — сказал он, протирая измятую, изрубцованную щеку.

Но, услышав звучание незнакомого имени, понял, что ошибся, и ужаснулся опять, проваливаясь в едкий стыд.

— Совсем обалдел, — сказал он, разозлившись на самого себя.

— Митенька, меня Динкой зовут, — смеясь, подсказала ему Дина Демьяновна. — Просыпайтесь скорее... Вы как ребенок, ей-богу!

— Я знаю, — проговорил он мрачно и сел к столу. — Не обижайтесь. Согласитесь, такое не часто... я никак не мог сообразить со сна, где я и что происходит...

— Теперь сообразили?

Он не ответил и стал накладывать куски сахара в чашку: два куска, три, четыре и пять... Подумал и положил шестой.

Дина Демьяновна, стыдась своего глупого, рвущегося на волю смеха, налила ему густого, как кофе, чаю. Он молча и хмуро забренчал ложечкой, глядя себе в чашку, а потом, обжигая

ясь, шумно потянул губами этот черный и сладкий настой и, сделав первый глоток, тут же опять и опять торопливо прихлебнул по-стариковски и тогда только выдохнул хрипловато:

— Да-а-а... Хорошо.

А Дина Демьяновна, словно бы по сигналу, тут же отпустила свой смех, распивший ей горло и грудь.

— Я не над вами,— говорила она сквозь слезы.— Честное слово! Просто смешно...

Хотя она именно над ним и смеялась, не в силах вспомнить без смеха его ворчания, его мутного взгляда и ужаса, который вдруг смял его, когда он увидел перед собой ее, бормотания его полусонного, и конечно, Аллочку...

— А кто такая Аллочка? — спрашивала она.— Это ваша жена? Ее Аллой зовут?

— Нет,— отвечал Денисов.— А Аллочка — это никто. Звук. Пришел в голову звук, я и... Конечно, смешно... А вот тут,— сказал он, отодвигая чайник и всматриваясь в полинявшие лиловые чернила на обложке тетрадки, измазанной сажей.— Смотрите-ка, тут написано: «по арифметике, ученика четвертого класса «А» Скворцова Коли...» Его рукой. Его тетрадка по арифметике. Вы хорошо помните его?

...Ничего более неправдоподобного и унижительного не могла услышать в этот момент, увидеть, почувствовать, ощутить, осознать Дина Демьяновна. Тетрадка Колюни под закопченным чайником?! Как? Разве это возможно? Никогда и никто не видел на ее вмиг искажившемся лице более жалкого и испуганного выражения, чем то, какое увидел вдруг Митя Денисов, двоюродный брат Колюни Скворцова.

Какие-то немислимые сверхначала сшиблись в ее потрясенном сознании, и что-то похожее на вольтову дугу образовалось вдруг у нее перед глазами, ослепляя ее.

...Гроб на веревках, зависший над желтой могилой, довоенная тетрадка, придавленная грязным чайником...

И не сразу донеслось до ее сознания, что эта тетрадь принадлежала именно тому мальчику в синей матроске, который когда-то был живым и молчаливым сыном похороненной ныне Марии Анатольевны.

— Да? — тихо спросила Дина Демьяновна.— Вы шутите... Ну-ка, ну-ка? Да-а... это тетрадка... по арифметике... Колюни Скворцова? А почему? Как же она вдруг... Я, конечно, помню его. А вы? Нет, но я никак не могу понять, откуда взялась тетрадка?

— Ну как откуда? — удивленно спросил Денисов.— Дядя Сережа привез или... она сама...

— Что сама?!

— Я хочу сказать... Тетя Маша...

— Очень обидно. Я ведь совершенно не знала! Решила, что это мок... тетрадки. Где-то мои тоже... Как странно! Именно в этот день.

Дина Демьяновна приподняла чайник и, вынув из-под черного дна тетрадку, тщетно попыталась стряхнуть с нее вдавленную печать сажки. Ей вдруг почудилось, будто она не тетрадку, не ее мутно-голубую обложку, не сиреневые строчки, писанные рукой Колюнц, а нечто печальное и голубое, что было живо в ней, зачеркнула жирной сажкой.

— Ну как же так!— сказала она с тоскою.— Почему же именно в этот день?!

Денисов пытался понять все те сложные чувства, которые смяли и отбросили ее в прошлое, и, отчасти понимая мистическую ее тоску и смутенность, возникшую от случайного совпадения, от потустороннего как будто бы укора и напоминания, сам в то же время не мог и не хотел принять этого всерьез, хотя и у него что-то пугливо съежилось в душе, какая-то жилка неприятно напряглась. Но он сказал:

— А что случилось-то? — Не понимая главного, не зная о «красивом и умном юноше», который должен был прийти, но не пришел, оставшись в памяти торжественной, как засохшая гортензия, и нелепой фразой: «Самый красивый и умный на свете». — Что случилось? — повторил он с явной попыткой отвлечь ее и себя. — Ну было бы письмо с фронта или какие-нибудь стихи его, а то тетрадка! По арифметике! Я, конечно, понимаю, но... не надо, — попросил он с надеждой.

А она тихо спросила:

— Он писал стихи?

— Наверно. Тогда многие писали.

— Нет, ну а он-то? Он писал?

— Не знаю. Он не говорил. Во-первых, он на четыре года был старше меня или даже на пять, а это в том возрасте целая вечность, а во-вторых, я редко гостил у них: мой отец был военным, мы не жили в Москве. Я его любил, конечно, как старшего, но он этого не замечал. Последний раз я его видел году в сороковом, наверное, летом. Ему уже было шестнадцать. Помню, он с кем-то подрался во дворе, прибежал домой, из носа у него кровь... Он под кран умываться, а тетя Маша спокойно спрашивает: «За что это тебя?» Коля улыбнулся и говорит:

«Это у меня нос слабый». — «Ну иди, — говорит, — тогда, переодень рубашку». Это меня больше всего поразило! Если бы я подрался, мне бы от матери и от отца так бы влетело! А она понимала, что парню иногда надо и подраться. Вообще он красивый был парень, худой, мускулистый, плавал хорошо...

Дина Демьяновна слушала Денисова, и ей казалось, что он рассказывает о другом человеке. Но этот другой ей тоже нравился, и ей было приятно слушать. Какое-то странное чувство родства испытывала она, не сводя глаз с Мити Денисова, — очень острое, сильное и подавляющее ее чувство. Будто бы она слушала рассказ отца или матери о себе самой, о том, чего она не помнила и не могла знать. У нее даже голова кружилась от этого странного состояния.

— Вот уж не думала, — сказала она. — Колюня и вдруг — подрался...

— Ну почему же... Он умел драться. А кстати, почему Колюня?

— У нас так в семье повелось. И вообще я совсем другим его помню. Совсем! Что-то у меня от дыма, что ли... голова... По-моему, очень жарко, душно стало. Пойду-ка я подышу.

И она, накинув пальто, вышла.

Печка уже прогорела, и от нее исходил каленый, глиняный жар.

Дина Демьяновна долго не возвращалась, и Денисов тоже поднялся.

Она стояла на крыльце, на маленькой открытой терраске, прижавшись к деревянному стояку. Денисов оставил двери открытыми, и слабый огонек помог ему различить ее в густой тьме.

— Это вы, Митя? — спросила она так, будто кроме него кто-то еще был в доме. — Вы, наверное, жалуете, что приехали сюда? Но что же теперь... Я понимаю. А я тут даже озябла, я теперь пойду, а это... это по тропке к лесу и... там увидите. У вас есть спички?

— Да, — ответил Денисов, смущаясь. — Спасибо.

Изморось, которая совсем недавно туманом висела в теплом воздухе, обметывая лаком красные ветви кустов, траву, порожки крыльца и тропинку, теперь как будто бы обмерла в почном холодочке, потяжелела и просеялась вся на землю. Промытая тьма ночи стала еще темнее. Теперь даже шорох одежды стал явственно слышен в оцепеневшей тьме. Чудилось, будто в огромном пространстве этого ночного оцепенения только они и ос-

тались в живых, два теплокровных существа на целый мир.

— А там,— сказала Дина Демьяновна,— за домом... Там горсточка земли с могилы... и куст гортензии. По ночам цветы ее светятся. Летом, конечно, когда распускаются цветы.

— С какой могилы?

— Колонийной... Вы не знали?

— А зачем это?

— Это Мария Анатольевна... Она не хотела на кладбище... Не знаю, не знаю... Я не знаю! И не спрашивайте, пожалуйста. Ну, наверно, потому, что войны... всегда... войны, павшие на войне, не на кладбищах лежат, а в полях, на лесных опушках, возле дорог. Ну как же можно иначе! Это все ихнее... У них никогда не было кладбища, а были только могилы братские и редко... простые, одинокие, когда одного хоронили.

— Но это ведь не могила.

— Нет, конечно, не бойтесь, там просто горсть земли... Вот ведь, господи, я еще и напугала вас. Простите,— сказала Дина Демьяновна с ознобом в голосе.

— Вы плохо меня знаете. Хотите обидеть? За что?

— Я?! Ни в коем случае... Что вы! Что вы! Я просто ужасно устала! И все... Простите, Митя. Я отвратительная баба и... ненавижу себя.

Она ушла и закрыла за собой дверь, обрубив тот слабый огонек, который прокрадывался из комнаты, вылепливая возле крыльца голые ветви сирени, окрашивая их смутной, паутиной серостью. Денисов словно бы провалился в мрачный и сырой погреб. И впервые за все это время с нарастающим раздражением пожалел, что увлекся и приехал сюда и что теперь волей-неволей придется ждать рассвета в душной комнате в обществе усталой и комплексующей женщины, к которой он вдруг потерял всякий интерес.

Когда он вернулся в дом, в прогорклую и сырую духоту комнаты, в которой теперь, с улицы, явственно пахло жженым керосином и тряпьем, он увидел расстеленную кровать, накрытую рваненьким ватным одеялом коричневого цвета.

— Это для вас,— сказала Дина Демьяновна.— К сожалению, у меня нет ключей от комода, а там белье. Но это все чистое, и вы не беспокойтесь... Мама всегда проветривает и прожаривает все на солнце, выколачивает...— она говорила это и знала, что он сейчас спросит, где же ляжет она сама.— А сама я спаг не хочу, и вы не беспокойтесь обо мне,— сказала она таким тоном, что у Денисова пропала всякая охота шутить.

Он совсем не то хотел, что думала Дина Демьяновна, он хотел сказать в шутовом, конечно, тоне, что один ни за что не ляжет, но, слава богу, понял, что это прозвучало бы грубо, хотя то, что он все-таки сказал, произвело на Дину Демьяновну еще более тягостное впечатление. Он сказал:

— Вы, Диночка, так обо мне заботитесь, будто бы я здесь гость случайный, а вы хозяйка... Будем считать, что я, как промотавшийся в жизни гуляка, приехал в имение своего родовитого дядюшки. Эдакий племянничек, которому хоть и не принадлежит имение, но по праву наследства и так далее... он может надеяться, что дядюшка в своем завещании не забудет... А вы, милейшая и совершенно необыкновенная дочка управляющего... Я смотрю, вы не хотите играть в эту игру... Жаль.

И только тут он сообразил, как обидно ей было слышать это, как точно ложились условия игры на те жизненные обстоятельства, которые свели их в этом доме и которые, к сожалению, именно в такую приблизительно зависимость и ставили их...

— Я шучу, конечно,— сказал он, но было уже поздно.— Я шучу,— повторил он.

Это глупейшее «я шучу» было, пожалуй, совсем излишне в данном случае. Вообще эта присказка «я шучу» всегда неуместна, и всегда человек прибегает к ней только после какой-нибудь омерзительной нелепости или обидной грубости, сказанной невпопад и выставляющей его самого в некрасивом виде. Ох уж это «я шучу»! Кто не вспомнит среди своих знакомых такого бодрячка, который искренне считает, что присказкой этой снимает с себя вину за оскорбление, и который, не умев шутить, не владея острым словом, ляпнет глупость, рассмеется, довольный сам собой, и добавит миротворчески: «Я шучу».

Дина Демьяновна, бесконечно уставшая, приняла все это так близко к сердцу, так обидно ей стало и так жалко самое себя, что она не стерпела и заплакала. Но при этом совсем не рассердилась на Девисова; сил уже не хватало на это. И когда он, бубухающим голосом просящий у нее прощения, набухший стыдом, растерянный и жалкий, придвинулся к ней на стуле и в полутьме комнаты, словно бы силой желая унять ее слезы, инстинктивно обнял ее, привалил к себе на грудь и стал жалючи гладить волосы, а потом потихонечку робко целовать ее щеки, мокрые от слез,— когда он все это стал делать, Дина Демьяновна в покорной отрешенности притаилась, чувствуя наждак его щеки, слыша водочный перегар в его дыхании, и вдруг, помимо своей воли, будто бы иначе и нельзя было по-

ступить, поцеловала его тоже в щеку, скользяще и нечаянно, и сама же испугалась этого, и сердце у нее заколотилось так, что ей жарко стало и не хватало воздуха... А Денисов, словно бы тоже должен был, соблюдая неписанный ритуал, пойти еще дальше, и тоже, будто бы не в силах уже ничего изменить, поцеловал ее в губы... И тут рука его, повинувшись другой уже какой-то силе, сопротивляясь которой он уже не властен был, — рука его, лежавшая на плече Дины Демьяновны, скользнула вниз и легла на поясицу. А Дина Демьяновна, бездумно и безвольно, повернула голову свою так, чтобы ему было легче и удобнее целовать ее, чтоб он не очень напрягался, перегибаясь к ней, хотя самой ей и не стало удобнее от этого...

...Бессмысленность и дикость всего того, что случилось, стала понятна потом. И раскаяние пришло, и нестерпимое желание не видеть и не слышать друг друга, избавиться от необходимости слов и хотя бы какого-то обоюдного внимания, пусть самого малого...

Но это тоже пришло потом, когда голубой утренний свет прорезал щели в оконных ставнях, напомнив о возвращении домой и о жизни среди людей.

И нетерпение охватило их, они не могли больше ждать и стали быстро собираться, чтобы скорее и как можно дальше убежать друг от друга и забыть, или, во всяком случае, постараться забыть обо всем, что случилось.

Это уже на рассвете, когда водянисто и несмело запели в лесу ранние птицы, охватила их такая паническая тоска, будто даже рассвет не для них, а для тех счастливцев, у которых чистая совесть и легкий сон.

Но ночью они не могли друг без друга, и ничто не в силах было остановить или хотя бы напомнить им о будущем, о той неизбежной тоске, которая охватит их утром... Погашенный фитиль начал пахнуть: в комнате резко пахло тлеющей прокеросиненной тряпкой. И было такое ощущение, будто какая-то вселенская катастрофа постигла мир, чудом не коснувшись душной пещеры, в которой счастливо укрылись они от невзгод.

Оно было так реально, это ощущение катастрофы, они так одиноки были, так бесконечно далеки от всего того, чем жили совсем недавно, так потеряны в самих себе и в той страсти, которая одна лишь объединяла их, что Дина Демьяновна даже прошептала вдруг в удивлении и в каком-то полушутливом испуге...

— Господи, конец света... Митя, лучше потом... Я прошу... Я обещаю, но не сегодня...

Но потом были голубые щели в ставнях и странное отчаяние, охватившее их обоих.

Ничего подобного не испытывала раньше Дина Демьяновна, и у нее было так гадко и омерзительно на душе, что она порой не могла сдерживать плаксивый и вибрирующий, жалкий стон, рвущийся, казалось бы, из самого живота, из той пустоты, где ни сердца, ни души — ничего уже не осталось.

И Денисов с трудом владел собою. Он то и дело отхлебывал из чашки холодный черный чай и часто шумно и хрипло вздыхал.

— Ну вот, — сказала Дина Демьяновна, глядя в смутно осветившийся потолок.

— Что «ну вот»? — спросил Денисов.

— Ничего...

Он усмехнулся и зло проговорил:

— Если уж это ничего, то что же тогда чего?

Дине Демьяновне показалось вдруг, что он в это мгновение вполне мог бы убить ее, но она бы не удивилась, потому что нечто похожее испытывала и сама.

— И все-таки ничего... Ровным счетом, — сказала она. — Ничего! Я всю жизнь жду какого-то чуда, хочу встретить необыкновенного человека, а мне не везет.

— Тебе легче жить, — с той же едкой усмешкой сказал Денисов.

Но Дина Демьяновна словно бы не расслышала его и продолжала:

— Даже вот в поезд, в купе садишься и надеешься на какое-то маленькое чудо, а соседи твои мешки какие-то грязные везут, чавкают, едят что-то вонючее... И так горько на душе! Почему я такая невезучая? Мне всегда хотелось пробиться в большие люди... Мне хочется делать великое какое-то дело... Неужели я всю жизнь так и буду торчать в этой библиотеке? Это ужасно!.. Одиночество... Ну хорошо, я понимаю и принимаю одиночество в старости. Оно страшно, но не настолько, как в молодости. А я еще молода. Я каждое утро просыпаюсь и настраиваю себя, как какой-нибудь инструмент. Я говорю себе: я молода, я всем могу нравиться, я должна обязательно нравиться, я хочу нравиться, быть любимой и любить. Кого? Не важно! От шестнадцати до шестидесяти лет... И с этим настроением хожу весь день до вечера, а вечером мне одиноко и грустно... И даже странно оттого, что я уж и не так молода. Я просто кажусь такой молодой — я, наверное, на всю жизнь такой оставусь — девчонкой. А об этом никто не догадывается.

Папа с мамой говорят, чтобы я себе другую работу подыскала, в другой библиотеке, поденежнее, что нужно уже о пенсии думать. Пройдет всего пятнадцать каких-нибудь лет — и пенсия. Я об этом по вечерам думаю. Противно все... И люди мне какие-то попадаются: лезут, а даже не могут оценить то маленькое наслаждение, ту частичку счастья, которую им способна подарить женщина... Или пьяные какие-нибудь... Со своим инстинктом, как говорил один мой знакомый... Господи! Это совершенно непонятный человек! Когда я только узнала его, он был прекрасный, и однажды в автобусе он вдруг, как ребенок, уткнулся головой в мои колени... Он, знаете, русский с золотистым таким валетом. Некоторые модницы волосы свои красят так специально, а он такой сам. Как ребенок... А потом... Мы с ним долго были вместе, хотя и не ходили ни в какие загсы и дворцы, а потом такая ко мне непонятная холодность, даже презрение какое-то... Почему? Разве я сделала ему что-нибудь плохое? Нет, я понимаю, конечно, женщина должна быть женщиной и быть киской ласковой... Я старалась. У меня не получается. Он мне говорил: «Дина, как я был бы счастлив с тобой, как были бы мы с тобой счастливы вдвоем...» А потом этот грубый «инстинкт»: «Я тебя не люблю, но меня к тебе влечет инстинкт». Это ужасно! И я не знаю, что мне делать. Я согласна на этот «инстинкт», но мы так далеки теперь друг от друга. У него, кажется, жена и ребенок. И знаете, больше всего на свете я боялась быть просто его подружкой, быть в дружбе с мужчиной... Ведь это противоестественно? Странно, а почему я вам это рассказываю? — спросила Дина Демьяновна.

— Рассказываете? Я-то понял, вы таким способом хотите внушить мне, что я такой же, как все те с «инстинктом»... Так, что ли?

Но Дина Демьяновна не ответила, задумавшись вдруг о той неожиданной и ей самой еще непонятной легенде, которую она только что сочинила о Пете Взорове, об инстинкте, на который она согласна, его жене и ребенку. Что-то ее толкнуло на эту неправду, и она сама с удивлением вышла на маленькую ложь, и ей самой захотелось поверить в нее, потому что никому и никому не смогла бы она рассказать правду о Пете Взорове и о себе, а жить без легенды она, как всякая женщина, уже не могла.

Не могла же она жить спокойно с проклятой той фразой в памяти, которую выговорил ей в последний вечер Петя Взоров: «Ты мне слишком легко досталась!» А эта, новая, которая

только что сложились в сознании: «Я тебя не люблю, но меня к тебе влечет инстинкт» — была по своей сути в чем-то похожа на ту, что сказал когда-то Петя Взоров, но выгодно отличалась от нее. Можно было согласиться, что он и в самом деле уже не любил ее, как, впрочем, и сама она, но женское обаяние ее было так велико, что он, ссылаясь на инстинкт, на который и она была согласна, долго еще оставался с ней. Это была емкая и по-женски мудро сказанная фраза.

Дина Демьяновна даже улыбнулась, все еще с удивлением поглядывая на себя как бы со стороны. Она и сама еще не могла толком понять, что же так вдруг обрадовало ее в этой сочиненной легенде. Не могла понять, что этой приятной полуправдой она как бы попыталась найти оправдание самой себе, и попытка эта ей удалась. Она убила сразу двух зайцев: низвела до инстинкта Петю Взорова, поставив себя неизмеримо выше его, и одновременно дала понять Денисову, что она в отличие от него свободна и согласна в некоторых случаях на этот самый инстинкт, хотя и считает это унизительным для человека. То есть она сумела этой неожиданной исповедью найти себе оправдание и в какой-то степени облегчить муки совести. Она не могла еще осознать, что таким необычным и непонятым образом в ней самой сработал сильный инстинкт — инстинкт самосохранения. «Разве я в чем-нибудь виновата? — как бы спрашивала она у самой себя и у Денисова. — Мне очень противно, что все так случилось именно в этот день, в эту ночь... Но разве я виновата?»

Дина Демьяновна, в душе которой исподволь закрутился уже сложнейший механизм самооправдания, не могла даже и подумать, что и Денисов тоже искал в себе какие-то такие мотивы, которые могли бы снять с него тоскливое напряжение. Ум его был менее изворотлив, и он мечтал лишь о том, чтобы скорее отодвинуться во времени от этой дурацкой и отвратительной ночи и приглушить угрызения совести.

«Я дурак, — думал он о себе. — Нет на свете большего глупца и идиота! Ну что теперь подумают Простяковы и дядя Сережа?! Как им объяснишь, что, в общем-то, ничего и не было. Ровным счетом ничего. И не могло быть в первую же ночь! Я не из тех...»

Его, правда, успокаивало то обстоятельство, что с женой он встретится еще не скоро, а к тому времени он постарается уговорить себя, что ничего не случилось и не могло случиться. Он, конечно, поверит самому себе, ему и раньше это всегда удавалось. И он не очень-то беспокоился на этот счет.

Важно было скорее остаться наедине с самим собою, а потому он в шестом часу утра стал уже поторапливать Дину Демьяновну, рассчитывая в Москве, на вокзальной площади, почистить ботинки и забежать в парикмахерскую, а потом выспаться как следует, сходить в Сандуны и пообедать в ресторане. Он знал, что этот обед под оглушающий грохот оркестра снимет с него напряжение, а время, которое как будто бы остановилось теперь, снова поскачет вприпрыжку. А потом Судак, серый пляж, зеленое море, горы... Лишь бы скорее уехать отсюда. В жизни не испытывал еще такого гнусного нетерпения! Ему прикрикнуть хотелось на медлительную эту женщину с недоразвитой, не знавшей еще молока грудью, и он с трудом сдерживался, леденея от тоски.

В душном вагоне все окна были еще по-зимнему задрасны наглухо, и пот слезами стекал по мутным стеклам. Утренний поезд часто останавливался, забирая на каждой платформе новых пассажиров, многие из которых были знакомы друг с другом, здоровались, перекидывались шутками, мелкими новостями.

Денисову в общем-то повезло, напротив уселся пожилой человек с покатыми, жирненькими плечами, с японской какой-то улыбочкой на расплывшемся счастливом лице и очень разговорчивый. Он был, наверное, трезв, но казался хорошо опохмелившимся, любвеобильным, доверчивым и хвастливым алкашом. Из всех сидящих он выбрал в собеседники майора, а Денисов был на этот раз не против пообщаться, потому что таким способом тоже мог уйти от Дины Демьяновны, с которой не знал уже, о чем говорить.

Мужичок, все газеты начинавший читать с сообщений о спорте, о чем он сразу же сообщил Денисову, а целиком читавший только «Советский спорт» и «Футбол — хоккей», — мужичок этот, которого сразу же возненавидела Дина Демьяновна, стал хвастаться коротким знакомством с известным хоккеистом. Он явно гордился этим, создавая свое превосходство над другими людьми. Он наверняка считал, что ему завидуют те, кто не знаком ни с одним футболистом или хоккеистом. Своего же знакомого называл по имени, запросто, словно был другом его и ровесником. Был он глуповат, стараясь украсить свою речь особой, игриво-вежливой интонацией, и часто употреблял слово «кыничок», имея в виду коньяк, и при этом «кыничке» улыбался с какой-то греховной, похотливой слезинкой во взгляде, точно говорил что-то неприличное.

— Мы с Валерой, конечно, кыничок прихватили по пути, а у меня в холодильнике эскалопчики были. Лида их поджарила, супруга моя, и они, как пышечки румяные, у нас на тарелочках. Я эти эскалопчики достаю по знакомству, конечно. Так это можете себе представить, какие эскалопы! Тот человек, который мне делает эти эскалопы, он мне просто обязан... Ну и можете себе представить! А Валера кыничок разлил по бокалам и вот, ей-богу, клянусь, поднял тост за меня! Уж очень ему эскалопчики понравились... Приходите, я и вас угощу. Кыничок купим, посидим... Я ведь водку эту в рот не беру... Если бы я водку пил, я бы давно уже... то-то... Я прямо так всем и говорю — ты меня водкой не угощай, все равно не буду, а если хочешь угостить — угости кыничком. У меня здоровье не позволяет. Можете себе представить, если каждый, который мне обязан, угощал бы меня водкой, я бы уже спился. Валера, тот молдавский кыничок любил. «Давай-ка лучше молдавского возьмем,— говорит,— молдавский мягче». Ах, Валера, Валера! Золотой был парень. «Молдавский,— говорит,— возьмем». Это тот, что с аистом... Мягкий кыничок. Я и сам его с тех пор полюбил. Под эскалопчики ой как хорошо идет! А Лида мне всегда эскалопчики поджарит. Они у меня всегда в холодильнике...

Конца этой болтовне не было и быть не могло бы, если бы поезд не прибыл к московскому перрону.

Счастливый человек пожелал доброго здоровьяца, велел и «дамочке», то есть Дине Демьяновне, тоже болеть за ЦСКА и потерялся в толпе.

— Жулик какой-то,— сказала она брезгливо.— Как у вас хватало терпения слушать?! «Он мне обязан, они обязаны...» Противно.

А Денисов вдруг разозлился и сказал вопреки собственным своим убеждениям, как это бывало с ним в минуты раздражения:

— Ну почему жулик? Зачем такая категоричность! Живет человек, работает, встает спозаранку, едет в Москву на работу... Почему жулик?! Как у вас легко все это... Не зная человека... Не всем же книжки читать...

Он почувствовал опять, что переборщил, и замолчал, мысленно продолжая это свое «не всем же книжки читать!». Сам он мало читал, если не сказать, почти ничего не читал, но это не очень-то и мешало ему в жизни. Он говорил: «Чем книжку на диване лежа читать, лучше я со спиннингом по речке пройду, воздухом подышу и природой полюбуюсь». Так и жил,

занятый по горло делами в части, и никто не вправе был бы обвинить его в том, что он мало читает: все знали — некогда! Он летчик, а не читатель, и в случае чего — от него потребуют не знаний литературы, а умения летать, стрелять, бомбить и в конечном счете убивать врагов. «Враг хорош только в том случае, когда приобретает температуру окружающего воздуха». Денисову по наследству досталась эта отцовская заповедь, определившая его назначение в жизни. «Было бы чего читать, — говаривал он в своем кругу. — Читать-то нечего! Пишут всякую чепуху». И с ним не спорили. Он только сам с собой иногда спорил, когда по телевизору смотрел какую-нибудь передачу о литературе. Мрачнел, понимая, что надо бы заняться самообразованием, но не было у него привычки к чтению да и времени не хватало, особенно с тех пор, как стал он командовать эскадрилей.

А теперь вдруг вся его злость обернулась таким нелепым образом: «Не всем же книжки читать...»

— Это вы про что? — с усмешкой спросила Дина Демьяновна. — Про ту самую книжку?

— Какую книжку?

— Про ту единственную, которую вы сами когда-то осилили... в поте лица.

— Ага, про ту. Вы извините, мне не очень-то хочется попадать в комендатуру, я должен тут почистить ботинки, побриться.

— Пожалуйста, пожалуйста...

И они, не простившись, разошлись, как случайные попутчики, разговорившиеся в поезде. А вернее, разбежались. Дина Демьяновна убыстрила шаг, как только они вышли с перрона на площадь, а потом побежала к метро, словно опаздывала. Сизые голуби, пасущиеся на асфальте, шарахались от нее, разбрызгивались серыми, жирными лепехами. Глаза ломило от белесого утреннего света, голова кружилась от привокзальной людской сутолоки, от того угнетающего ритма, от которого давно уже отвыкла, не вставая так рано и никогда еще не испытывала такой отвратительной пустоты и усталости. В это утро она вполне могла бы понять человека, который сказал бы ей в отчаянии: «Жить не хочется...»

«Да, конечно, конечно, — думала она, отвлекаясь. — Это, конечно, тоже можно понять. Также одиночество. В конце концов, человек в одиночку ищет счастья. Но нужен рядом тоже одинокий... Чудак этот — Сышкин... Это он говорил. Также одиночество. Единственный, кто меня любит по-настоящему, — это Сыш-

кин. Милый Сыпкин, если б ты знал, как мне сейчас тяжело! Сейчас, сию минуту, если б ты появился сию секунду... Я бы, наверное, поцеловала тебя и заплакала бы в два ручья. Да, конечно, блажь... Все блажь!»

Однажды он напугал ее. В теплый зимний день, когда все таяло, как в конце марта, она сидела за столиком у окна, оформляя новые книги, и вдруг в форточку прыгнуло что-то большое, шмякнувшись о стол с живым каким-то и тяжелым, мягким, шуршащим звуком! Кошка? Ужас! Дина Демьянова отпрыгнула в испуге и чуть не упала от неожиданности... Но кошка тут же превратилась в белый букет зимних хризантем, тяжелых и курчавых цветов, пахнущих холодной весенней землей. «Какой идиот?! Кто это? — спросила она с негодованием. Вот я сейчас догоню и этими цветами по башке!» — «Это Сыпкин, — сказала девочка, работавшая в тот день на выдаче. — Я заметила, это он, Дина Демьяновна».

С тех пор не раз она находила у себя на столе большие и крошечные весенние букеты цветов, хотя никогда не встречала Сыпкина, который избегал ее. Впрочем, жесты эти вовсе ее не трогали, ей неприятны были его цветы, не вызывавшие в ней ничего, кроме злой насмешки. «Опять этот шизонд! — говорила она девочкам. — Если кто-нибудь из вас увидит его случайно, скажите ему, что я запрещаю это делать и вообще... пусть вернет книги». Иногда она даже выбрасывала цветы с той редкой жестокостью, на которую способна, наверное, только женщина, презирающая назойливого и неприятного ей поклонника. Но цветы опять появлялись и увядали в глиняной вазе или в стакане, ни о чем, впрочем, не напоминая Дине Демьяновне: просто она жалела срезанные, но все-таки живые еще цветы.

И впервые вспомнила она о Сыпкине только в это утро, когда ехала домой после ужасной и бессонной ночи, одичавшая, ненавидящая всех и вся, одинокая и затаившаяся среди живых людей в своей безмерной и непостижимой тоске. Но, вспомнив, тут же забыла.

Очень может быть, что в жизни Сыпкина это был бы самый прекрасный и самый счастливый, звездный его миг, о котором он, увы, так и не узнал никогда, ежечасно вызывая этот миг признания в своих бредовых и робких мечтах о возлюбленной, по-рыцарски посвятив ей всю свою странную и мало кому понятную жизнь.

Утром, в девятом часу, когда приехала дочь, Демьян Николаевич и Татьяна Родионовна мгновенно проснулись, точно были чутко настроены на звуки ее шагов, ее дыхания, ее возбужденного и пугливого состояния, которое они сразу же почувствовали, как летучие мыши, телом своим и душою. Но постарались сделать вид, что ничего особенного не произошло и их несколько не удивило внезапное решение дочери уехать в холодный дом с чужим человеком.

— Вы проснулись?— спросила Дина Демьяновна, собравшись с силами.— Я ужасно тороплюсь, мне к девяти сегодня. Как вы тут?

— Все хорошо,— ответила Татьяна Родионовна.— Ты поставила чайник?

— Нет, нет, я ничего не успею, не буду, я там чего-нибудь перекушу.

— Здравствуй,— сказал Демьян Николаевич хрипло и насмешливо.

— Здравствуй,— ответила Дина Демьяновна.

И ушла.

Когда захлопнулась, клацнув замком, дверь, Демьян Николаевич усмехнулся и, поглядев на Татьяну Родионовну, сказал:

— Ей, наверное, показалось, что мы с тобой сошли с ума. Она, конечно, явно не рассчитывала на такое олимпийское спокойствие.

И оба они были очень довольны собой и даже посмеивались от радости, что дочь их жива и здорова, хотя каждый из них помнил, что прошла лишь ночь, как гроб с телом Марии Анатольевны опустили в могилу, и что смеяться еще слишком рано. Нельзя еще было смеяться.

— А что мы скажем Сереже обо всем об этом?— вдруг испуганно спросила Татьяна Родионовна.

— А что мы с тобой знаем?— спросил ее Демьян Николаевич.— Мы ничего не знаем.

— И знать не хотим?

— Да, и не хотим знать. Они сами взрослые люди и пусть отвечают за себя.

Так они начали утро новой своей жизни, и каждому из них казалось, что именно в этой жизни без забот и ненужных волнений они наконец обретут душевный покой.

...В этот день Дина Демьяновна записала в своей тетрадке:

«Часто человеку, мало читающему, кажется, когда он осилит

одну какую-нибудь книгу, что эта книга и есть та вершина, до которой с трудом добралось в своем познании мира человечество, а вместе с человечеством и сам он. А взошел-то он всего лишь на крошечный бугорок, не зная и не ведая о горной стране и великих вершинах. Не веря в них».

«Стыд не дым, глаза не выест». Бабы две, толстые, обожравшиеся, выбирали лимоны с лотка, мяли их, как коровьи титьки, и отбрасывали. На мое замечание: «Как вам не стыдно портить лимоны», — они эту поговорку в ответ — и набросились на меня. Была бы их воля, избili бы, наверное».

Она пришла домой в обед и проспала до позднего вечера. Ночью не спалось. Еще записи!

«В Москве, в мае, когда уже распустились все листики на кустах и на многих деревьях, но еще далеко до лета, на заре утренней очень хорошо поют воробьи. Листья маленькие еще и очень нежные, чистые... И всегда у воробьев первый есть — запевала. Крик его в предутренней тишине сильный и резкий: «Чив! Чив! Чив!» — а потом уже все остальные включаются и долго галдят, поют, чирикают, попискивают — получается веселое и шумное пение. Гулко в этот час в Москве и довольно тихо. А голуби еще спят. Полчетвертого утра».

«Один читатель пришел и говорит, что ему нужно про автомобильный транспорт почитать. Интересно говорил, смешно: «Тамобили и мациклы... Тамобильный транспорт... Коллектив втахазяйства... Сизи с этим... не хотелось заметить» — вместо «мне хотелось»... Глотает буквы, чудак! То гласные, то согласные. Вкусно, наверное».

«Раньше был в конце города убогий дом, в котором хоронили тела казненных смертью преступников, людей, умерших в государственной опале, а также опившихся, самоубийц и утопленников».

22

Была в Москве когда-то старая булыжная улица с низенькими домами под чепчиками железных крыш, с высокими и узкими окошками, на подоконниках которых ветвились столетники и бело-розовые герани. Были глухие, огороженные дворы, заросшие просвирником и птичьей гречихой. Были зловонные помойки, дровяные сараи и конюшни. Были дворники с большими совками, перестук подков на цветном булыжнике и деревенская тишина по ночам.

Но время это прошло, и в особняках поселились бездомные бедолаги, хлынувшие в Москву после гражданской войны. Зача-

дили керосинки и примусы в бывших коридорах и кухнях особняков, разбухли и взгорбились помойки, а сараи, разбитые на семейные закутки дощатыми перегородками, наполнились бросовым скарбом, рваными абажурами, пилами, старыми тюфяками, колунами и поленищами дров до потолка. Во дворах протянулись веревки, и каждая семья, поселившаяся в доме, имела свои углы во дворе и свои гвозди для этих бельевых веревок, которые протягивались всякий раз в определенном каком-то направлении, и никто из жильцов никогда без спроса не нарушал заведенного порядка. Такой же порядок был и на чердаках, но в доме, где жили Простяковы, никто не пользовался чердаком для сушки белья — видимо, не было привычки к чердакам у недавних жителей деревень и городских окраин: какие уж там чердаки...

Новые жильцы по непонятной причине считали Простяковых бывшими хозяевами крепкого и, пожалуй, самого высокого дома на всей улице. Они, конечно, знали, что это не так. Но, зная, видимо, не очень-то верили Простяковым, жившим на третьем этаже в двух просторных и хорошо обставленных комнатах. И долго не было мира в разноликом доме.

Только Дина Демьяновна, родившись на свет, странным образом примирила всех. И когда она, разодетая, как кукла, выходила гулять во двор, женщины, нянчившие своих детей, улыбались и ласково заговаривали с ней, умиляясь ее бойкими ответами, потешными и умненькими, любовались ее детской звонкой радостью, ее доверчивостью и добротой.

Было это в тридцатых годах, и жизнь в ту пору была легкой.

На первом этаже дома в тесной камерке с окошком, выходившим во двор, жила одинокая женщина с девочкой, которую все звали Катеной и которая была на шесть лет старше Дины Простяковой. Жили они очень трудно. Усталая мать, приходя с работы, злобно звала свою Катену домой и часто била ее незнамо за что, словно бы дочь была проклятием и страшным камнем на шее, который тянул ко дну.

Дина панически боялась эту женщину и до слез жалела Катену, которая с годами стала для нее идеалом девушки, живой обладательницей завидного и запрещенного дара — свободой. Катена могла уйти с мальчишками, ни у кого не испросив на то разрешения, могла поругаться со своей матерью, убежать от нее из дому и, переночевав в сарае, выйти на следующее утро с неизменной усмешкой на толстых губах. Летом она ходила босиком, в старом кредешиновом платье, перетянута в талии узеньким пояском, и с распуценными по плечам желто-белыми волосами.

Ее никто не заставлял часто мыться и причесываться, никто не звал обедать — она была совершенно свободна и, как казалось Дине, очень счастлива. Ее даже мальчишки смущались, потому что побаивались острых ее ногтей, которые она украдкой красила розовым лаком и заостряла так, что они были похожи на когти.

Всякий раз Дина Простякова смотрела на нее, подавленная собственным своим ничтожеством, и за счастье считала, если бы Катена обратила на нее хоть какое-то внимание. Но та не замечала ее и не принимала всерьез и только лишь однажды задержала взгляд своих пухловатых серых глаз на темно-синем атласном банте в волосах девочки.

«Ишь ты! — сказала Катена, подойдя поближе и разглядывая ленту. — Надо же! Какой синий цвет! Я и не видела никогда...»

Босые ее ноги с белесыми следами царапин и ссадин были совсем близко и, казалось, обдавали Дину каким-то смолистым, солнечным жаром, грязные пальцы, словно бы вросшие в колючую, застекляненную землю, чуть ли не касались синей туфельки обомлевшей девочки.

«Пожалуйста! — сказала Дина восторженно. — Пожалуйста, возьмите. — И сдернула с головы свой бант. — У меня есть еще, возьмите, пожалуйста!»

Но та усмехнулась в ответ и даже не притронулась к распущенной ленте. Лишь отойдя, обернулась и сказала презрительно:

«Взяла бы, если бы у тебя не было еще. Ишь ты, богачка какая!»

А Дина в ужасе побежала домой и уже на лестнице расплакалась, разревелась, не понимая, почему Катена с такой злостью отказалась взять ленту. Она ведь вовсе не знала, есть ли у мамы такая синяя лента, и сказала это для того только, чтобы Катене легче было принять ее подарок. Но получилось все наоборот. Почему? Она не могла понять. Она сама себе казалась в эти минуты такой безобразно-нарядной, такой чистой и такой противной всем людям, что Катена, конечно, никогда и не могла бы ее заметить. Только синий бант заставил ее взглянуть на отвратительно чистенькую, умытую, обутую в синие туфельки девочку.

«Мама! — кричала она во весь голос. — Мама! Я хочу гулять босиком, одна я в этих противных туфельках и носочках».

Мокрая и горячая от слез, она очень напугала в тот день Татьяну Родионовну, которая уж совсем ничего не могла понять, рассердилась на дочь, закатившую ей истерику, и, конечно, не разрешила ей разуться. Она вообще в тот день больше не выпус-

тила ее во двор, наказав самым строгим образом: уложила спать в постель.

Дина не могла успокоиться до самого вечера, и даже ночью порой ее дыхание прерывалось вдруг спазматическим, рыдающим всхлипом.

А Катена с тех пор стала для нее вообще недостижимой и недоступной, словно бы превратилась в большую и очень красивую птицу и улетела, а Дина так и осталась глупой и скучной девочкой, которую никогда, ни за что уже не поймет, не полюбит и даже, может быть, не увидит больше ни разу эта вольная птица — никогда не узнает о ее восторженном преклонении перед нею.

Дине казалось тогда, что если она даже осмелится что-то сказать Катене, то та все равно не поймет ее, словно бы на другом каком-то языке будет она говорить с ней. Нет, она не мечтала, конечно, о дружбе с Катеной: слишком велика была разница лет. Но теперь она не смела мечтать даже о том, что Катена когда-нибудь еще разочек заметит ее и что-нибудь ей скажет с хорошей улыбкой.

Когда в гости приходили Скворцовы и Дина оставалась с глазу на глаз с Колюней, который по летам своим был близок к Катене, она в задумчивости разглядывала его, словно бы оценивая: может ли он понравиться Катене? Ей казалось иногда, что может. Она и не сомневалась, что самому Колюне понравится Катена.

Ничего похожего на ревность не возникало в ее сердце, когда она соединяла Колюню с Катеной, хотя была уже в ту пору тайно и по-детски чисто влюблена в своего молчаливого гостя.

Ей, правда, в те годы нравился еще один мальчик, и она порой очень серьезно задавалась мучительным вопросом: за кого ей выйти замуж — за Колюню или за того мальчика, которого звали Володей и который уже учился во втором классе. Ей не очень-то нравилось, что Володя все летние дни торчал у помойки и ловил синих мух, устраивая потом крошечные зоопарки под осколками стекол, а от нее отмахивался всякий раз и гнал прочь. Но когда Колюня Скворцов долго не приходил, она забывала о нем и знала, что будет женою Володи. Когда же вновь встречалась с Колюней, сомнения вновь одолевали ее, и, в конце концов, она выбирала в мужья Колюню, а про Володю переставала даже думать.

Но Володины родители получили комнату в другом конце Москвы, и все они однажды уехали на грузовике. Таким образом, вообще отпал вариант с Володей.

Впрочем, даже и теперь она ни капельки не удивилась бы, если бы Колюня влюбился в Катену и они бы решили когда-нибудь стать мужем и женой. Она вполне допускала такую возможность и как будто бы примирилась с этим, грустно поглядывая порой на ничего еще не знающего Колюню и, главное, даже не представляющего себе, что на первом этаже дома, в который он часто приходил, живет такая удивительная и такая красивая девушка, что если бы он хоть раз увидел ее, то уж никогда бы не забыл и стал бы все время думать только о ней.

Но он ничего не знал, и Дину совсем замучила совесть, словно бы она нарочно скрывала от него Катену. Она иногда перebarывала себя и пыталась начать разговор с Колюней:

«А у нас тут живет такая девушка, ее даже мальчишки боятся. Ей уже четырнадцать лет».

На что ей Колюня ломким голосом отвечал:

«Что ж это за страшилище, если ее мальчишки боятся? И что это у вас за мальчишки? Тебя они тоже боятся?»

«Что ты! Конечно нет».

«Ну вот видишь,— говорил Колюня и со скукой брал с полки какую-нибудь книгу.— Ты еще глупенькая».

«Она страшилище?!— восклицала Дина в притворном ужасе.— Ты ее просто не видел. Она лучше всех в мире. Она самая красивая. Не знаешь, а говоришь...»

Но Колюня молчал и только поглядывал на Дину с печальной и скучающей улыбкой, которую долго потом вспоминала Дина и с которой он ушел от нее из жизни.

В ноябре сорок третьего года, вернувшись с Урала, Дина с Татьяной Родионовной робко подошли к своему дому, не узнавая его, и первой, кого они встретили на пороге, была Катена, которую Дина сразу же узнала и испугалась, хотя это была совершенно другая, незнакомая ей, толстая и коренастая женщина, в гимнастерке, в зеленой юбке и сапогах. Она так растолстела за эти два с половиной года, так раздалась в ширину, что от прежней Катены, какую помнила Дина, остались только губы да прерзительно усмехающиеся глаза.

«Ба! Приехали!— удивленно сказала она и вдруг с неожиданными слезами расцеловала Татьяну Родионовну и Дину и никак не могла остановить легкие слезы, не могла успокоиться, что-то несвязное и случайное выкрикивая во внезапной своей радости: — Я-то думаю! Смотрю, похожи и непохожи... А я-то! А у меня ребеночек... Да. Была на фронте... медсестрой... Такого навидалась! Потом... Что ж это я все сразу! Потом, конечно...»

Господи! Надо же! Съезжаются, живы, здоровы... Ну слава богу! Радость-то какая! А вещички-то? Нет? Узелок этот, и все? Господи... Ну слава богу, живы! Давайте, хоть узелок помогу. Ну что вы! Какая там тяжесть! Тяжесть... Скажете тоже! А муж-то жив? Жив?! Ну вот как хорошо! Счастливые! Ах, какие вы счастливые! Домик-то постарел наш, прокоптился, почернел... Хорошо еще комнаты ваши не заняли. Могли бы запросто вселить. А Дина-то! Выросла-то как!»

Вот уж чего не ожидала Дина, так это услышать свое имя из Катениных уст. Это так поразило ее, так радостно ошеломило, что она тут же расплакалась и, как к родной своей, потянулась к Катене, еще не веря в свое счастье и не понимая, что же произошло с этой растолстевшей женщиной в застиранной военной гимнастерке без погон.

Лицо Катены стало круглым и каким-то отечным, а потускневшие волосы были подобраны и уложены бровным хвостом в мелкую и тонкую нитяную сетку. В мясистых мочках ушей торчали стеклянные сережки в желтых металлических бантиках. От слез глаза ее распухли, от нее пахло никотином, и она была так некрасива и все-таки так прекрасна в своей искренней радости, что Дина в слезах подумала о ней как о самом хорошем и самом добром человеке, который когда-либо встречался ей в жизни.

Но все это было не похоже на правду, все это так странно было, что рассудок не мог еще ничего объяснить, и оставалось только смотреть на эту женщину и знать, что это та самая Катена, та красивая птица, которая когда-то совсем не понимала языка чистенькой и нарядной девочки с синим бантом на темени.

Теперь же она, Катена и не Катена, встретила их возле дома и расплакалась, словно бы дождалась наконец-то самых близких и родных людей.

Но это тоже не укладывалось в сознании: Катена и слезы, Катена и... Она сказала ребеночек? У кого? У Катены ребенок?

Дина плакала и смеялась и сквозь слезы преданно смотрела на Катену, ловила взгляд ее мутных и распухших глаз и тут же вводила свои глаза, боясь поверить, что перед ней кумир ее далекого детства.

Было ли все это?

Керосиновая лавка на углу двух улиц, обитая жестью, похожей на старую кованую медь, жирно и тускло поблескивающую в полутьме железного сундука. В огромную железную бочку льется и льется из крава ценистый, шумный, золотистый керо-

син. Продавец размашисто и щедро черпает его литровым ковшом и льет через воронку в жбаны и бутылки, словно изо дня в день старается вычерпать бездонную бочку до дна и очень сердит и молчалив оттого, что ничего из этого не получается. В брезентовом фартуке, блестящем от керосина, жирными, обожженно-красными руками брезгливо принимает он деньги и так же брезгливо дает сдачу...

Куски хозяйственного мыла в ящиках на железном полу, полумрак лавки, склянки на железных полках — с мышьяком, денатуратом, каустиком и прочими ядовитыми и страшными жидкостями, которыми в далекие времена женщины морили грызунов и отстирывали в серых корытах житейскую грязь с исподних одежд своих мужей.

Странная это штука — керосин! Много ли найдется людей на свете, знававших густой и резкий его запах, которые бы сказали, что он им не по душе... Не в тех, конечно, малых и досадных дозах, не в рыбьем мясе, не на одежде, а в тесной керосинной лавке, насквозь пропитанной будоражащим, пронзительным и ли с чем не сравнимым запахом земной той крови, которую вот уже много веков пожирает сотворенный людьми огонь, даруя им жизнь.

...В летние ночи голодных послевоенных лет распахивались двери душных сараев, и люди уходили ночевать из дома в свои деревянные закутки, так ходили отцы их и деды на сеновалы. В сараях пахло осиновой корою, ночь смотрела сквозь дверные щели, и снились, наверное, полуголодным людям детские сны: тихая жвачка коровы, теплое ее отфыркивание, шорох сонных кур на насесте и звонкие струи молока на рассвете.

Катена давно износила военную форму, еще больше растолстела и обрюзгла. Губы ее подобрались, запали внутрь рта, как у беззубой старухи. Она стала ярко и безыскусно красить помадой истончившиеся свои съеденные горем губки, постарела сразу от этого, и появилось у нее на лице выражение жестокости и какой-то бабьей надменности. Крупное ее, одутловатое лицо совсем утратило былые краски, убитые алой полоской губ, этой кровотокащей ножевой раной, в которой она пачкала бумажные мундштуки дешевых папирос. Курила она очень много. Жадно докуривалась до самой «фабрики», до картонки и по-мужски небрежно бросала окровавленные окурки, чтобы через несколько минут достать новую папироску. Если поздно вечером у нее кончались папиросы, она шла «стрелять» по дому. Катена и раньше всегда немножко картавила, теперь это стало очень за-

метно. Она говорила с нетерпением: «Угости папирлосочкой... Дай мне штучки трли».

После войны к ней никто не вернулся, хотя она не очень-то и надеялась на это. Она узнала, что отец ее сына остался в живых, но разыскивать его не захотела.

В летние вечера в длинном ситцевом халате нараспашку выходила она босиком из дома и, щурясь от дыма папиросы, зажатой в губах, шла вразвалочку к своему сараю. Жены и вдовы, не выдавшие еще такого бесстыдства на своем веку, в молчаливом осуждении провожали ее недобрыми и насмешливыми взглядами. Но Катена, казалось, не замечала их и, накрывшись простыней в своем распахнутом настежь сарайчике, спала на старом тюфяке, брошенном на пол, не затворяя на ночь двери.

И лишь с некоторых пор стала запирается на крючок. А однажды кто-то увидел на рассвете, как из сарая вышел молодой сутулый парень.

От деревянных заборов давно уже не осталось и следа: все дворы стали проходными. Откуда пришел парень и куда ушел, никому не было дела. Но зато сама Катена с этого дня попала в котел бабьих сплетен и пересудов. Над ней захлопнулась крышка, и ничто уже не в силах было оправдать ее в глазах недоверчивых соседок.

Так она прославилась дворов на пять или шесть в округе как женщина развратная и на шадящая в кошачьей своей, плотской страсти даже малолеток.

Чего только не говорили о ней. Каких пороков не приписывали!

Даже Татьяна Родионовна, далекая от всех этих сплетен, и та предостерегла однажды дочь от близкого знакомства с Катеной, велев ей быть подальше от этой женщины.

Но осторожные слова матери подействовали на взрослеющую девочку неожиданным и странным образом. Вместо того чтобы испугаться, она стала с прежним тайным любопытством и даже восхищением думать и размышлять об этой молодой женщине, которая, как она слышала, жила вольво и не по тем законам, по которым жили все те, кто осуждал ее. Опять, как прежде, покорила ее та бессмысленная, но заманчивая свобода, которую сама она не видела в жизни, опекаемая Татьяной Родионовной и Демьяном Николаевичем.

Нет, она не хотела жить так же, как жила по ее несмелым еще представлениям о жизни таинственная и непонятная ей женщина. Но она и не осуждала ее, с отвращением думая по

о Катене, как хотелось Татьяне Родионовне, а о тех, кто говорил о ней несусветные гадости. Поражена была забывчивостью людей, которые уже как будто бы не помнили, что Катена пошла добровольно на фронт и спасала людей от смерти.

Разве можно было осуждать Катену, если теперь она сама не знала, как спастись от гнетущей тоски, если сама она была смертельно обманута человеком? Разве есть спасение от обмана? Дозовешься ли человека, который бы вынес ее с поля?

Все забыли об этом, оглохли, ослепли в своей равнодушной и омерзительной ненависти к молодой женщине, которая хотела и могла, умела любить.

В простоте душевной Дина надумала поговорить с Катеной и обо всем узнать у нее самой. Но никак не могла решиться на этот пугающий и волнующий ее разговор. Она вся холодела теперь при встрече с Катеной, пугливо улыбалась, озираясь по сторонам.

«Ты что как полоумная?—спросила однажды Катена.—Чего ты гримасы строишь?»

«Я не полоумная, я просто... Вы такая хорошая, а про вас все говорят... Я просто хотела сказать вам: вы не расстраивайтесь... Я вас очень хорошо понимаю, поверьте мне... Я все понимаю!»

«Ты! Понимаешь меня?!—переспросила Катена и рассмеялась.—Чего ты понимаешь? До чего ж ты еще глупа! А за то, что не веришь сплетням,—сказала она вдруг серьезно,—спасибо. Ты думаешь, я расстраиваюсь? Ничутьточки! Я плевать хотела! А ты не верь, правильно! Не дай бог, случится у тебя чего-нибудь такое в жизни, такая неразбериха, вспомнишь тогда меня и вот тогда уж поймешь. Это всем так кажется поначалу: у нес, дескать, может уйти мужик к другой и у той тоже может, а у меня — никогда. Я тоже так думала. А вот уйдет, и понять ничего не можешь, поверить. Как же так! За что же?! Не у нее, не у той, а у тебя самой ушел... Твой ушел... Знаешь, как это!.. Вздыбишься вся и хоть умирай! Что я, хуже других?! Уж лучше пусть проклинают, чем жалеют... А ты, Динка, не... это самое... не слушай меня... Я, знаешь... Я все могу. Мне и помереть, если хочешь знать, не страшно. Сколько я этих смертей перевидала, кто бы знал! Ноги отрезанные, руки носила в тазу из операционной... И думаешь, я этого бабья испугалась? После всего-то... Никого я на свете не боюсь... Ладно, иди, а то увидят тебя рядом со мной, тебе же хуже будет, начнут мораль читать. Иди, Динка. Иди, подружка моя хорошая...»

Дина не могла поверить себе, не могла понять, за что прива-

лило ей такое счастье. Она весь день и в самом деле ходила как полоумная под впечатлением этого неправдоподобного, нереального и словно бы ею самою же выдуманного разговора с Катей.

Прошло с той поры много лет. Дина Демьяновна закончила институт и начала работать. Все забылось и стерлось в памяти, и почти не бывает удобного случая воскресить в сознании прежнюю жизнь.

Но иногда, очень редко, к ней в библиотеку заходит женщина с подкрашенными рыжими волосами и, робко улыбаясь, здоровается. У нее одутловатое лицо водянисто-желтого цвета. На лице почти нет морщин, и только губы, скорбно поджатые и усохшие, словно бы заштрихованы сверху вниз тонко отточенным грифелем. У женщины плохие зубы, которые она не лечит, боясь еще с детства бормашины и лязганья всяких никелированных лопаточек, палочек, крючков, которые врач, поковырявшись в зубах пациента, бросает в эмалированный судок. Но она давно уже привыкла говорить с полуприкрытым ртом, скрывая свои кариозные зубы, и, разговаривая, смотрит обычно в сторону, точно отворачиваясь от людей в смущении.

У этой женщины сын отбывает второй уже срок в тюрьме: сначала за воровство, а теперь надолго за бандитизм. Ей дали когда-то хорошую комнату на троих в новом доме неподалеку от привычных ей мест. Но теперь она живет одна, схоронив старуху мать.

«Вот пришла опять,— говорит женщина хриплым, прокуренным, старчески немощным голосом.— Дайте чего-нибудь почитать...»

Это, пожалуй, единственная женщина, которая берет книги только про войну. Она возвращает их не скоро. Придет, положит книжку, поморщится и с виноватой улыбкой отмахнется от нее молча.

Редко, когда ей нравится книга о войне. Тогда она, поглаживая обложку и согласно кивая, говорит с грустным удивлением в голосе: «Это правда, это все было. Хорошая книжка. Этот писатель еще чего-нибудь написал про войну? Написал... Ну, тогда я потом ее возьму, вы мне ее запишите просто так, а я потом когда-нибудь приду, когда почитать захочется, и возьму у вас».

Уходит она надолго.

А в этот день Дина Демьяновна со щемящей болью, с тоскливой улыбкой в душе почему-то вспоминает старую керосиновую лавку, которой давно уже нет в Москве, как и нет тех улиц и до-

мов; слышит шум упруго льющегося керосина и его манящий, вездесущий, возбуждающий запах.

И в ней просыпается вдруг странный и никому не ведомый звереныш, почуявший свежую, огненную кровь израненной старой земли. Она так возбуждается в эти минуты, такое нетерпение испытывает ее душа, так ей страшно становится! И хочется плакать, но — нет слез...

23

В туманное утро серая яблоня стояла вся в белых бисеринках дождевых капель, каждая ее веточка, каждая оживающая почка держала на себе эти невесомые, прозрачные слезинки, которые, отразив небо, казались каплями какого-то молочно-густого и животворного сока, выступившего на ветвях оттаявшего дерева.

Громко пели в лесу дрозды, перелетали, нахохлившись и брачно неосторожные, с вершинок деревьев на другие вершинки, и слышно было тогда, как пострекивали упавшие капли в прошлогодних мокрых листьях на земле. Лес был прозрачен и гулок, птичьи свисты, квохтаье, верещание — все эти близкие и далекие звуки переплетались, наполняя лес неизбывным, очень понятным и до зависти, до душевной тоски необъяснимым ликованием.

В ту весну упали в пору цветения заморозки, и на яблоне завязались на самых нижних ветвях всего только несколько хилых плодиков.

Митя Денисов заходил проститься перед отъездом, был очень смугл после Крыма и красив. Вел себя так, будто ничего не случилось, и очень обеспокоен был самочувствием своего дяди, Сергея Александровича.

— Ему бы жениться, конечно... Я ему говорил об этом. Но он и слушать не хотел, ругался.

— Вы с ума сошли, Митя? — спрашивала Дина Демьяновна. — Прошел какой-то месяц с небольшим, а вы — жениться... Вы хоть сами-то понимаете свою бестактность?

Денисов смеялся и отвечал обескураживающе откровенно:

— Понимаю, конечно... А что делать? Он ведь сохнет. Он пьет все время. А милая какая-нибудь вдовушка прибрала бы его к рукам и омолодила бы старика. Вот я и спрашиваю: что лучше — пить или найти себе женщину? Какое грехопадение полезней?

Она не могла на него даже сердиться, так простодушен и так духовно недоразвит был этот красивый Митя, с которым — о гос-

поди!— свела ее судьба. Она удивленно и обескураженно посмеивалась вместе с ним и не знала что сказать.

— Я шучу, конечно,— поправился Денисов.— А если серьезно, то дядюшка мне совсем не понравился. Между прочим, я бы не сказал, что и вы пишете здоровьем. Вы, конечно, прекрасны, но у вас тени под глазами. К сожалению, не искусственные тени.

И он опять засмеялся, очень довольный своей шуткой.

Таким беззаботным и самоуверенным она еще не знала его, но первое впечатление, которое сразу же сложилось у нее о Денисове, при этой прощальной встрече постепенно развеялось. Она поняла, в конце концов, что Денисов вел себя таким странным образом вовсе не от беспечности и вовсе не так уж он был доволен собой, как ей показалось сначала. Он очень нервничал, и вся его бравада была не чем иным, как попыткой скрыть истинное свое настроение. Впрочем, он и сам проявил наконец-то беспокойство. Оглянувшись на дверь и вполголоса спросил:

— Ну, как ваши дела?

Она поняла, о каких делах идет речь, и очень смутилась сначала и даже глупейшим образом улыбулась. Но озабоченный и настороженный взгляд Денисова разозлил вдруг, и она, с каким-то болезненным вызовом, преодолев свое смущение, посмотрела в глаза притихшего и присмирившего своего любовника.

— Откуда я знаю?— спросила она мстительно и зло.

И тут случилось то, чего она никак не ожидала от Денисова. Да и от себя тоже.

— Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь,— сказал он,— возьмите себя в руки и постарайтесь, Дина, я вас прошу, постарайтесь спокойно понять меня и мой вопрос. Я бы не хотел, вы понимаете... Это невозможно. Вы должны понять, Дина. Вы неглупая женщина и должны понять, что для этого... нужно хотя бы иметь согласие мужчины... Вы меня слышите?

— Для чего «для этого»?

— Ну как «для чего»?

Ей только теперь стал понятен этот неожиданный прощальный визит Денисова, на который она никак уж не рассчитывала, да и не думала совсем об этом.

— Ничего еще неизвестно,— сказала она.

— Значит, есть опасения?

— А почему опасения? Вам-то какое дело! В конце концов, это не ваша забота и вы тут ни при чем... Это мне решать, а не вам — оставить ребенка или нет.

Она сказала и сама вдруг почувствовала неприятный холодок, пробежавший по телу от этих слов, которые она впервые в жизни

произнесла вслух, которые, как пощечина, ударили Денисова, и он напрягся весь от бесстыжей своей трусости, удержать и скрыть которую ему на сей раз не удалось. Она понимала его бессилие и свою обманчивую власть над ним. В злой этой радости она сказала ему так, как никогда никому не посмела бы сказать:

— Может быть, именно от вас я и хочу иметь ребенка, и какое мне дело: против вы или нет. Я так хочу, и никто не запретит мне. Я вас правильно поняла?

— А вам не приходит в голову,— спросил Денисов, не поднимая взгляда,— что это обыкновенная подлость?

— Ну и что ж! Может быть, я хочу таким образом отомстить за некоторых женщин...

— Мне? Отомстить? За что же?

И тут опять, вопреки ее воле, вырвались у нее слова, которые вообще никогда не были ее словами и ее мыслями.

— Все вы одинаковые,— сказала она, отмахнувшись рукой.— Все...

— Успокойтесь, Дина,— попросил Денисов, и что-то похожее на стон прозвучало у него, когда он имя ее называл — Дина...

— Нет, вы послушайте! Успокойтесь! Я разве беспокоюсь? Ничутьки! Раздражение, злость — ну и что? Разве это беспокойство?! Успокойтесь... Нет уж! Все сейчас привыкли самое что ни на есть простое усложнять до чертиков! Этот злой, этот добрый. А теперь говорят: эмоционально неуравновешенный, а тот рационалист, живет рассудком... Не поймешь теперь ничего — хороший человек или плохой. Даже понятие — добрый — всякими соусами стараются разбавить, в дебри какие-то завести... Раз добрый, значит, бесхребетный, значит, устрица, неудачник, болван и простак. Уж лучше злым, но сложным, адаким эмоционально неуравновешенным слыть... Ах, как это все скучно в самом деле! Женится человек, а ему не то чтоб всего себя, ему даже зарплату жене отдавать жалко. Как же! Работал он, а деньги жене! Пусть сама зарабатывает. Вот и вся ваша любовь! Без чести, без достоинства,— говорила Дина Демьяновна, покрываясь пятнами и ощущая свое возбуждение, как физическую какую-то боль.— Послушайте, Митя! Ну зачем же вы так? Я ведь сказала вам, ничего еще неизвестно, а вы...

— А что я? Я не хочу даже думать, что это возможно.

— Ну почему же! Я нормальная, здоровая женщина. Я имею право хотя бы на маленькое это утешение в жизни.

— Да, конечно. Но не таким же способом? Не так? Вы хоть это-то понимаете? Это, знаете ли, бандитизм наоборот.

— А вы, наверное, с удовольствием меня бы прихлопнули сейчас... Угадала?

— Нет, вы, Дина... Давайте-ка лучше договоримся спокойно. Мне завтра уезжать и... Вы просто не хотите меня понять. Уезжать в неизвестность, это... сами понимаете...

Жалкий, отвратительный торг, разгоревшись, продолжался еще долго. Каждый из них с таким мучительным злорадством упрекал в бессердечии друг друга, в эгоизме и черт знает в каких еще грехах, что оба они наконец-то опустошенно умолкли, притихли и словно бы устыдились самих себя и своего небывалого еще падения.

— Успокойтесь, Митя,— сказала она усталым и бесцветным голосом.— Если уж я не захотела иметь ребенка от своего мужа, то сами посудите — зачем мне от вас. Да и не могло у нас ничего такого быть... Вы же знаете. Некоторые мои знакомые, а вернее, один мой знакомый говорит в таких случаях: я пошутил. Вас такая шутка не очень обижает? Впрочем, мне все равно... У нас, конечно, мог бы родиться очень симпатичный ребенок, особенно если бы он пошел в папу... Но увы... Вообще-то советую вам больше читать.

Денисов, вместо того чтобы оскорбиться таким неожиданным признанием, очень растрогался, поцеловал в мучительном смущении обе ее руки, улыбнулся и пожал плечами так, словно сказал ей на прощание: «Что ж тут поделаешь, слаб человек». И, счастливый, ушел.

А Дина Демьяновна заплакала. Она сидела у окна и смотрела на бледный, желтый закат между сизыми в сумерках плоскими домами напротив. И очень странно ей было видеть этот электрически желтый, смазанный закат и такие же желтые зажженные окна в домах. Чудилось, будто это были дыры в сизых коробках, сквозь которые светилась тихая московская заря.

К тому времени они уже переехали в новый дом, успели выкнуть к нему и даже завели собаку. Как они переезжали, нам уже известно. Я рассказал об этом в начале повести, потому что переезд в новый дом был для Простяковых чуть ли не самым важным событием в их жизни. Я нарушил, конечно, хронологию, но сделал это умышленно. Если бы я стал рассказывать об их жизни с последовательностью летописца, то, боюсь, слишком скучная и монотонная история предстала бы перед вашими глазами. Она и так-то течет однообразно... Но что поделаешь! Не всем же людям суждено стать в жизни участниками великих

событий, завоевать какое-то видное место в истории. Далеко не всем в годы войны приходилось склоняться над оперативной картой и принимать какие-то решения. И слава досталась не всем. Я знаю, например, одного человека, который всю войну прошел минером, ни разу не был ранен и не имел никаких наград, кроме нескольких распространенных медалей, которые получали все. Но когда я представляю себе те военные годы, в течение которых этот человек в звании рядового прополз в мивных полях не одну, наверное, сотню километров, освобождая другим пути для наступления, мне становится страшно за эту одинокую, чудом сохранившуюся жизнь.

Страх мой вовсе не сродни тому низкому страху, который психологи квалифицируют как заторможенное бегство. Нет, я имею в виду тот странный и труднообъяснимый пучок неожиданных чувств, которые вдруг взрывают тебя, созерцающего чудо: и восторг, и удивление, и радость — все смешивается тогда в возбужденном сознании... Но ярче всего сверкает в этом взрыве чувств благоговейный, холодящий душу страх за этого человека, который мог бы погибнуть, и я от него — именно от него! — не узнал бы о том многолетнем ратном подвиге, который был совершен незаметным солдатом страшной войны.

Не знаю, жив ли он сейчас. А встретил я его года два назад в маленькой слесарной мастерской и разговорился с ним, советуясь по поводу одной несложной, но довольно хитрой в технологическом смысле поделки, к которой я не знал, как подойти и с чего начать. А он так истово обрадовался, увидев во мне человека, не понимающего в его ремесле, но заинтересованного понять, с такой душевной добротой старался объяснить мне предмет, с таким азартом он это делал, что смотреть на него нельзя было без тихого умиления и восторга. Простую, в общем-то, вещь он объяснял со страстностью такой, будто бы великую философскую идею хотел втолковать человеку, будто проповедь читал, призывая меня в единомышленники. Жиденькие бровки его были высоко вздернуты, глаза с мольбой и надеждой смотрели на меня, на олуха, — серые, мутные глазки, поблескивающие табачной слезой, — и весь он со своими знаниями и с желанием все рассказать, разъяснить словно бы трепетал при мысли, что я не сумею понять его сбивчивый и неясный рассказ, не смогу понять выразительных его и чутких рук, согретых черным металлом, которыми он помогал себе и своему непослушному слову.

Нет, я далек от мысли сравнивать этого человека, его судьбу с судьбой того же Демьяна Николаевича, который в жизни своей не испытывал и десятой доли риска, доставшегося безмянному

герою, не испытал невзгод, которые преследовали солдата и в мирной жизни...

Ничто как будто не объединяет их. Разве можно сравнить судьбу писаря в аэростратно-заградительном полку, простоявшего всю войну под Москвой, с судьбой минера!

Но тогда я все-таки думаю о том, что в житейском мире расставлено для каждого человека не меньше хитрейших мин-ловушек, чем на полях войны. В душе у каждого напугано столько колючей проволоки, столько взорвано мостов, которые надо восстанавливать, и столько крепких мостов надо взрывать, чтобы уйти от преследований мрачных мыслей, которые всегда гонятся за человеком! Когда я думаю так, то во мне опять пробуждается надежда, что терпеливый мой читатель найдет интересным и это жизнеописание.

Умсм своим и рассудком Демьян Николаевич был, вероятно, далек от истины, но правом и волею — добрый человек, хотя, например, всегда считал, что в жизни у него есть враг, или, вернее, недоброжелатель по фамилии Македонский. Его раздражало в этом человеке все: фамилия, улыбка, протянутая для пожатия рука, широкая и по-крестьянски крепкая, но изнеженная за долгие годы канцелярской работы до какой-то восковой стерильности. Рука эта напоминала нечто странное; как если бы откованные кузнецом вилы, предназначенные для тяжелой работы, человек стал бы употреблять для дела, далекого от привычного, отчего добрые вилы стали бы бросаться в глаза нелепостью своего применения: выколачивали бы этими вилами перину или подушки. К человеку этому, казалось, никогда не приставала никакая грязь, и пахло от него восковым теплом, старостью, древностью хороших манер и привычек, чистоплотностью и ухоженностью. Именно этого человека Демьян Николаевич почему-то считал своим врагом, и всякие замечания, которые делал ему Македонский по работе, больно ранили Демьяна Николаевича, и он раздувал свою злость, распял мозг и ухищрялся каким-то образом всякую мелочь увеличить до таких размеров, что придавливал этим комом ала, унижал, оскорблял и перечеркивал прежде всего самого себя.

Сам же Македонский и не догадывался, что есть у него подчиненный, который таит в сердце злость на него. Он бы, наверное, крайне удивился, если бы кто-нибудь сказал ему об этом. Но все дело-то в том, что, кроме Татьяны Родионовны и отчасти Дины Демьяновны, никто и не знал о тайной и очень глубоко спрятанной вражде, которая со стороны могла бы показаться

смешной и похожей скорее на какое-то хобби, чем на истинную враждебность.

Так оно на самом деле и было, наверное. Демьян Николаевич, может быть, таким странным и неосознанным способом самоуверждался в собственных своих глазах и в семье, ради которой жил и внутри которой невольно старался быть мужчиной, имеющим вне дома не только друзей, но и врагов. И он добился своего: для Татьяны Родионовны этот неведомый Македонский стал вообще исчадием ада, кровопийцей и совершенно страшным человеком, именем которого можно только детей пугать. «Демущка далеко бы пошел,— говаривала она порой в минуты откровения Марии Анатольевне,— если бы не этот Македонский. Это просто какой-то кошмар, а не человек. Он столько нервов попортил Деме и мне, что я даже советую Демущке уволиться с работы. Он такой специалист, что его всегда возьмут с распростертыми объятиями».

Когда же Демьян Николаевич вышел на пенсию, первыми словами ее были: «Ну слава богу, теперь пускай Македонский лопнет от злости!»

Я раскрываю эти маленькие секреты Демьяна Николаевича и испытываю некоторую неловкость перед ныне здравствующим стариком, который никогда не давал мне права писать о нем и уж тем более выносить перипетии его жизни на суд посторонних людей.

Делаю я это втайне от него, изменив, конечно, все имена и надеясь, что повесть не попадется ему на глаза. Так оно скорей всего и будет. Но если, не дай бог, и прочтет он ее, то думаю, что не узнает себя, как человек не узнает своего голоса, записанного на магнитофонную ленту. Может быть, ситуация и покажется знакомой, но я слишком хорошо знаю Демьяна Николаевича! Скорей всего он кого-то другого опознает в человеке по имени Демьян и бессознательно разовьет в своем воображении это узнавание и сходство. Впрочем, все может быть. Я ведь не занимаюсь оправданием или осуждением Демьяна Николаевича: не хватало бы мне еще судить старика. Я рассказываю о семействе Простяковых со всей добросовестностью, на какую только способен, не скрывая, как говорится, теневых, но и не выпячивая освещенных сторон этого клубочка жизни. Ну а поскольку они — люди, я не могу, конечно, делать это без определенной симпатии к нему. Тут я в чем-то согласен с Сыпкиным, который, если вы помните, очень интересно, по-моему, высказался о причине своей любви к людям. Это уж ваше дело, великодушный мой читатель, судить, если придет охота, о Простяковых, Скворцовых и прочих

людях, о которых я рассказываю. А заодно и обо мне самом тоже. Вину я свою признаю полностью, на снисхождение не рассчитываю, хотя вы, конечно, заметили мое льстивое обращение к вам: терпеливый, великодушный. Но, уверяю вас, так оно и есть на самом деле! Вы терпеливы и великодушны, если уже осилили мой утомительный рассказ до этой далекой от начала страницы и прочли эти строки.

Мне же давно пора продолжить повествование и не мешать вам больше своими рассуждениями.

Итак, Демьян Николаевич шел однажды в канун Нового года по Тверскому бульвару в сторону Никитских ворот и нес тяжелый старый портфель, набитый вкусными вещами. Душные очереди в Елисеевском, толкотня и людской гомон, усталые, злые продавцы — все это теперь рассеялось и забылось, а осталось только ощущение безбрежной свободы и удовольствия. В портфеле была языковая колбаса, швейцарский сыр, зеленый горошек, бутылка сухого шампанского и, главное, три баночки майонеза, который пропал во всех магазинах, а тут, в Елисеевском, к счастью, появился вдруг, упал с небес, как манна, приведя в радостное возбуждение толпу; все в магазине сразу зашевелилось, послышались возгласы: «Майонез! Майонез!»; люди дрогнули, кинулись к кассам, все смешалось, нарушилась очередь и тот трудно уловимый порядок, который существует у толпы только там, где есть очереди. А Демьяну Николаевичу повезло на сей раз, потому что именно в этот момент он уже приближался к окошечку кассы, не рассчитывая, конечно, на майонез.

Он шел теперь по морозцу и улыбался, предчувствуя радость Татьяны Родионовны, которая, как и сам он, не могла уже представить себе праздничного стола без салата оливье: так уж повелось у них в доме.

Смеркалось, и уже зажгли фонари. Накатанные до блеска ледянки на бульваре, похожие на черные длинные полыньи, отражали электрический свет. Неистребимые, они и побитые скребками дворников были скользки и манили прохожих к мгновенному разбегу и короткому, стремительному скольжению, к детской этой, зимней забаве, рождающей смех и беспричинную, взрывную радость. Ветви деревьев, убранные снегом, смыкались над головой, и фонари с какой-то сказочной таинственностью освещали белое одеяние заснеженных ветвей. Был тот час, когда фонари казались еще необязательными, а свет стывущего, морозного неба был еще ясен, словно бы там, в вышине бледного неба, и не наступал еще вечер, уж спустившийся на землю. Здесь, на бульваре, среди старых деревьев, фонари казались декоративными

светильниками, зажженными только лишь для того, чтобы люди могли любоваться хитроумными переплетениями белых ветвей, сверканием снежинок, лаковым блеском черных ледянок и тем пушистым и словно бы замкнутым, ограниченным снежным комом света, который исходил из глубины неподвижных и промерзших ветвей.

Мороз был сильный, но Демьян Николаевич и не чувствовал его, как бывало в детстве. Он с такой расслабляющей нежностью думал в эти минуты о Москве, об этом старом бульваре и так хорошо у него было на душе, так много жизненной энергии ощущал он в немолодом своем теле и в таком блаженно-приподнятом состоянии вышел к Никитским, что тот огонь, который он вдруг увидел напрогив, на пустом и непривычном голом месте раздвинувшейся вдруг площади, вызвал в нем удивление и восторг, как если бы это рыжее, огромное пламя на месте снесенных домов зажгли специально для него.

Он увидел все это сразу, охватил взглядом, услышал сразу все звуки и все краски, а подходя ближе, понял, что все это видел уже давным-давно и все-таки видел опять впервые. И опять в возбужденном его сознания столкнулись все чувства, на какие только он был способен.

Напротив знаменитой церкви на углу Герцена и Никитских ворот снесли старый квартал. Были там раньше какие-то магазины, и он заходил в них когда-то, но теперь не мог уже вспомнить, какие именно магазины были. И только помнил табачный киоск и черноусого чистильщика в маленькой будочке.

Ясное небо под Москвою было еще светло-синим. Но оранжевое пламя, огромным полотнищем взмывавшее вверх, пожирающее остатки трухлявых балок, сгруденных бульдозером в кучи, словно бы сразу надвинуло кроваво-черную ночь. И даже небо отсюда показалось вдруг багряно-синим и тревожным. В него летели, бешено извиваясь, искры, пронзали ледяной его мрак и гибли. Бормотал мотор бульдозера. Подъезжали то и дело голубые самосвалы к кирпично-белой груде щебня, а над этой грудой, в розовой пыли, подсвеченной трескучим огнем, красная железная рука землечерпалки, складываясь, заграбастывала щебень зубастым, ободраным до оловянного блеска тяжелым ковшом и, возносясь на мощнейших своих шарнирах, в скрежете и грохоте напрягающегося мотора поворачивалась, зависая над кузовом идущей машины. Самосвал вздрагивал под тяжестью рухнувшего щебня и утопал в розовой пыли.

Всего лишь два человека в брезентовых робах видны были на площадке, возле костра: и только машины, машины, машины —

там, на площадке, и здесь толпящиеся и несущиеся вдоль по улице. И другие люди, отрешенные от тех огненно-каменных дел, бегущие вдоль дощатого временного заборчика. Как всегда, сверкали холодным лаком торопливые машины, распуская шлейфы пара на морозе, как всегда, проходили мимо люди, и никому как будто бы не было дела до привычной уже всем им картины разрушения.

Демьян Николаевич тоже не впервые, конечно, видел все это. Но на сей раз был он ошеломлен и подавлен видом великолепного и нечеловечески яростного разрушения, перед которым стоял как вкопанный.

Рухнуло что-то очень привычное людям и как будто бы вечное. А там, за грудой пыльного щебня, за огнем обнажилась вдруг, никогда не виденная Демьяном Николаевичем, малюсенькая, приземистая церковка с маленькой луковкой, скособочившая под запыленной шапкой снега. Она была так мала, что раньше из-за домов ее и не видно было. А теперь вдруг выдвинулась и, розовея в дрожащем свете пламени, сама как будто дрожала от страха и ужаса, раздавленная громадами домов, которые обступили и вознеслись теперь над ней. От этой церквушки взгляд летел к ближним большим домам, а от тех ближних к далеким новоарбатским небоскребам, которые теперь тоже были видны в лиловом небе голубыми каскадами огней, словно это и не дома были, а небесные какие-то чертоги. Но с этих высот изумленный взгляд опять падал на крохотную церквушку, которая так пропылена была, что казалось, будто она из сырой кирпичевой глины вся вылеплена, не успевшей еще просохнуть.

Все было таинственно в восприятии Демьяна Николаевича. И странно ему было видеть, что люди даже не приостанавливались взглянуть на исчезающий вдруг квартал.

Машины вспыхивали стоп-сигналами, притормаживали перед светофорами, гремя промерзшей резиной по асфальту, точно под колесами лопались глиняные черепки. Сочился малиново-красный пар из-под заиндевевших бамперов. И шум в общем-то стоял привычный, усиленный разве только работающими моторами бульдозера, ковша и самосвалов. Крутолобые «ЗИЛы»-стотридцатки деловито ждали своей порции щебня, тех искореженных обломков стен, штукатурки, потолков, стекол и мелких сухих деревяшек, во что превратились некогда теплые и привычные всем дома и магазины. Над дощатым заборчиком, над грудой щебня, над красной ручищей ковша, над бушующим пламенем, над розовой пылью, над машинами, над людьми стыло морозное лиловое небо, в котором равнодушно сияли неземным светом си-

луэты далеких бетонных гигантов и горели желтым огнем окна ближних домов, ближние фонари, осветившие впервые запыленную, как окрашенную земляной какой-то краской, церквушку, окутанную розовой вадрагивающей дымкой отсвета костра. И не только ее: голые деревья глухих некогда двориков выглянули вдруг на освещенную улицу, другие какие-то, внутренние, мелкие домишки вылезли и слезно уставились на свет своими брандмауэрами и углами, в которых тоже, как и в тех, что были снесены, складывались и ломались судьбы незнакомых людей.

Мимо этих открывшихся взгляду миров все двигалось, урчало и хрустело в морозном воздухе, так же, как и вчера, и так же равнодушно все это освещали уличные фонари, словно бы ничего не случилось. Словно бы, помимо воли людей, красные, голубые и желтые машины сломали, разнесли в пух и прах целый квартал, а теперь, как живые какие-то существа, спешили скорее прибрать за собой, пока их не заметили люди, и ворчали друг на друга, огрызались ревом и скрежетом своих моторов, шестерен и блоков. Торопились, видимо, к Новому году.

Очень удивлен и потрясен был Демьян Николаевич. Как будто не дворы старые открылись перед ним, не брандмауэры кирпичных домов, а отвалили как будто стену какого-то длинного дома и показали ему нутро этого каменного муравейника, или, если можно так сказать, человечника... Старую, одряхлевшую Москву осветили и предложили для обозрения, как некий экспонат. Но никто не обратил на это внимания. Даже майонез, появившийся в продаже, произвел волнения больше, чем этот исчезнувший квартал. Демьян Николаевич подумал было, уж не чудится ли ему все это, не во сне ли он! Что-то театральное и очень условное было в этом зрелище, во всевозможных подсветах и шумах. Странное видение!

Сколько раз видел, как сносили, ломали дома, а никогда не испытывал такой тревоги и радости, такой пронзительной любви к городу. Словно произошел в нем взрыв обожания и восторга. И печально стало на душе от необратимости всего, что происходит и произойдет. Все-таки жалко видеть, как ломают дома. Рушат эти глазастые и добрые существа, пропахшие магазинами, сапожными мастерскими и теплыми печками в комнатах, в которых зачинались когда-то и крепили чьи-то жизни и витали по ночам сны, чернели какие-то знакомые пятнышки на обоях, трещины на потолках, были молодые женщины, кормящие младенцев, было счастье пополам с горем — все было. Было, а теперь нет. И что-то будет новое, сквер или дом, которые тоже станут привычными, но уже для других людей.

«Старый я стал совсем,— подумал Демьян Николаевич в смертельной усталости, которая вдруг придавила его.— Слезы и радость — все теперь вместе. Глупая и заманчивая штука... Какая странная штука. Радость и слезы — все вместе».

24

Примерно так же был снесен и дом, где жили Простяковы. С той лишь только разницей, что чугуиной грушей не удалось разрушить чуть ли не метровой толщины стены и пришлось вызывать взрывников. Но как все это происходило, никто из Простяковых не знал: смотреть на развалины своего дома ни у кого из них не хватило сил.

Простяковы, и особенно Татьяна Родионовна, долго не могли привыкнуть к новому дому, к кварталу больших, одинаковых домов, в одном из которых они теперь жили. Угнетала похожесть всего.

Летними теплыми и светлыми вечерами распахивались все окна в домах. Москва, которая теперь казалась далекой, утихла, как разогретый мотор, воркотливо работающий на малых оборотах, и в этой непривычной тишине Татьяна Родионовна холодела от страха, когда раздавались вдруг из всех домов душераздирающие женские вопли, взвизг тормозов, выстрелы и снова взвизг, стоны и голоса грубых мужчин, гулкие и громоподобные.

Никак она не могла привыкнуть к этой стрельбе, крикам и одинаковой музыке, рвущейся из окон, никак не могла осознать, что это всего лишь навсего показывали какой-нибудь фильм по телевидению, а звуки рикошетили, как шары, от стен плоских, колодцем поставленных домов.

Она даже Демьяну Николаевичу жаловалась и даже плакала иногда, вспоминая свой тихий дом, окна которого выходили на улицу. Уличный шум был привычен им, и они не замечали его, как не замечают люди тишину. Здесь же все было наоборот: тихо, но очень шумно, и шум этот бил по нервам.

Но всеильное время успокоило их, они завели собаку, кормили ее до безобразия и полюбили так, что даже кроткая по натуре и тихая Татьяна Родионовна стала ругаться с новыми своими соседями, с жильцами соседних домов и просто с прохожими, если те что-нибудь пелестное говорили о Карая, с которым она иногда выходила гулять, или если гнали ее со двора и бранились, обещая написать жалобу в милицию за то, что она своего кобеля выгуливает не на месте. Татьяна Родионовна распалаясь тогда и тоже бранилась и кричала, защищая Карая и себя от на-

падок. «От собаки-то радость, а от вас только гадость!» — кричала она срывающимся голосом. А дома пила валерьянку и долго не могла успокоиться, переживая все эти неприятности, с которыми столкнулась впервые в жизни. Демьян Николаевич запрещал ей выгуливать Карая, а когда выходил с ним сам, мечтал, чтобы кто-нибудь его попрекнул собакой, кто-нибудь сделал замечание, мстительно думая о том, как он ответил бы этим людям, как далеко бы он их послал. Но то ли люди другие попадались, то ли не хотели связываться с женщиной — такого случая не представилось ему ни разу. Видимо, тут и в самом деле срабатывала обыкновенная подлость: раз женщина, значит, можно и напасть, а от мужика сдачи зарабатывает.

Но как бы то ни было, новая жизнь захлестнула их всех и даже как будто бы омолодила стариков, которые впервые в жизни почувствовали себя равными среди людей, в то время как в старом доме люди, «знавшие их прошлое», относились к ним с некоторой долей предубеждения, и Простяковы невольно чувствовали свою отстраненность и чужеродность у себя в доме, хотя никто из соседей не выказывал неприязни к ним, а скорее даже наоборот — их привечали, соблюдая при этом незримую дистанцию, не отталкивали, но и не подпускали близко, словно бы не до конца доверяли им. Странное и очень сложное положение! Никто не повысил голоса на них, и никто, конечно, не обругал их ни разу. Ничего, кроме почтения и вежливых улыбок, не знали Простяковы в старом доме, живя среди людей какими-то обнищавшими, разорившимися барамы, к которым люди привыкли относиться с жадостливо-почтительным уважением, непонятным образом подчеркивая всякий раз, помимо воли своей, разницу в житейском опыте, не унижаясь при этом, но и не возносясь в излишней гордыне.

А в новом доме никто их не знал. Они были своими здесь. А раз свои, значит, можно и поругаться.

Именно это обстоятельство очень устраивало Простяковых, именно это свойство позволяло Татьяне Родионовне ругаться с людьми, чего она никогда бы не позволила в старой своей жизни, словно бы там она не имела на это права, а теперь, на старости лет, отвоевала наконец-то его.

Они и сами толком не понимали, что произошло с ними, и если бы кто-нибудь попытался объяснить им необычную их ершистость таким вот образом, они бы, конечно, подняли на смех этого человека.

Но факт остается фактом: кроткая Татьяна Родионовна почувствовала вкус к ненависти и любви, к тем крайним проявлениям

человеческих чувств, до которых она никогда раньше не доходила. Она не задавалась вопросом: плохо это или хорошо — она просто жила, волновалась, злилась на людей, кого-то успела полюбить, кого-то возненавидеть, и ненависть ее была реальна, четко выражена и направлена, не имея ничего общего с той придуманной, мнимой ненавистью, которую она когда-то испытывала вместе с Демьяном Николаевичем к пресловутому Македонскому.

Даже Дина Демьяновна, поселившись в этом огромном общежитии, разделенном на ячейки отдельных квартир, стала проявлять себя с неожиданных каких-то сторон.

Однажды она возвращалась из библиотеки домой. Был зимний вечер, сильно морозило, и снег хрустел под ногами. Щеки замерзли и онемели, и она теплой рукой согревала их.

Дина Демьяновна уже подходила к дому, когда услышала и увидела троих полушьяных парней, которые били сбитого пазем, закрывшего лицо человека.

С ней вдруг такое случилось, чего она и сама не могла бы толком объяснить! Какая-то сила толкнула ее в этот черный и мрачный клубок на снегу, в звериное его сопение, в жестокость. Она закричала, не помня себя:

— Вы что?! Вы что тут! Прекратите! А ну прочь! Не смей его бить!

Схватила одного из ошалевших парней за рукав, ворвалась, вклинилась, толкнула кого-то в грудь, крича в остервенелое лицо, в картонную пустую маску какие-то слова гнева...

И вдруг увидела людей, которые издали смотрели на это избиение, стоя там, за чертой. А она тут! Но парни, у одного из которых был окровавлен нос, как-то нехотя, словно бы в замедленной съемке, отшатнулись, сделали шаг, другой в сторону, один из них замахнулся на Дину Демьяновну, но ударить не осмелился и только мазнул ее перчаткой по щеке, что-то дурное и омерзительное, как плевок, сказав при этом; у него было совершенно безумное лицо, он загнанно дышал, поправляя пушистую дорожную ондатровую шапку на голове... И вдруг они все побежали. Неохотно, подвластно, но все-таки побежали, а люди, которые смотрели, посторонились, когда они пробегали мимо, а один молодой мужчина, попятившись, ступил в сугроб и неуклюже завалился в снег, а потом, когда парни скрылись, стал отряхиваться.

И она не успела испугаться.

Только тогда, когда парни убежали, две женщины подошли к Дине Демьяновне, испуганно спрашивая:

— Ударили, да?! Ударили?

Подняли избитого парня, который тоже был пьян, и стали спрашивать у него:

— За что опи тебя?

Но тот молчал и злобно, мстительно плакал.

— Напьются, сволочи проклятые!— стали ругаться женщины.— Изобьют друг друга до полусмерти и довольны! Небось вместе пили-то! Во-во! Где ты живешь-то?

А Дина Демьяновна машинально подняла его рыхлую, кроличью ушанку, отряхнула и подала парню.

— Надень, простудишься,— сказала она. И парень послушно надел, морщась от боли и обиды.

Тогда женщины спросили у нее:

— А вы что, его знаете, что ль? Это ваш?

— Нет, конечно... Откуда?!

Они на нее недоверчиво посмотрели и, промолчав, стали уговаривать опять парня, чтоб тот немедленно шел домой, и вызывались проводить его, если недалеко.

Мужчина, который побывал в сугробе, тоже приблизился и сказал нерешительно:

— Надо бы его в милицию отвести.

— Ну и мужчины пошли нынче!— сказала одна из женщин и неестественно как-то засмеялась.— Ну, чего подошел! Где ж ты был раньше? Герой...

А тот сказал в ответ возмущенно и задиристо:

— Да-а! Конечно! Так бы они и послушались меня! Они бы мне дали по морде, а то и пырнули бы...

— А она что? Она железная, что ль?! Пырнули бы! Вот и жаль, что...— выкрикнула женщина и, задохнувшись вдруг презрением, умолкла.

Тот потоптался, потоптался и, как побитый, ушел, терзаемый запоздалой совестью, а может быть, оскорбленный в лучших своих помыслах, непонятый «грубыми бабами». Женщины повели парня домой. Зрители разошлись.

А Дина Демьяновна, оставшись одна, перетрусила ужасно и осторожно пошла к своему подъезду, оглядываясь, испуганно таращась в злые, коварные теперь потемки, ожидая на каждом шагу мстительного нападения. Потом долго не решалась войти в подъезд...

Успокоилась она только в лифте, в голубом его пластиковом сиянии и натужном гуле мотора. Потрогала щеку, которая саднела так, будто по ней с размаху мазанули грубой наждачной бумагой. Посмотрела на пальцы — крови не было. «Ну конечно, откуда ей взяться! Он же перчаткой... Просто озябшая кожа сад-

неет. Ну вот... вот как ужасно все получилось! Теперь проходу не дадут. Узнают, избыют... Господи, зачем это я?! Что мне, больше всех нужно! Дура несчастная!»

Она в этом страхе прожила еще много дней и особенно вечеров, каждый раз вздрагивая и столбенея от ужаса, если видела впереди себя парней в пушистых шапках. Но, как говорится, бог миловал.

Ни матери, ни отцу, она, конечно, не рассказала о случившемся. И правильно сделала, потому что иначе жизнь для них стала бы адом, а Демьян Николаевич часами бы дежурил по вечерам возле автобусной остановки и еще, чего доброго, простудился бы.

Сама Дина Демьяновна никогда, наверно, не узнала бы тех парней в лицо и тешила себя надеждой, что они тоже не запомнили ее. У нее же остался некий слуховой портрет этих подростков: она надолго запомнила их голоса и особенно голос того, что был в ондатровой шапке и в мохеровом кашне — сытый и до омерзения неприятный, утробный тенорок с какими-то квакающими, блатными звуками. И эта черно-коричневая, тонкорунная шапка... Добрый и симпатичный зверек! Из шкурки его сделали шапку словно бы лишь для того, чтобы хоть как-то оживить, очеловечить мятую картонку лица... Господи! До чего же ей жалко было убитую ондатру!

И когда в метро она случайно увидела Петю Взорова, который понуро сидел рядом с маленькой и очень миловидной девочкой, доверчиво положившей свою ручку на его колено, когда она увидела эту девочку, которая молча и задумчиво оглядела Дину Демьяновну, остановившись на ней взглядом своих добрых и умных глаз, — все в ней обмерло, у нее сперло дыхание, она деревянно и незряче шагнула к дверям вагона и, не замеченная Петей Взоровым, повернулась спиной к тому знакомому, страшному, забытому, умершему и вдруг так некстати воскресшему мужчине, у которого на голове была пышненькая, вся светящаяся, живая, как коричневый какой-то пушистый цветок, ондатровая шапка, а на колене рука девочки...

В вое и грохоте поезд мчался в мрачном тоннеле, мелькали за стеклами тусклые пятна света, вспыхивая в ритме колотящего сердца, змеились по бетонной плоской стене толстые провода... И не было конца этой гулкой подземной трубе, скрежету, вою и грохоту...

Она, ослепленная и оглушенная, шагнула в толпу на перрон, ее затолкали, а она небывадым усилием воли заставила себя

оглянуться и посмотреть туда, где только что сидел задумчивый призрак рядом с маленькой девочкой. И она опять увидела его, так же понуро сидевшего, словно придавленного роскошной большой шапкой. Похудел, залегли, врезались четкие морщины на впалых щеках, под глазами... Стал красивый? Может быть, даже лучше, чем был... Девочка внимательно смотрела. Чья-то спина загородила видение. Сдвинулись двери. Она сделала быстрый шаг в сторону. Теперь можно, теперь очень нужно, чтоб он увидел... Еще чья-то меховая спина, чей-то бок... Но вдруг он открылся... Поезд тихонечко тронулся... Он поднял голову, мельком взглянул на нее... Или нет? Все-таки на нее и узнал сразу, как и она его... Губы его дрогнули, глаза удивленно улыбнулись... И все! Замелькали другие окна, другие лица, быстрее, быстрее — все смазлось... Сияние промчалось, оборвалось последним вагоном, черной неподвижностью шпал, зудом поблескивающих рельсов.

Он все-таки увидел ее. Полуулыбка его, как испуганный вздрог... Он только теперь, когда поезд мчался в тоннеле, осознал, наверное, что увидел ее. Только теперь он думает о ней что-то. Только теперь.

Это было в марте. В хороший, голубой день. Она была в красном пуховом берете цвета спелой черешни и в черном пальто до колен, приталенном и расклешенном, на ногах французские лакированные сапожки, а в руках модная сумочка-сундучок тоже черешневого цвета. Она себе правила в этот день, хотя в глазах у нее паутинилась усталость.

Она стояла на краешке перрона в ожидании другого поезда и потаенно, зыбко улыбалась.

25

В семье Простяковых с незапамятных времен бытовали выражения необщие, нечасто встречающиеся, а некоторые и вовсе непонятные или во всяком случае трудно объяснимые. Так, например, если Татьяна Родионовна куда-то спрятала, положила, убрала какую-нибудь вещьцу, а потом никак не могла найти ее, она сокрушалась и говорила озабоченно: «Куда это она забельшилась?» Были, конечно, и более распространенные, грубоватые на слух, но звучащие в доме Простяковых не грубо и не обидно, а скорее насмешливо-ласково: «Ну что ты дурью мучаешься!» А когда ругались, посылали друг друга в болото. Но это бывало так редко, что со временем утратило свой бранный смысл и стало просто выражением лукавого несогласия, эдаким добродушным намеком на ворчание: «Ну тебя в болото...»

Демьян Николаевич очень любил рассыпчатую, только что с огня, размятую вилкой и аккуратно собранную в рубчатый холмик картошку на подсолнечном масле, две румяные котлеты, приготовленные Татьяной Родионовной, и обязательно холодную воду из-под крана в хрустальном стакане. Привычка эта к холодной воде была старой, но Татьяна Родионовна не уставала повторять с укоризной: «Вот будет у себя заворот кишок от горячего с холодным». А когда на тарелке появлялся еще соленый огурец рядом с картошечкой, Демьян Николаевич не смог бы, наверное, назвать блюда более аппетитного и вкусного, чем это: картошка, две котлеты, огурец и стакан воды. Когда они садились за стол, чайник уже начинал шуметь на плите, и сразу же после еды они чай пили... Именно «чайпили», а не пили чай! Глагол и существительное объединялись таким образом в одно сложное слово, в некий глагол, который можно даже спрягать: «Я чайпью», «Он чайпьет»... Только в этом случае получалось не «чайпьет», а что-то вроде «чайпиит». Когда кто-нибудь звонил по телефону и звал Демьяна Николаевича, Татьяна Родионовна говорила: «А мы сейчас чайпим. Может быть, вы попозже позвоните». Таким же сложным словом было еще и Москварека. «Москва» в этом слове не склонялась в разговорах, а говорилось на Москвареке, за Москварекой... И таилась какая-то необъяснимая прелесть в этом старомосковском словообразовании.

Самым же обидным словом, высшей мерой презрения было в семье Простяковых слово «жабод» и «жабодка», дошедшее до них, по-видимому, со времен Наполеона, когда, по всей вероятности, так называли врагов России, захвативших священную Москву. Тогда оно носило конкретный смысл, грубо и презрительно обозначая известные привычки завоевателей. Теперь же приобрело смысл отвлеченного ругательства, ибо для русского уха оно неблагозвучно и бранчиво даже по своему звуковому сочетанию.

Но трудно сказать, кого и когда, кроме Македонского, обзывали Простяковы этим словом! Оно никогда не произносилось всуе, словно бы хранилось, как смертоносный яд, на самый крайний случай.

...Демьян Николаевич не оставлял бедного своего друга и часто навещал его. И если раньше он приезжал к Сергею Александровичу вместе с Татьяной Родионовной, то теперь стал это делать в одиночку, боясь лишний раз напомнить другу о своем супружеском благополучии.

Он заставлял Сергея Александровича в неприбранной, накуренной комнате и частенько пьяным и небритым. Слезы тогда

текли из мутно-голубых глаз вдовца при виде Демьяна Николаевича, он усаживал его за грязный стол, накрытый клеенкой, наливал рюмку водки и заставлял выпить ее в память Марии Анатольевны. И не было тогда никакой возможности отказаться от мрачной рюмки.

— Зачем же ты пьешь-то? Один... Брось, Сережа! Не надо этого делать.

— А ты чего ж ко мне не часто заходишь! Вот и пью один. Знаешь, Дема, горе не по лесу, а по людям ходит... Женюсь я, наверное... Не могу один. Хоть в петлю!— Сергей Александрович пьяно усмеялся, видя испуг в глазах друга, и продолжал:— Женюсь на большой женщине. Маруся маленькая была, а я на большой теперь женюсь. Во-от такого роста! Буду маленький при ней, послушный и любить ее буду, как мать. Можно?

— Ну что ты такое говоришь, Сережа! Что говоришь-то! Куда уж тебе жениться, о боге пора думать, а ты — жениться. Да и кто пойдет за тебя?

— А что ж я, по-твоему, совсем никуда не гожусь?!

— Ну если только в сыновья...

— Ничего ты не понимаешь, Демка! Ну тебя к черту, скучный ты человек! Ну ладно, ладно... Нельзя так нельзя. Давай тогда выпьем... Ну ее к черту! Наливай!

— Хватит, Сережа.

— И это нельзя?— спрашивал он жалобно.— Ничего нельзя? Ну почему, Дема? Почему ты даже выпить не разрешаешь мне?— говорил он с обидой, и Демьян Николаевич боялся, что друг его расплчется.

А однажды он испугался, застав Сергея Александровича лежащим в одежде на кровати и разглядывающим платья Марии Анатольевны, развешанные на плечиках по стенам. Все, какие были, платья он вынул из шкафа и теперь с отрешенной улыбкой смотрел на них и Демьяна Николаевича тоже приглашал к этому странному созерцанию.

— Видишь, какую выставку устроил,— сказал он, не сводя глаз с поникших, как флаги, платьев.

Демьян Николаевич молча сел рядом с ним на стул и спросил хриплым голосом:

— Ты как себя чувствуешь-то, Сережа?

— Чего ты спрашиваешь? Не видишь — с ума сошел,— ответил Сергей Александрович и засмеялся.

— А... зачем?

— Что «зачем»?! С ума сошел?

— Нет... Ну да, все это,— сказал Демьян Николаевич и повел

головой в направлении развешанных платьев, почему-то боясь посмотреть на этот яркий, но безжизненный и словно бы могилкой пахнущий тлен.

— Вот в этом, в пестреньком,— говорил между тем Сергей Александрович,— мы с Марусей летали в Крым... Оно выгорело на солнышке, стало совсем светленькое... Видишь? А Маруся коричневая от загара,— говорил он, и взгляд его останавливался в каком-то счастливом и блаженном безумии, словно бы в пустом вороте крепдешинового платья видел он живую шею, видел выгоревшие брови на стене и счастливое, теплое лицо, черты которого никак не могли успокоиться и зыбились в мысленном его, напряженном взоре.— А это ты помнишь?

— Какое?— в страхе спросил Демьян Николаевич.

— Вот то, синее с белой отделкой...

Демьян Николаевич часто видел Марию Анатольевну в этом шерстяном платье, которое теперь безжизненно пласталось на стене, подвешенное к одному из гвоздей, которые Сергей Александрович вбил в стены специально для этих платьев. Ему очень не нравилась жуткая эта выставка, но он боялся оскорбить друга и, перевозмогая себя, стал тоже разглядывать жалкие одежды покойницы, испытывая какой-то мистический ужас при этом, словно бы он присутствовал при раскопке свежей еще могилы, мнясь с этим кощунством. Очень сложные чувства обуревали его. Но он все-таки ответил на вопрос Сергея Александровича:

— Ах, это... синее... да, я помню.

— А ты помнишь,— оживленно спросил Сергей Александрович,— к какому дню она сшила это платье? Э-э, брат, забыл! Для серебряной свадьбы! Она нигде не могла найти серебряной нитки, ей очень хотелось не белую, а серебряную отделку на платье... Но это тоже было очень хорошо на ней, синее с белым.

— Да, ей очень к лицу было... это платье.

— А я больше всего любил это... вот то, что рядом с пестреньким, вот в углу, да... Как этот цвет-то называется? Забыл...

— Терракотовый.

— Во-во! Ей оно не очень нравилось самой, говорила, что оно полнит ее. Вот дурочка! Ее-то полнит?! Она не хотела его надевать, и всякий раз я уговаривал ее: ну для меня надень! Просил ее... А она ни в какую! Раза два, три за все время надевала... Не любила, а я очень любил. Полнило! Ну и что? Разве ее портит полнота? Ей бы вообще не прочь было потолстеть... Как ты считаешь? А?

— Не-е знаю,— ответил Демьян Николаевич, не на шутку уже

перепуганный странным поведением друга.— Сережа, ты... убери все это. Зачем? Это тени. Я боюсь обидеть тебя, но это нельзя... Это ни к чему. Сережа, милый, послушайся меня! Спрячь их в шкаф или отдай кому-нибудь, продай в конце концов...

— Как это продай?— мрачно спросил Сергей Александрович.— Ладно, не мешай мне. Ты чего пришел? Какое тебе дело?

— Не обижайся, Сережа. Я хотел как лучше...

— А лучше будет, если ты оставишь меня одного. Ты тоже не обижайся. Я не гоню тебя, но дай же мне хоть на тени эти полюбоваться... Дай, слышишь! Уходи. Потом, потом придешь, а сейчас... Ну что ты сидишь?..

Демьян Николаевич в страшном расстройстве ушел от него, а когда дома рассказал обо всем Татьяне Родионовне, она очень встревожилась, не велела ему даже раздеваться, быстро собралась сама, прихватила какие-то лекарства, и они опять поехали к Сергею Александровичу.

Прошло не больше часа с тех пор, как Демьян Николаевич ушел от него, но когда вернулся вместе с Татьяной Родионовной, в стенах торчали только большие гвозди, а платья были все сняты и грудой лежали в углу на стуле.

— А-а-а, гостюшки!— сказал как ни в чем не бывало Сергей Александрович.— Проходите, проходите. Я тут Демку-то выгнал, так он, я вижу, за подмогой бегал. Бить будете?

Татьяна Родионовна ласково улыбалась и говорила с укоризной:

— Побить бы тебя не грех... Сереженька. Да уж не будем. Я вот тебе сейчас накапаю капелек, а потом приберусь у тебя, посуду помою, пол подмету... Давай-ка сразу форточку откроем, проветрим комнату, а то у тебя тут дышать нечем... Вот так... Отойди от сквозняка.

А у Сергея Александровича на губах играла мелкая какая-то, внешняя, колкая и дрожащая улыбочка, был он бледен, словно бы только что ужасно перепугался, а теперь приходил в себя и рад был гостям.

— Ну и трепач ты, Демка!— сказал он растерянному и удрученному другу, который как стал в дверях, так и смотрел оттуда исподлобья.— Ну чего ты? Чего ты смотришь на меня? Отойди со сквозняка, тебе говорят!

Он пытался говорить это с обычной своей шутивостью, но лишь одна Татьяна Родионовна ласково и приветливо улыбалась ему, искусно пряча за хлопотами свою тревогу. Она уже увидела груды платьев и первым делом стала убирать их в шкаф.

В этот вечер Сергей Александрович расплакался за чаем, раз-

рыдался, как обиженный ребенок, а Татьяна Родионовна прижала седую его голову к своей груди и, без кровиночки в лице, стараясь улыбаться, гладила нежные, как пух, непривычные под ладошкой волосы и, утешая, говорила про лето, про дачу, когда они вместе будут жить, ходить в лес за малиной и за грибами. Казалось, Сергей Александрович именно от ее рассказа успокоился, окреп немпожко, умылся и стал опять пить чай, хмуро улыбался, словно бы не мог простить себе слабости, стыдясь Татьяны Родионовны, которая, как мать, утешила его, горемыку.

Запись в дневнике Дины Демьяновны. Стремительный, стелющийся, как трава на ветру, почерк.

«Дайте что-нибудь про старые времена, про рыцарей каких-нибудь, принцев... Какой-нибудь роман».

Пожилая, молодящаяся женщина — одна в библиотеке. Не просит — требует, зная о своих правах. Приношу ей только что полученный, пахнущий типографской краской и клеем жесткий томик Жорж Санд.

«Нет,— говорит,— это новая книжка, такую мне не надо, мне какую-нибудь старую, рваную, несовременную».

«Но это как раз то, что вам надо. Мы ее только что получили, это новое издание».

«Нет, нет... Вот, видите,— показывает на чистый формуляр,— ее никто не берет».

«Ее еще просто не успели взять, вы первая, кому я предлагаю».

«Нет, вот когда ее порвут, тогда, может быть, и я ее почищу. Дайте мне что-нибудь рваненькое, старое...»

«Ну, как хотите»,— сказала я и принесла ей какие-то потрепанные книжки.

Она стала их смотреть, листать распухшие, серые страницы с истертыми углами, а в это время пришла девушка и увидела у меня в руках томик Жорж Санд.

«Ой, у вас есть Жорж Санд!— воскликнула она.— Дайте мне, пожалуйста».

Я увидела, как женщина покосилась на девушку и на книгу в моих руках. Пришла еще одна читательница и тоже воскликнула:

«Жорж Санд! Дайте мне скорее! Это что, новое издание? Как давно я хотела почитать!»

Женщина захлопнула старую книжку и брезгливым тоном сказала:

«Я первая стояла. Я беру эту книгу. Запишите мне... А вы не лезьте без очереди!»

Типичный пример стереотипности мышления.

Знаю одну одинокую женщину, которая на всех праздничных вечеринках бывает, однако, с каким-нибудь мужчиной, и всякий раз с новым, хуже или лучше прежнего. Как правило, компания состоит из супружеских пар, и женщина эта, смущаясь, говорит всегда одно и то же: «Познакомьтесь, это мой партнер».

Звучит это очень тоскливо: партнер. Но женщину любят ее друзья, жалеют ее и всегда рады видеть ее с партнером. Так им спокойнее. Нет среди них несчастных, нет неудачниц — у всех есть партнеры. Однажды она не пришла в привычную компанию на седьмое ноября, сославшись на простуду. Но я-то знала, что в этот раз у нее не было партнера... Не смогла прийти одна.

Тоже стереотипность мышления? Если да, то это страшно — мыслить стереотипно».

27

Демьяна Николаевича странным образом взбудоражили слова Сергея Александровича о большой женщине. В ночные, предсонные часы к нему самому вдруг стала являться эта загадочная великаниша, он воображал ее рядом с собой и очень волновался при этом, словно боялся, что Татьяна Родионовна услышит его греховные мысли, увидит эту плодородную, белокожую, рубенсовскую женщину, способную народить ему кучу детей. Он вздыхал и ворочался, слыша, как стучит его сердце в подушке, и засыпал в сладкой тоске по давно утраченной возможности иметь много детей.

Он стал тосковать о детях, об их голосах, смехе, слезах... Гнал от себя эти мысли, но тщетно и по утрам виноватился перед Татьяной Родионовной и дочерью, ласкался к ним без меры, будто и в самом деле большая женщина приходила к нему.

Тем страшнее было известие, что милый и несчастный Сережа тайком от них женился на молодой еще вдове, у которой было двое взрослых детей. А однажды в июне он приехал с нею на дачу, не предупредив никого.

Это был один из самых печальных дней в жизни Простяковых, хотя начался субботний день хорошо. Дождевая вода не успела еще высохнуть с ночи, в помятой ливнем, полегшей траве блестели чистые лужи, жаркий солнечный свет согревал землю и эту сверкающую, мокрую траву, пахло цветами и лесом...

И вдруг из тенистого леса большая светлая женщина вышла

по тропке и остановилась в нерешительности, похожая на огромную, пугливую кенгуру — ширококопая и узкоплечая, в круглых темных очках-«стрекозах», которые, казалось, совсем скрывали лицо. Высокое это и очень женственно сутулящееся существо, замерев, оглянулось на темный лес.

Демьян Николаевич и Татьяна Родионовна в это время окучивали картошку, а увидев ее, тоже замерли в согбенных позах и молча вперились в эту чужую, забредшую к ним на участок.

Молчаливая сцена была похожа на какую-то сценку из жизни лесных обитателей, пасущихся на сочной солнечной поляне, они словно бы настороженно принюхивались, ловя запахи чужой в душистом воздухе, опасно всматривались в нее, вышедшую из леса на их поляну, а та, чужая, в свою очередь, тоже с опаской остановилась, не решаясь приблизиться, и, напряженная, не знала, что ей делать.

Очки блеснули на солнце, чужая снова посмотрела на замеревших своих сородичей и опять оглянулась на лес, из зеленого хаоса которого вдруг вышел на солнечный свет седой и долговзый Сергей Александрович с неизменным рюкзаком за плечами.

А чужая, дождавшись, когда он поравняется с ней, улыбнулась и пошла с ним по тропке к дому, мощно и легко ступая своими ветвисто-огромными ногами по мокрой земле. У нее была маленькая, красивая головка, которую она привычно несла в каком-то постоянном и игривом полупоклоне.

Ленивый Карай, дремавший на террасе, вскочил как ужаленный и захлебнулся в запоздалом, испуганном лае и, словно бы предчувствуя недоброе, возбудился небывало, ошетинился, оскаллился и норовил укусить чужую, которая остановилась опять в нерешительности и свысока поглядывала на собаку.

Демьян Николаевич в майке и трусах кричал на Карая, гнал его прочь и, тоже возбудившийся, как и Карай, никак не мог совладать со своей растерянностью, с этим рухнувшим на него несчастьем, боялся поднять глаза на женщину и втайне благодарил собаку, которая никак не хотела успокаиваться и с которой ему приходилось чуть ли не драться, отвлекаясь таким образом от неожиданных гостей или, вернее, от новых хозяев и, главное, от хозяйки, новой барыни, как он успел уже подумать о ней... Он словно бы делом занят был, воюя с собакой, а потому и не мог как будто с должным вниманием отнестись к гостям.

— А он вообще-то кого-нибудь слушается? — с иронией в голосе спросила женщина. — Какой-то дурной пес! Да уймите его наконец! Сережа, ну а ты-то что же?

Демьян Николаевич в свирепом бешенстве больно ударил неумного Карая ногой, тот взвыл, откатился в сторону.

— Я палку сейчас!— крикнул ему вне себя от злости Демьян Николаевич и, возбужденно сопя, добавил:— Он не кусается... не бойтесь. Это что-то... впервые... Он добрый.

А Татьяна Родионовна гневно посмотрела на мужа и, еле сдерживаясь, пошла ласкать и жалеть Карая. Гладила его и приговаривала добрым голосом:

— Бедная моя собака, хороший мой Караюшка, моя серая. Ты у меня самый добрый и самый умный на свете...— И не обращала никакого внимания на гостей.

Так они еще никогда не встречали Сергея Александровича, который, кстати, тоже был угрюм в этот день, пребывая в каком-то агрессивном, скрытном молчании. Его, конечно, обидела такая встреча, и он не мог понять Простяковых, которые вели себя более чем странно, избегая даже взглядов его, ссылаясь на занятость, находя себе все время какие-то дела.

Женщину звали Анной Михайловной, она ходила по дому, как по музею, ни к чему не притрагиваясь и только разглядывая стены, окна, потолки, старую мебель, террасу. И на губах ее играла чуть заметная, потаенная улыбка. Она словно бы с изумлением привыкала к новому своему положению в жизни и еще не верила, что теперь она хозяйка этого дома.

Но привыкание длилось недолго. И уже вечером она вежливо объявила, что Простяковым, увы, придется потесниться, потому что на лето сюда придет ее старшая дочь с ребенком.

— Но вот как быть с собакой?— спросила она у Сергея Александровича.— Грудной ребенок и собака. Я не знаю, вряд ли это совместимо.

Сергею Александровичу трудно было что-либо ответить ей на это. А Простяковы с надеждой смотрели на него, не осознав еще своей обреченности, не в силах поверить в это рухнувшее на них несчастье.

Демьян Николаевич, покашливая, сказал:

— Собака будет жить с нами, мадам.

— А почему мадам?— спросил Сергей Александрович и поглядел на него исподлобья.

Все они сидели в сумерках на террасе, пили чай. Пахло ночными цветами, душистым табаком, кусались комары, а в лесу пел запоздалый соловей, не первый год уже прилетавший в этот лес.

— А потому, что я... мы,— сказал Демьян Николаевич,— потому что... В общем, я все сказал. Простите, если обидел вас. Я не хотел... Но о собаке можно было бы нас спросить, а не Сергея. Это все-таки наша собака.

— А чем она вам не угодила?— вмешалась Татьяна Родионовна.— Облаяла? Привыкнет...

Она сидела у самовара и ни жива ни мертва, удивленно, не веря своим глазам, смотрела на хмурого Сергея Александровича, который ни слова не вымолвил в защиту их прав.

— Странно слышать, что женщина вашего возраста так рассуждает,— сказала Мадам.

— Что-нибудь придумаем,— наконец сказал Сергей Александрович.— Собака есть собака.

Демьян Николаевич зло усмехнулся и, защищая уже не собаку, а раздавленную, убитую свою Танюшу, покашливая от волнения, сперто спросил:

— Что же ты придумаешь?

— Можно ведь посадить его на цепь?— вопросом отозвался Сергей Александрович.

— Сережа!— взмолилась Татьяна Родионовна.

Но Демьян Николаевич успокоил ее:

— Танюша, не волнуйся... Ты же знаешь... скорее я сам сяду на цепь. Чего волноваться!

Чай остыл. Сергей Александрович курил, роая пепел на пол. Все как будто оцепенели, и только Мадам украдкой оглядывала террасу и старинный буфет возле бревенчатой стены. Тупое, бессмысленное молчание угнетало души. Ничего, кроме тоскливой боли, не испытывали в эти минуты бедные Простяковы. Ни мыслей, ни дум, ни попыток что-то действительно придумать, как-то уладить возникшие вдруг разногласия — ничего этого не было. Все для них рухнуло в жизни, они устали, и уже не было сил бороться с бессердечным и серым, как бетон, глухим горем. Бетон этот залил их души, потушил все живое в них, придавил, пригнул их к земле, и они ничего уже не видели в своей жизни, кроме дочери, которая была в этот день в Москве и пребывала еще в счастливом неведении. И больно было представить себе, что скоро и она все узнает.

С этой поры ничто уже не радовало Простяковых. Они по-прежнему ходили по участку, смотрели на чужие цветы, разглядывали чужие огурцы, зреющие среди шершавых листьев, отводили взгляды от чужих райских яблочек, наливавшихся соком и цве-

том, ласкали Карая, привязанного к дощатой конуре, сколоченной Демьяном Николаевичем, с равнодушием и печалью смотрели на молодую березку, которую почему-то выкопала Мадам, убедив всех, что на ее месте надо разбить клумбу. По привычке Демьян Николаевич по утрам поливал еще из лейки грядки, по привычке шутил и посмеивался, разговаривая с Сергеем Александровичем, в душе не принимая его шуток о его стремительном скачке в звании деда. «Минуя капиталистическое развитие,— говорил он,— я сразу из феодализма скакнул в социализм!»

Однажды Демьян Николаевич, оставшись наедине с ним, спросил как бы между прочим:

— А что ружье? Помнишь? Ты еще не продал его?

— А зачем тебе?

— Ты забыл,— с грустью сказал Демьян Николаевич.

Сергей Александрович набылчился, помрачнел и ответил с раздражением:

— А тебе что, удовольствие доставляет причинять мне боль? Я жить хочу, а не прозябать... Друг называется! Я всю жизнь, всю... Понимаешь! Разве тебе плохо? Я тебе всю жизнь хотел только добра, а ты... Пойми, я счастлив с ней. Счастлив! Мне недолго жить... У меня теперь год за три, как у летчиков на фронте... Зачем же ты мне сердце палишь?! Совесть-то у тебя есть или нет совсем! Неужели не можешь порадоваться за меня?!

— Почему же! Я радуюсь,— с усмешкой сказал Демьян Николаевич.

А на следующий день они с Татьяной Родионовной уехали в Москву, забрав с собой Карая.

Их никто не пошел провожать, да они и не захотели бы этого. Слишком устали они от того чужого счастья, которое звенело в чужом теперь для них доме женскими и детскими голосами. Тем более что Дина Демьяновна давно уже не приезжала на дачу, возненавидев Анну Михайловну, не в силах больше терпеть ее подчеркнута веселого голоса, ее адской энергии по переустройству дома, сада и огорода на свой лад.

Сергей Александрович приезжал к ним в Москву, уговаривал вернуться, рассказывал о белых грибах, о том, сколько они насолили и насушили... Он был весел и беспечен. Он все забыл... Ничего не помнил. А может быть, и не хотел вспоминать. Так ему было проще жить — год за три, день за три. А жизнь всего одна.

— Тебе хорошо?— спросил его Демьян Николаевич.

— Да, Дема, я счастлив. Прости, но это так.

— Ну и слава богу. Мы рады за тебя.

Он не покривил душою. Он по-прежнему любил Сергея Алек-

сандровича, но теперь к этой любви примешалась тоскливая как-то жалость к нему.

Татьяна Родионовна и Дина Демьяновна тоже, конечно, не смогли осудить его, хотя они, в отличие от Демьяна Николаевича, так и не приняли новую его жену, которую за глаза звали не иначе как Мадам, а в некоторых случаях жабоедкой. Они не смогли простить безмятежной, забывчивой радости помолодевшего Сергею Александровичу, усматривая в этом превращении какое-то страшное нарушение гармонии его жизни, словно бы он обернулся вдруг в старого и чудовищно неприятного юношу с седыми волосами и дряблой кожей...

Нет, они не жалели его. Им было жалко Марию Анатольевну, которая, слава богу, не видела постигшего их горя и скоротечного, мальчишеского счастья Сергея Александровича.

Татьяна Родионовна ходила на могилу, сметала упавшие с деревьев листья, сыпала желтым песком землю, ухаживала за цветами, негодуя и возмущаясь с болью в сердце, когда какой-то неуловимый новоиспеченный мародер, ужасный какой-то вурдак, выкапывал из могилы свежие цветы и, видимо, продавал их, зарабатывая таким страшным способом на бутылку водки.

Она подолгу сидела над могилой и, если с ней был Демьян Николаевич, вспоминала вслух о Марусе и улыбалась в тихой радости. Но ни разу не было произнесено имя Сергея Александровича над могилой. Однажды только Демьян Николаевич, выйдя из глубокой и печальной задумчивости, со вздохом сказал:

«Чудак, ей-богу! Все равно никуда не деться и лежать ему вечно с Марусей. Хоть живи день за пять!»

28

Лес, уже тронутый глениом, был иссушен теплым августом, истощан грибниками, которые, казалось, обошли уже каждую елочку и березу. Все мухоморы и валуи были порушены палками, трава измята. И только на полянах ярко лиловели осенние фригийские васильки, контрастируя с прожелтью берез, обступивших эти лиловые тихие запаны среди истоптанного леса.

Мерзлый лесной рассвет застал Дину Демьяновну на глиняной дорожке, по которой когда-то грузовики вывозили с порубок лес. Она хорошо знала эту колесную и уже затянутую травой дорожку, этот заживший шрам в живом лесу, знала, конечно, все лучшие грибные места в округе и хорошо ориентировалась, примечая поляны, деревья и даже знакомые малинники. Ей всегда казалось странным, что люди могут заблудиться в лесу. Она много раз вы-

ручала таких заблудших, встречавшихся ей в тащобе, и подробно объясняла путь к спасительной глиняной дороге, которая вела в сторону станции.

Но она давно уже не была в своем лесу, и теперь, когда солнечные лучи осветили стволы берез, она остановилась в священном восторге и шепотом сказала:

— Здравствуй, лес!

У нее мурашки прошли по телу, когда освещенные березы отозвались ей вдруг тихим шелестом отмирающих листьев. Лес еще был пустынен и тих, и ветерок, проскользнув по его вершинам, опал. Все обмерло, и только слышно было зимнее, тихое попискивание серой сивички. Дина Демьяновна даже услышала шелушащийся звук, который издавала птица, цепляясь своими коготками за еловые ветки, фыркающий звук маленьких, прозрачных крыльев... И увидела ее самое.

— Здравствуй,— сказала она ей с улыбкой.

А гаечка приблизилась и, вертлявая в своей невесомости, любопытная, живо посмотрела на нее и откликнулась водянистым, вкрадчивым свисточком.

Пауки заткали все прогалы между деревьями. Паутина щеколтала лицо, тихо потрескивала, разрываясь, и Дина Демьяновна с каким-то небывалым и не проявлявшимся еще никогда чувством причастности ко всему живому на свете, шепотом просила пауков простить ее, а где можно было, нагибалась или обходила стороной растянутые нити, освещенные утренним солнцем.

Она еще не помнила такого удивительного утра в лесу! Раньше она редко приходила в лес на рассвете: ей хватало и тех грибов, которые она успевала собрать после полудня, и обычно шла в лес, когда грибники уже возвращались с полными корзинами.

Теперь же приехала с ночным поездом и, отвязавшись от двух мужчин с корзинами, нырнула в темень леса, оставив их далеко позади. Они кричали ей: «Девушка, куда ж вы торопитесь! Только, чур, наши грибы не брать! Девушка!» Ее пугали эти ночные похохатывающие голоса, и она вздохнула с облегчением, когда все утихло и мужчины отстали, потеряли ее в темноте.

А леса она не боялась. Без тени страха могла бы заночевать в лесу и в полном одиночестве, случись в этом необходимость. Скорей наоборот — она чувствовала себя в лесу в полной безопасности. Так и в это утро, когда туманный воздух леса заголубел от солнечных лучей, когда вспыхнули все цветы на полянах, пронизанные боковым светом, и показался первый подосиновик, у которого ярко светилась белая ножка, Дина Демьяновна, ликуя, почувствовала свое освобождение, растворившись душою в этом

зеленом и ярком мире, словно бы стала незаметной даже для самой себя.

С небывалой радостью открывала она в это утро лесные тайны и с усмешкой думала о глупых людях, считающих, что грибы растут быстро и потому-то их больше попадается утром, чем днем. Когда увидела светящийся подосиновик, она легко и просто объяснила себе это заблуждение людей: косые солнечные лучи помогают находить грибы. Огромный фонарь, зависнув над лесом, высвечивает грибы под еловыми лапами, среди помятой травы, в мшистых корнях деревьев... Когда она так подумала, то сразу вспомнила неурочный час заката. Почти пустая она возвращалась домой еле заметной тропкой, по которой и из дома шла, и вдруг ей стали попадаться белые грибы, освещенные закатным солнцем. Днем не видела, а на закате они сами стали бросаться в глаза.

Это открытие было так неожиданно и с такой легкостью пришло ей на ум, что она с удивленной улыбкой оглядела вершины леса и, почти физически ощутив его тихую и добрую ласку, с благодарностью сказала ему:

— Спасибо! Ты самый хороший лес на свете. Люди истоптали тебя, бедный лес. Но ты все равно самый хороший... Я люблю тебя.

Восторженность ее не знала в это утро границ. Она прислушалась, оглянулась, боясь наткнуться на острый и наблюдающий за нею человеческий глаз, и, убедившись, что никого нет вокруг, подошла к березе, погладила ее и, замирая от странного какого-то вожделения, поцеловала холодную и пригудренную, запашистую бересту. И попросила даже:

— Лес, покажи мне свои белые грибы. Сделай милость, покажи...

Была уверена, что лес услышал ее и поможет, потому что она так любила его в этот час, что он никак не мог остаться равнодушным к ней.

Опять на ум ей нежданно пришло легкое в своей простоте и ясное открытие: она вдруг вспомнила о потном, заболоченном местечке неподалеку, подумав при этом, что в такую сушь только там и можно найти грибы.

Пришла к болотинке, заросшей по окраинам малиной и редкими большими березами, и сразу же нашла в корневищах берез четыре белых... Или нет, не нашла! Она раздвинула кусты и, вняв, что сейчас увидит грибы возле березы, увидела их. Они сами позвали ее к себе.

В благоговейном страхе и удивлении она опять поглядела на

воляющиеся в солнечных лучах вершины леса, поняла его улыбку и, уже боясь нарушить тишину, мысленно поблагодарила хозяина леса, того сказочного Пана, лесовика или лешего, которому подарила свой поцелуй.

У нее уже было одиннадцать белых в корзине, она оставила возле этой болотины штук шесть червивых грибов, ходя, как привязанная, возле лесной мочажины, встречая каждый новый гриб улыбкой и восхищенным приговариванием:

— Ах ты, какой хороший-то! Как ты спрятался-то хорошо! Крепкий. Румявенький... ну молодец! Ну спасибо тебе...

И, распатав в земле и взяв гриб, она снова и снова взглядывала в молчаливой благодарности на лесные вершины.

Корзина стала уже тяжелой, когда вдруг полоснул ее плетью человеческий крик близости и тут же протяжный, аукающий отклик. Что-то непонятное случилось с ней: она пригнулась и замерла, прислушиваясь к неблизкому еще хрусту шагов.

Сердце ее испуганно заколотилось, когда она опять услышала, но теперь уже с другой стороны, человеческие голоса. Дикая звереныш забился в страхе перед этими криками, ноги напряглись, слух и зрение обострились, и, забыв о грибах, она лишь думала о том, как остаться незамеченной, как спастись от этих нахлынувших в ее лес голосов.

Но шаги прохрустели мимо, и она вздрогнула, когда совсем близко мужчина прокричал в притихшем лесу: «Гоп-гоп!»... — «Ау-у», — певуче откликнулась женщина.

Она еще много раз вздрагивала от голосов, подолгу таилась в малиннике и даже отбегала, пряталась в темных елках, если люди проходили близко от болотинки, видела их, бредущих среди берез, смотрела со звериной опаской, с заячьим страхом на черных среди белого, шумных и ничего как будто не видящих, ничего не понимающих, крикливых людей.

Когда же с полной корзиной грибов вышла на лиловую поляну, теплый, разогретый лес прощально и нежно прошуршал ей листвою, а она сказала ему мысленно:

«Прощай, лес, спасибо тебе».

Усталость навалилась на нее, она с трудом дошла до глиняной дороги и, не в силах больше двигаться, присела в теньке, чувствуя сопливую тяжесть в теле, словно бы лес не хотел отпускать ее, навевая сон, с которым невозможно было справиться.

Но, видимо, не только физическую усталость испытывала она в эти минуты. Сказывалось нервное напряжение, которое спало вдруг, вернув ее к людям и к мирским заботам. Наступила, как теперь говорят, депрессия.

Грибники, проходившие мимо, увидели ее корзину, удивленно переглянулись:

- Где это вы столько наковыряли?
- Далеко, — ответила им Дина Демьяновна.
- Секрет?

Она подумала, что это и в самом деле ее секрет, но улыбнулась, гордая собой, и сказала:

— Там, возле болотинки, — зная, что они уже ничего не найдут там.

А те пошли в ту сторону, переговариваясь меж собой и надеясь...

Потом она шла по глиняной дороге, и дорога эта казалась ей бесконечной и очень тяжелой, словно бы все время поднималась в гору.

Она думала, что обязательно зайдет на дачу и, если не будет грибов, то хоть яблочек привезет домой. Теперь же, чем ближе подходила к поселку, тем тоскливее становилось. Она не предполагала, что ей даже представить тяжело будет, как чужие люди встретят ее на участке и, словно гостью, усадят пить чай.

На прогретую солнцем дорогу слетелись, казалось, все бабочки округи. Она шла среди этих коричневых маленьких бабочек, они отвлекали ее от тяжелых дум и усталости, летели впереди, садились на дорогу, складывали крылья, пропадая в глинистом цвете дороги, вспыхивали вдруг под ногами и опять неслись вперед, чтобы снова на какие-то мгновения сложить свои цветные крылья и снова взлететь.

Это было успокоительное зрелище! Лес прощался с ней, помогая ей идти. Она смотрела на бабочек и думала о том, какие это красивые и добрые существа и как заботлив лес, пославший ей на прощание шуршащий хоровод шоколадных летучих плясунь.

Ни Демьян Николаевич, ни Татьяна Родионовна ничего не спросили у нее про дачу: поняли, что она не заходила туда.

— Как же ты дотащила такую корзинищу? — говорила Татьяна Родионовна, любуясь белыми грибами.

— Мне бабочки помогали...

— Какие бабочки?

— Обыкновенные лесные бабочки, — ответила Дина Демьяновна. — Я очень устала, ходила к болоту, а потом они летели передо мной, летели... Я одна, наверно, с полной корзиной... Нет грибов.

— Поезду! — говорил Демьян Николаевич. — Жалко, я с тобой не поехал.

— Мы бы тогда ничего не набрали.

— Это почему?

— Потому... Я знаю, как ты ходишь по лесу...

— Как же я хожу?

— Как лось... И шумно, как человек...

Вечером они ели жареные грибы, а Дина Демьяновна рассказывала о лесе и о том, что в этом году совсем не уродилась рябина. Иначе она бы привезла и рябины на варенье. Все примолкли, вспомнив, наверное, о медовых яблочках, невесомо плавающих в розовом сиропе.

— А тебе тут кто-то звонил. Я поднял трубку, — сказал Демьян Николаевич, — но он не назвался. Я попросил его позвонить вечером. Не знаю...

29

Еще один январь заканчивался в жизни Простяковых. Проходил он на этот раз с редкими и нестойкими морозцами, после которых наступала слякотная мокрядь. Иней обметывал кирпичные стены, летели грязные брызги, улица шипела под колесами машины, а люди торопились домой, битком набивая городской транспорт. И грипп, конечно, не замедлил явиться в Москву.

Двадцать пятого января на Москву налетел мокрый южный ветер, небо затянуло тучами, шумно стало и сумрачно. День прошел очень быстро, словно и не начинался.

Дина Демьяновна купила белые хризантемы возле Белорусского вокзала, поздравила Татьяну Родионовну, поцеловала ее трижды и поставила цветы в новую вазочку, которую купил Демьян Николаевич. Так было всегда: отец дарил вазочку, а она — цветы.

К вечеру Демьян Николаевич ввернул везде, где только можно, стосвечовые лампы. На раздвинутый стол накрыта была старинная белая скатерть. Фарфор, хрусталь и серебро заняли на этой снежно-чистой скатерти привычные свои места, засверкали и засветились под яркой люстрой. Спинки стульев торжественно возвысились над богатеющим с каждой минутой столом.

И наконец раздался первый звонок.

Демьян Николаевич снял фартук и пошел открывать, а Татьяна Родионовна вышла в прихожую и, нарядная, подрумяненная, подпудренная, засеребрилась вся в умиленной улыбке. На ней было платье бледно-розового, лососевого цвета с черным кружев-

ным воротничком, а на груди сочно переливал свет в своей дымчатой глубине большой раухтопаз, доставшийся Татьяне Родионовне еще от матери. Оправленный в серебро, он был добрым ее талисманом, и она верила в его волшебную силу — это был ее камень.

У Простяковых собирались, как и в прошлые годы, все их ближайшие родственники: двоюродные братья и сестры Татьяны Родионовны и Демьяна Николаевича, которых было когда-то много. Теперь же от многочисленной родни, некогда заполнявшей комнаты Простяковых, остались три немощные старушки и один красноносый склеротический старик, ликом своим являющий типичного пьяницу, хотя в жизни не пил никогда ничего, кроме двух рюмочек легкого вина за вечер. Он стал забывчив с годами, гугал имена своих родственников, которые мило потешались над ним всякий раз в подобных случаях, а он как будто и рад был этому вниманию, войдя с годами в роль эдакого шута горохового. Лет, наверное, восемь назад под ним развалился стул, и он упал на пол. Простяковы и все их гости очень переживали за него, а он был смущен ужасно, нос его стал совсем багровым, но Дина Демьяновна помнила, что милый ее дядюшка уверял тогда, что ничего не случилось, он не ушибся и очень жалел сломанный стул.

С тех пор, когда он приходил к Простяковым на татьянин день, Татьяна Родионовна, усаживая гостей за стол, говорила ему с виноватой и ласковой улыбкой:

— Садись, не бойся, этот стул крепкий, он выдержит тебя. Садись, пожалуйста.

Гости улыбались, вспоминая давнишний казус, а дядюшка каждый год теперь, прежде чем сесть, ощущывал стул, словно хотел убедиться в его прочности, чем тоже вызывал улыбки и смех у гостей.

Приходили к Простяковым и молодые их родственники — племянники и племянницы со своими женами и мужьями, многим из которых было уже под пятьдесят. Но все-таки они были молодыми, и Татьяна Родионовна, рассаживая своих гостей, говорила обычно:

— Дема, усади сначала старичков, а молодежь сама найдет себе место.

А «молодежь», редко встречаясь в жизни (обычно только на похоронах), улыбалась в вежливой растерянности, и Демьяну Николаевичу приходилось и ее тоже рассаживать по местам.

Сделать это было не так-то просто, потому что в доме Простяковых никогда не бывало просторно, а в новой квартире и по-

давно. Гости с трудом протискивались между столом, стульями и шкапами, усаживались плотно, на весь вечер, сытно закусывали, выпивали, потом ели горячее, а напоследок пили чай с домашним тортом. Ни танцев, ни песен — никогда этого не бывало в доме Простяковых: люди приходили есть, пить и разговаривать. Пили мало, поэтому разговоры никогда не бывали шумными и бестолково-хмельными.

В этот вечер собралось четырнадцать человек. В квартире запахло духами, табачным дымом, стало шумно и совсем тесно. Ждать было больше некого, и Татьяна Родионовна пригласила всех к столу.

Она не забыла, конечно, напомнить двоюродному брату о стуле, гости не забыли улыбнуться. А Демьян Николаевич тоже не забыл сказать про гвозди, которыми он специально укрепил стул, предназначенный для брата.

— Осторожней, там гвозди торчат, — сказал он.

Гости опять улыбнулись, посмеялись, как и много лет назад, Татьяна Родионовна, сложив губы бантиком, обиженно сказала:

— Вечно он шутит с этими гвоздями.

А брат, конечно, принялся с серьезным видом ощупывать стул.

Пришел, как и всегда, Сергей Александрович, но на этот раз пришел с новой своей женой, вызвав этим некоторое замешательство у Простяковых, с которым, впрочем, они быстро справились, занятые необычайными своими хлопотами.

О праздничном столе Простяковых можно было бы написать серьезнейшие исследования на экономическую, историческую, гастрономическую тему, если проследить постоянную и как будто неуловимую смену яств на этом столе. Он всегда был изобильным, но с каждым годом все изобретательнее приходилось быть самим хозяевам, чтобы гости остались довольны закусками. С годами на столе появилась тресочка под маринадом, а вместо заливного судака розовый морской окунь. Давно исчезла семга, осетрина и, конечно, икра, хотя Простяковы ухитрялись заменить ее грибной икрой, а семгу и осетрину — тонко разделанной копченой ставридой, нежной селедочкой, а то и кетой или горбушей. Но, как и в прежние годы, на столе всегда были маринованные опята, соленые чернушки, волнушки, квашеная капуста с клюквой, моченая брусника, хрен домашнего приготовления, колбаса, сыр и прочие холодные закуски, перечислить которые просто невозможно. И конечно же, как всегда, была пышная кулебяка с капустой и пирожки с мясом, без которых не обходил-

ся праздничный стол Простяковых. Ну и, разумеется, время бесцельно было поколебать русское хлебосольство и радушие, царившие в этот день в доме. Никто из гостей не был обойден лаской, каждого Татьяна Родионовна расспрашивала о жизни, разглядывала каждого и старалась сказать что-нибудь приятное, сочувствовала или радовалась, делая это очень искренне и простодушно, как немногие умеют в наш век. Говорят, что самый скучный человек тот, который на вопрос: «Как жизнь?» — начинает рассказывать, как он живет. В доме Простяковых, видимо, не знали об этом и никому никогда не бывало скучно выслушивать друг друга: тут умели душевно слушать и понимать человека.

Когда все уселись за стол, Татьяна Родионовна приступила к главной своей обязанности, к потчеванию гостей, делая это с завидной настойчивостью и с той же забываемой в некоторых домах нарочитой, наигранной обиженностью на гостей, которые якобы ничего не едят за столом.

— Кушайте!— просила Татьяна Родионовна.— Что ж ты плохо угощаешь, Дема?! У тебя никто ничего не ест.

— Что ты, Танюша!— отвечал ей Демьян Николаевич.— Я все время угощаю. Ты посмотри, что творится в тарелках у моих соседок. Посмотри! У моих соседок полны тарелки... Я ж не виноват, что молодежь забывает о своих соседках. Это у них пусто, у молодых, а я только и делаю, что угощаю.

— А мы уже все съели,— отвечали молодые.— Вот у нас и пусто в тарелках... Спасибо, мы все попробуем, все — обязательно.

— Не-ет! Так нельзя... Попробуйте тресочки, запеченной под майонезом. Это новое блюдо, и вам понравится.

Была Татьяна Родионовна жеманна и женственна за столом, находясь как бы у руля семейной своей бригадины, властвуя и наслаждаясь властью и радушием. И бывала очень рада, когда гщеславие ее удовлетворялось, когда гости ели и пили с аппетитом, а за столом шел добродушный, порхающий в воздухе, благопристойный разговор, кто-то вдруг смеялся под звон ножей и вилок, кто-то рассказывал, не мешая никому есть, приятные истории, легкие анекдоты,— словом, когда под сверкающей люстрой сидели в ее доме счастливые люди, а в комнате стоял тот гомонливый и радостный общий разговор, безошибочно указывающий хозяйке, что вечер удался и все довольны.

— Кушайте, кушайте, пожалуйста,— приговаривала она неустанно.— Сережа, а у твоей соседки пусто,— говорила она и Сергею Александровичу, рядом с которым сидела сильно растолстевшая его жена.— Вот попробуйте салаки копченой. Дема целый

час с нее шкурки сдирал, она без косточек, нежная, вам понравится. Вам ведь можно копчености?

— А я все ем, пока естся,— отвечала Мадам с улыбкой.— А то захочется, а уже нельзя будет.

— Кушайте на здоровье... А что же никто не попробовал грибной икорки? Ну так же нельзя... И к тресочке не притронулись... Кушайте, пожалуйста.

Нет, далеко не в каждом доме встретишь теперь такое хлебосолюство! Пропадает этот талант в наш суматошный век, забывают порой люди за звоном стаканов — для чего собрались, напиваются до бесчувствия, выводя жен из терпения, хозяин не отстает от гостей, мужчина тянется к мужчине, женщины остаются одни, а хозяин, когда все уже выпито, тайком угощает своих опьяневших друзей на кухне, женщины хмурятся, вяло лопочут о жизни, пьют чай с конфетами и тортом, а потом везут домой через всю Москву осоловевших, больных, бранчливых своих мужей, ругая их на чем свет стоит. Какой уж там праздник!

Демьян же Николаевич загодя готовил настойку на горьком миндале, на лимонной корочке, загодя покупал две или три бутылки марочного вина. А потом, наливая гостям душистую чашку, радовался, видя, как смакуют гости, как туманятся их глаза от удовольствия.

Все было хорошо в этот вечер, и Татьяна Родионовна уже умирала свой хозяйский пыл, слушая радостных гостей, когда в прихожей раздался вдруг звонок.

— Кто ж это может быть?!— сказала она в изумлении и пошла открывать.

Вскоре вернулась и, пунцовая от волнения, стараясь не подать виду, тихонечко сказала дочери:

— Тебе придется выйти. Извините, пожалуйста,— обратилась она к гостям.— Неожиданный гость... Диночка, поторопись... Это так неожиданно,— говорила она в полной уже растерянности.

— Кто это?— спросил Демьян Николаевич, когда дочь вышла из комнаты.

А она на него посмотрела через весь стол и так выразительно опустила глаза, что Демьян Николаевич все сразу понял и, разведя руками, сказал:

— Ну что ж... Зови к столу.

Как это ни странно, Дина Демьяновна сразу же поняла, услышав звонок, что пришел Петя Взоров. У нее почти не было никакого сомнения на этот счет, когда она выходила из-за стола.

Кровь прилила к лицу, она почувствовала на себе взгляды всех сидевших за столом, услышала мгновенную тишину гостей, провалилась в эту тишину и ощутила страшную неуклюжесть, неповоротливость, неловкость во всех движениях своего тела. А когда и в самом деле увидела его, стоявшего без шапки, в пальто возле дверей, безмерно удивилась и до такой степени разволновалась вдруг, что самым глупейшим образом воскликнула:

— Привет! Как это ты узнал мой адрес?!

— Здравствуй, Дина, — сказал он с улыбкой.

— Разве мы с вами на «ты»? — спросила она и безумно смутилась, понимая дикость этого вопроса.

— Я пришел поздравить Татьяну Родионовну. А насчет... Как вам будет угодно... Мне уйти?

Она увидела три живые розы в прозрачной обертке, услышала их аромат, показавшийся ей вдруг неприятным, сладковатым запахом гниения.

— Нет, — сказала она.

— Это для твоей мамы, — кивнул он на розы, лежащие на высокой тумбочке возле двери.

— Раздевайтесь, — сказала Дина Демьяновна, разглядывая розы свекольного цвета, которые вряд ли уж оживут в воде. — Их надо в теплую воду, я сейчас...

В это время как раз появилась Татьяна Родионовна в прихожей.

— Ты куда? А цветы? — спросила она у дочери.

— Я сейчас... я в ванну их...

Она закрыла за собой дверь ванной комнаты, пустила горячую воду, и увидела свое отражение в зеркале, постаралась как можно скорее успокоиться и прийти в себя. Высокие скулы ее горели и были чуть ли не такого же цвета, что и розы; глаза казались испуганными и словно бы неуправляемыми. Она взбила прическу, помяла зубами неяркие свои губы, облизала их, зажмурилась, сморщилась, смяла лицо в напряженной гримасе, а потом раскрыла глаза и взглянула опять на себя. Все осталось по-прежнему на ее лице, ничего, увы, не изменилось: так же путались мелкие морщинки под глазами, так же блеклы были губы и художеская шея, кожа на которой уже потеряла свою упругость.

Розы плавали в теплой воде, а Дина Демьяновна никак не могла выйти из ванной: у нее не хватало духу открыть дверь. Ей очень хотелось в эти минуты выкурить сигарету.

Она вдруг отчетливо поняла, до нее именно в эти минуты дошло вдруг ясное и простое объяснение собственного своего состояния: она с удивлением осознала, что пришел в ее дом единст-

венный человек на земле, которого она когда-то любила и который был бесконечно дорог ей и поныне.

— Диночка, где же ты?— услышала она голос Татьяны Родионовны.— Дина,— сказала она, приоткрыв дверь,— ну ведь глупо получается, он сидит за столом, а ты здесь. Ты уж, пожалуйста, не порти мне моего дня. Надо, милая, идти, все ждут тебя.

— Ты куда его усадила?

— Пришлось... рядом с тобой... Ты не волнуйся, по-моему, он очень изменился, и я не думаю... Я думаю, что... он... не позволит себе никакой бестактности.

— А я и не волнуюсь,— ответила Дина Демьяновна.— Мам, я сегодня страшная? Только честно...

— Ты сегодня очень хорошо выглядишь, у тебя румянец, он тебе к лицу...

— Ну ладно, пошли.

Но Петя Взоров не засиделся за столом. Он поднял тост за Татьяну Родионовну, сделал это тихо и скромно, а после этого сидел словно бы невидимка. Никто не спросил его ни о чем, никто не взглянул на него, кроме Мадам, которая видела его впервые и, вероятно, не совсем представляла себе, кто это. Разговор за столом мало-помалу окреп, гости опять оживились, а вместе с ними и Дина Демьяновна, которая, казалось, тоже не замечала Пети Взорова.

Тогда он встал, попрощался с Татьяной Родионовной, попросил прощения и вышел. Все опять примолкли, и в этом молчании Дина Демьяновна торопливо вышла следом за Петей.

Он стоял возле входной двери и курил.

— Спасибо,— сказал он Дине Демьяновне.

— За что?

— За то, что вышла проводить.

— Дай мне сигарету.

Он, не спрашивая ни о чем, протянул пачку, щелкнул зажигалкой.

— Пошли в комнату,— сказала Дина Демьяновна.— Не дай бог, мама сигарету у меня увидит.

В комнате на диване лежала груда пальто и шубок, не уместившихся на вешалке, была открыта форточка, и хорошо дышалось в прохладе.

Петя очень постарел, осунулся, был бледен, и бледность эта показалась Дине Демьяновне болезненной. Во всем его облике появилась какая-то незнакомая ей колючесть и обостренность всех

черточек, жестов, взглядов — исчезла та давнишняя смазанность в выражении лица, которое не нравилось Дине Демьяновне, появилась определенность и законченность форм. С таким лицом человеку можно выдавать бессрочный паспорт: оно уже не изменится, оно будет только стареть с каждым годом, будет сохнуть и морщиться кожа, западать глаза, щеки, виски...

Он, как и тогда, в метро, нравился Дине Демьяновне, у нее дрожали пальцы, она щурилась от дыма и смотрела в пол.

— Ты очень удивилась? — спросил Петя Взоров.

Она не ответила и, в свою очередь, спросила:

— Как ты живешь? Ты женат? Я видела тебя с девочкой, это дочь?

— Женат. Дочь.

— Как работается?

— Там все нормально. Вылез в начальство...

— А здесь?

— Здесь все гораздо сложнее.

— Все ясно. Не сошлись характерами, жена недоразвитая дура, а мы ответственны только перед мертвыми предками, мы сад и садовник одновременно, а жена ничего этого не хочет знать и говорит: давай деньги. Скучно все это до безобразия.

— А если такова жизнь?

— Ах, ну да! Разбитые надежды, утраченные иллюзии...

— А если это действительно так, что тогда?

— Купить веревку, мыло и крюк покрепче...

— А если серьезно?

— Ну что ты заладил: если, если...

— А если я о тебе все время думаю? Я слышу тебя сейчас, вижу рядом с собой и не верю, что это я, живой, а ты рядышком...

Он это сказал, не поднимая глаз на Дину Демьяновну, сказал с большим усилием воли, взволнованно и искренне, без тени лжи или кокетства. И она поверила ему.

— Дина, позволь мне, — сказал он опять, — позволь мне хоть чуточку надеяться...

Он нравился ей, и было приятно слышать эту мучительно высказанную просьбу, но какой-то звереныц в ней оскалил вдруг зубки, мстительно блеснул глазами, она усмехнулась и удивленно покачала головой.

— Откуда это у тебя? «Позволь чуточку надеяться...» На что надеяться-то? Что ты бросишь нелюбимую женщину и любимую дочь... На это?

— Не надо так, Дина. Не такое я ничтожество, как тебе ка-

жется. Я, честно говоря, не знаю, что лучше: жить с нелюбимой женщиной или уйти от нее. По-моему, наша мораль не пострадает, если два человека освободятся друг от друга, разорвут, так сказать, оковы и обретут свободу. По-моему, мораль даже на стороне этих людей или хотя бы одного из них, кто решится первым...

— А я плевать хотела, мистер, на вашу мораль,— сказала Дина Демьяновна.— Я не из тех, кто может красть чужое или хотя бы купить краденое... Я не смогу красть, если даже ваша мораль будет на стороне крадущих. Понимаешь? Не смогу, если даже это будет узаконено. Я так устроена. На меня среда обитания влияет гораздо в меньшей степени, чем на многих других и на тебя в том числе. Я ужасно старомодная. Да и стара уже! Понимаешь? Ловкости уже нет в руках, чтобы красть чужое. Говоришь: укради, это теперь разрешается, а я не могу красть. Очень жаль, конечно. Но что тут поделаешь, если я не могу. Ты теперь начальник, тебе, конечно, лучше знать, что дозволено, а что нет... Но я-то не могу красть... Пойми. Я маленький человечек, я ничего этого не умею, не могу и не хочу.

Петя Взоров хмурился, слушая ее, потом угрюмо сказал:

— Пепельницы, конечно, нет?

— Пепельницы нет.

— Слушай-ка,— сказал он в раздумчивой хмурости,— ты, конечно, права. Я не спорю. Хотя можно было бы и поспорить... Слушай-ка, но позволь мне... хоть когда-нибудь еще раз увидеть тебя... Я чертовски устал. У меня нет прошлого с этой женщиной. Я живу от той грани, когда встретил ее, а до этой грани — юность, возмужание, надежды и ты. Я не могу вместе с ней уйти в свою молодость, в которой ты. А мне так теперь нужен человек рядом, с которым бы я мог свободно гулять по всей своей жизни, не спотыкаться, не проваливаться в пустоту, не стучаться лбом о стенку... Господи! До чего ж я завидую твоим старикам! Я их, честно говоря, только теперь стал понимать. Они счастливые, потому что в любой момент могут свободно пройтись, прогуляться по всей своей жизни, поплавать во времени, не боясь глубины... Любовь это или привязанность, бог их знает, но они счастливы. Ну хорошо,— восторженно вдруг он.— Я должен идти.

Быстро поднялся, вышел из комнаты, оделся, поцеловал ей руку и торопливо вышел.

Она ему не сказала больше ни слова. Она верила и не верила, что это приходил он, единственный тот человек, которого она любила.

Ночью она спала и улыбалась во сне.

Татьяна Родионовна и Демьян Николаевич, как всегда после татьянинного дня, убрались в доме, мыли посуду, пили за полночь чай, обсуждая и переваривая мишувшее застолье. А когда все прибрали в квартире, зашли на цыпочках в комнату дочери, поставили вазочку с мокрыми розами на ее стол, включив ночник, увидели в тусклом свете лицо спящей дочери, заметили подобие улыбки на губах, сели на краешек дивана, взяли за руки и беззвучно заплакали, не спуская глаз со спящей дочери.

Бедные старики! Они очень жалели ее и думали, что она опять теперь будет жить надеждой, думали о человеке, который опять ворвался в ее жизнь и опять принесет ей много горя, которое, увы, они уже не смогут взвалить на свои дряхлеющие плечи и которое придется нести в одиночестве милой их Дипочке.

Они и представить себе не могли, как глубоко заблуждались на этот раз.

РАССКАЗЫ

БУДОРАНЬ

После теплых, затяжных дождей в наших лесистых и все еще диковатых, глухих местах полезли вдруг из-под каждой елки и березы разные грибы, и стало их очень много. Но были они все подпорченные, так что даже интерес к ним начал пропадать — какой ни возьми, хоть бы даже тот, что только что землю разрыхлил, только что круглую шляпку свою показал, — даже и он уже с червоточиной, а уж большие грибы и подавно никуда не годились.

Люди говорили около селпо: «За грибом нынче даже нагнаться нет никакого смысла: весь стоит червивый, как есть. Душно для гриба, вот и прет».

А другие им возражали: «Грибной червь, как и малиновый. На него не смотри, а на вкус он не сказывается вовсе. А то можно что сделать — принес, и сразу в соленую воду, весь червяк всплывет — он соли не терпит».

«Тыфу ты! — говорила на это какая-нибудь женщина. — Пропади они пропадом, эти грибы! Чтоб я их еще с червяками ела!»

С ней многие соглашались. И правильно делали, потому что жить в лесу и готовить для себя грибы червивые — дело совсем никудышное.

Надежд на хорошие, крепкие грибы оставалось у меня все меньше и меньше. Мокрая земля с утра до вечера прогревалась жгучим солнечным жаром, небо в безветрии мутнело к полудню, и что-то странное творилось с природой: солнце выжаривало из земли воду, поднимало ее в небо, а там, в вышине, охлажденные эти испарения собирались в дымные облака, которые тяжелели, беременели к вечеру влагой, и все, что было днем поднято ввысь, ночью оседало дождем на пресыщенную водою, хлюпающую под ногами, распаренную землю. И казалось, конца не будет этому круговороту.

Травы стояли густые и высокие, и в гущине их так и не успевали высохнуть за день то ли росы, то ли дождевые капли — над лугами, над лесными полянами воздух казался душным от запа-

хов цветущей, мокрой травы, согретой солнцем, да и в лесу тоже дышать было нечем с непривычки, как будто и не дышал я, а захлебывался соком травы и листьев, не шел по лесной тропе, а плыл в зеленом соке. Первые два дня голова моя разламывалась от боли: я отравился этим густым воздухом, утонул в лесном краю.

Лишь на третий день, когда оргазм мой перестроился, я почувствовал наконец-то себя человеком здоровым и счастливым, у которого впереди было несколько дней вольной и беспечной жизни.

А что может быть лучше этого состояния?! Я любил всех людей, с которыми встречался, и мне казалось, что они меня тоже любили и были даже счастливы от того только, что я среди них счастлив. Испытывал я в те дни состояние полного блаженства, слившись душою со всяк сущим на земле, и даже как будто бы поглупел от этого душевного комфорта и радовался, что очень поглупел и что совсем не обязательно быть умным или, во всяком случае, совсем не обязательно стараться быть умным в те счастливые дни, которые простерлись передо мной беспечною стью... Да и был ли я когда-нибудь умным? А если и был, то зачем мне это? Все мои мышцы, весь мой костяк, на котором держались мышцы, — весь я был создан природой для свершения каких-то вовсе не умственных, а, скорее, физических усилий — все было прочно, весома и наполнено силой физической, которая дремала во мне все эти годы, не находя выхода, а усилия мои были только умственные, невероятно трудные и расточительные усилия, которыми я жил и добывал себе на хлеб, хотя природа рассчитала меня совсем, наверное, не для этого труда и не этим трудом полагалось бы мне добывать хлеб насущный, а скорее руками своими да дедовским опытом, который был, конечно, заложен в мой интеллект.

И вот наконец-то я вернулся в свою стихию или, вернее, попал случайно в ту именно стихию, которая была, вероятно, уготована мне природой, была написана на роду — охота и ловля рыбы, собирание грибов и всякие другие промыслы, которых я еще не коснулся в своем опыте, но которые заманчиво маячили где-то перед моим мысленным взором и которыми я запылся бы с любопытством и большим желанием.

Была душистая и теплая ночь, накрапывал дождь, а утром, на рассвете, серый какой-то пар окутал все предметы — это не туман был, а словно бы распаренное облако опустилось на землю —

все было видно вокруг в этом облаке, но чудилось, будто все избы, изгороди и деревья были дымчато-прозрачными и легкими. А в вышине смутно ворочались темные и белые клубы пара — ни ветерка, ни утренней прохлады.

И вдруг, когда деревня уже закрылась холмом, в небе лениво прокатился гром. И тут же, не успев умолкнуть раскат, мутное, дымное небо осветилось судорожной молнией, и опять загредел гром, на этот раз резко и грозно. Мир в моих глазах выцвел, я увидел на лугу старый сеной сарай и заторопился к нему, потому что из небесной мути, которая беспрестанно стала полыхать молниями и содрогаться громами, полил тяжелый и прямой дождь.

Эта утренняя, неожиданная гроза, загнав меня под худую крышу сарая, теперь и не думала утихать. Небо то и дело озарялось фосфорическим светом, какими-то сполохами, от края до края, мутно и неопределенно, и громы тоже гредели не утихая: то удаляясь, то вдруг разъяренно грохоча над самой головой. И порой страшно становилось. Если бы не две лошади, которые паслись на лугу, я бы давно уже праздновал труса...

Ничто не предвещало эту странную и недвижимую, теплую грозу, заставшую меня врасплох: она пугала меня своей нескончаемостью и однообразием. От дождя меня спасала дощатая крыша, и хотя она вся была худая, но я нашел все же местечко, где капли не падали, и с тоской смотрел в проем пустых ворот, слушающая гулкие и ахающие отголоски громовых раскатов, видел вновь холодное вздрагивание мутного неба или, вернее, того серого пространства, которое было за воротами и в котором две буланые, совсем потемневшие от дождя лошади без всякого признака страха или какого-либо смятения срывали губами сочную траву из-под ног. Они склонились над луговой кочкой, на которой трава была, наверное, сочнее и гуще; сытые тела их, облитые дождем, масляно лоснились, и чудилось мне, что лошади эти — существа высокие и нежные в своих чувствах друг к другу и что им хорошо в этот час под дождем пить зеленый сок травы из одной огромной чаши, хорошо жить в распаренной серости теплого утра и знать, что ни одна из молний не причинит им никакого вреда. Я смотрел на них, и мне казалось, что они именно знали и предчувствовали, что в это утро с ними не случится никакой беды, а потому были так спокойны и прекрасны под проливным дождем, под полыхающим и грохочущим небом, которого я так боялся в это утро. Я боялся, а они — нет. Я боялся за свою жизнь, и все во мне напряжено было, я весь был во власти сво-

его страха пред грозой, а жизнь, за которую я так боялся, таилась во мне каким-то серым, дрожащим, потным комочком — перестав быть именно той жизнью, за которую я боялся. Разве можно жалеть этот серый и потный комочек страха? Разве это жизнь?

Жизнь в этот час была на лугу, и я любовался этим простым примером жизни с завистью, доселе незнакомой мне, чувствовал спокойствие и уверенность коричневых лошадей, пьющих зеленое вино, разлитое на лугу. В грохоте и беспрестанной холодной дрожи молний, которые, казалось, в это утро были особенными и не уходили в землю, не вгрызались, расщепив пространство, в твердь, а где-то в выси вспыхивали, мерцали и гасли, так и не достигнув земли, — в грохоте и мерцании, в шуме белого ливня за воротами сарая я все вокруг себя видел глазами восторженными, а равнодушные красивых животных возвеличивал в смелость, утреннюю их сытость и лень в уверенность и душевный покой, которого сам я был лишен в это грозовое утро.

А что такое Будорань? Где это?

Так я спросил у ласковой старушки, которая перед праздником, кажется перед петровым днем, истопила баньку на берегу озера и пришла оттуда розовая и разомлевшая, с мокрыми и счастливыми глазами, а я ей, как водится, «с легким паром» сказал.

— Юрочка,— говорила она мне,— что же это ты в баньке-то попариться не хочешь? Такая хорошая банька стопилась нынче... Хорошо!

А мне было стыдно сказать ей, что я давно уже отвык мыться в бане, тем более в деревенской, которая и топилась-то по-черному, в которой пахнет, как на потушенном пожаре, обугленными бревнами, залитыми водой, и глаза щиплет от этого едкого запаха. Где уж мне! Одно мученье это будет, мыться непривычно, не зная толком, где холодная, а где горячая вода. Да и разве мытье одному-то в бане! В русской бане одному мыться тоскливо и тяжело, как в наказанье. К тому же жарко и душно было в этот день, и представить себе еще банную жару и духоту просто было невозможно и даже страшно.

— Жарковато сегодня на улице,— отвечал я Дарье Степановне.— Я в озере купался, а уж в баню не хочется. Жарко!

— А я-то думаю, вот он, Юрочка-то мой, гостыюшка мой добренький, попарится в баньке, веничком-то себя похлещет... У меня, бывало, сыночки-то мои прямо из бани в озеро — бултых! и опять в баню,— говорила ласковая тетя Даша, вытирая пла-

точком капельки блестящего пота со лба и из-под глаз, и вся светилась в улыбке и радости.— Так прямо в озеро и бросались, пока лед не встанет, а лед встанет, прорубь рубили на мелком месте — и в прорубь, пока лед не толстый. А у нас лед-то зимой вон какой, чуть что не метр — зимой не прорубишь.

Она мне и сказала, вернувшись из баньки, что встретила знакомого человека с корзинкой, полной белых грибов, и говорил тот человек, что собирал он эти грибы за Будоранью под елочками.

— Под елочками брал хорошие грибы, а под каким еще другим деревом, под березой или под дубом,— червивые,— говорила тетя Даша.— Как под елочкой, так хороший гриб. Вот что интересно! Под елочкой чистые, а под березой порченые.

Пока Дарья Степановна мылась в бане, а я лежал за печкой в ее избе и с трудом боролся со сном и уснул бы, если бы не мухи, в дверь глухо постучали, и вошла молодая цыганка с сумкой в руке.

— С праздником, хозяин,— сказала цыганка, а мне вдруг почувдилось, будто она смутилась, смутная ее и гладкая кожа на лице заблестела, и большущие глаза с красноватыми белками уставились на меня с порочным каким-то откровением и усмешкой.

— Здравствуй, красавец,— сказала она опять.— Что так глядишь на меня, красавец? Понравилась я тебе, что ли?

И с этими словами прошла по домотканному половику в комнату, раздвинув ситцевые занавески в дверном проеме. В комнате мы сели друг против друга, и я, придав голосу шуточный оттенок, но стараясь при этом и строгим быть, сказал ей, что вовсе я не хозяин и что хозяйки сейчас дома нет.

— А я давно догадалась, что ты гость, а не хозяин,— сказала цыганка.— Ты большой человек... Ты красивый, как цыган. Только глаза твои серые.

Душа моя не вынесла таких похвал, и я стал глупо улыбаться, разглядывая эту таинственную гостью в длинной юбке и с легкой шалью на плечах. Волосы ее были гладко причесаны на пробор, продолговатые, полированные щеки блестели испариной, губы и глаза ее казались черными, как зерна граната,— она была по-своему красива, и крупный ее нос странным образом дополнял эту сочную и яркую красоту — трудно было бы представить лицо цыганки без этого крупного, хорошо выточенного носа, невозможно было увидеть ее мысленным взором с аккуратным, то-

нежным носиком русской красавицы. Полнейшей гармонией была преисполнена ее горделивая красота. И она, видимо, хорошо это понимала, то есть не то чтобы понимала, что я оценил ее красоту, а сама она за все свои тридцать с небольшим лет жизни привыкла знать, что очень красива, и эта уверенность в своей красоте наложила свой отпечаток на ее облик: она всем своим видом не оставляла сомнений у всякого, кто смотрел на нее, — да, она красавица, одна из самых красивых представительниц своего цыганского рода. В этом и у меня не осталось никаких сомнений, стоило мне повнимательнее приглядеться к ней, одетой в неяркое, старое и, видимо, не очень чистое платье.

— У меня есть муж, — сказала вдруг цыганка, и глаза ее, словно какие-то гладкие, как бобры, зверята, проделали еле приметное и загадочное движение, как будто зверята эти, играючи, кувыркнулись в темной воде омута.

Глаза ее были опущены густыми ресницами.

— И что же из того, что он есть? — спросил я удивленно. — Где он?

— Я вижу, ты в меня влюбился, — сказала цыганка. — А у меня есть муж.

Это прозвучало неожиданно и притом с такой сочувственной интонацией, что я даже подумал, не ослышался ли я и правильно ли понял ее. Влюбился? Не-ет! Я всего лишь подумал, что она красива.

— Та-ак, — сказал я раздумчиво. — Это очень интересно.

А цыганка тем временем внимательно оглядела комнату и, как мне показалось, осталась недовольна тем, что увидела, — старенький приемник «Рекорд», накрытый кружевной салфеткой, ветвистые герани на окнах, треснутое блюдечко, черные пуговицы и катушка ниток, фотографии в простенках. Взгляд ее остановился на моем зеленом рюкзаке, который растерзанно и грузно возлежал на деревянной лавке — большой, с широкими лампами, хороший рюкзак...

— Где же ты живешь? — спросила цыганка. — Далеко?

— Далеко, — ответил я. — А ты?

Цыганка поднялась, поглядела на меня свысока и, словно в каком-то танце, повернулась, повела плечами, поглядывая на меня, и зверята под ее ресницами опять мягко окунулись в темную воду.

— В Шуе дом, — ответила она мне. — В лесу палатка... Везде я живу. А зимую в Шуе. Слышал про Шую?

— Шуй на земле много, — сказал я.

— А это та, что ближе всех.

— Не кочуете?

— Не кочуем.

— А чем живете?— спросил я.— Работаете?

— Как же не работать?— спросила она с удивлением.— Мы в колхозе летом лес валим. Только что тебе от того, работаем мы или нет? Ты думаешь, раз цыган, значит, не работает? Нет, дорогой! Мужчины наши многое чего умеют делать! Когда кочевали, от нашего табора звон шел колокольный. Да! Посуду всякую металлическую умеем делать, лудить, паять... Все умеем! У нас все кузнецы в роду.

Тогда я спросил у нее:

— Хозяйка этого дома — твоя знакомая, что ль?

— Они нас знают, их мы знаем,— уклончиво ответила цыганка.— Что-то у тебя котомка такая большая? Нет ли в ней чего лишнего? Детишки обносились, а расчет с колхозом не скоро еще... Расчет с колхозом осенью будет, детишки поизносились, порвали все, да и мужчины наши на лесной-то работе... Если чего нашлось бы, спасибо сказала бы...

Я, признаться, не ожидал такого поворота, а потому, может быть, слишком поспешно и суетливо предложил ей свой старенький и дешевый спортивный костюмчик из бумажного трикотажа, решив сразу, что он мне тут не понадобится. Гостья моя, не разглядывая, скомкала его и сунула в сумку, которая не пустая была, а уже чем-то набита — каким-то тряпьем.

— Спасибо тебе, добрый человек,— сказала она просто, не выказав на лице своем ни смущения, ни особой благодарственности, словно бы она напиться у меня попросила, а я ей кружку с водой подал, словно бы она жажду испытывала, а теперь, утолив ее, поблагодарила меня. И я почувствовал, как ни странно, что не она, а я сам попал вдруг в какое-то неловкое положение, дав ей вещь старую и в общем-то ненужную мне, которую я бы все равно дома забросил бы куда-нибудь, а жена бы потом изорвала на тряпки. Мне вдруг стыдно перед ней стало за свою суетливость и растерянность.

— К сожалению,— сказал я, разводя руками,— ничего больше нет.

— Я вижу, ты добрый человек. У тебя добрая душа. Все у тебя хорошо будет в жизни. Ты не улыбайся, я знаю — ты далеко пойдешь! Ты умный и добрый человек, зло тебя будет бояться, потому что ты не видишь зла. Зло обходит стороной людей, которые не замечают его. Это я точно знаю. Да. Злу нужно, чтобы его замечали, тогда оно войдет в тебя и в твою душу — и ты будешь несчастным. Люди несчастливые слишком много думают

о зле и забывают совсем про добро. Это я точно тебе говорю. Ты мне верь. Я по глазам твоим вижу, что ты не допустишь до сердца своего зла. И хорошо сделаешь. Про это мне еще моя бабушка говорила, когда я маленькая была и когда мы еще кочевали. Я сразу вижу, будет счастлив человек в жизни или нет. Ведь это просто увидеть — зол человек или нет. Как ты скажешь? Просто или нет? Но как бы ты ни сказал, это не трудно, если всю жизнь ждешь от людей добра, а не зла. Я это точно говорю тебе! Ты мне верь. Я насквозь вижу людей. Про нас люди всякое говорят, но ты не верь тем, кто говорит, что мы плохие и нечестные. Я у тебя не тряпку попросила, а захотела проверить твою доброту, добра у тебя попросила. Вот что я скажу: ты добрый и умный человек, и все у тебя хорошо будет в жизни. Что бы ты ни задумал сделать, все у тебя получится... Я это вижу. Гадать не умею, хотя меня бабушка и учила, а просто вижу и могу все сказать о человеке — ты мне верь. Я еще никогда не ошибалась в людях. Верь.

Она все это говорила с той цыганской гипнотизирующей интонацией, с какой они свою ворожбу наговаривают на ладони, остановив тебя где-нибудь в толчее привокзальной площади, — для тебя одного говорят, словно и в самом деле ты именно тот человек в толпе, о котором все доподлинно им известно и которому надо просто внушить, что его ждут впереди счастливые новости. Вообще, в гаданиях есть какой-то здравый смысл. Во всяком случае, я знаю старую женщину, у которой давно уже все разгадано в жизни, кроме одной, последней и самой таинственной, самой страшной загадки. Но она каждый вечер, уединившись, раскладывает пасьянс на гадание и дрожащими пальцами перекладывает старые карты, открывает их и долго думает, и бывает счастлива, когда у нее сходится... Человеку иногда, наверное, нужно острое ощущение сиюминутного счастья, благополучия, уверенности в себе. Слабость, конечно. Но кто и когда сумел измерить расстояние от слабости до силы? Сегодня слаб, чтобы завтра быть-сильным. В слабости своей коплю силы, а потом трачу их и слабею, чтобы опять накопить. Трудно тут сказать, чем жив человек — силой своей или слабостью. Силой, — скажут мне люди, и я соглашусь с ними, но и с другими готов согласиться, потому что расслабленная воля порой нужна человеку для будущих преодолений и борьбы. А разве предстоящая старой женщине загадка не самое главное преодоление в ее угасающей жизни?

Вот и я, приехав в лесной этот, северный край, предался лени и слабости и с великой благодарностью слушал красивую цыган-

ку, которая сулила мне легкую и удачливую жизнь. И когда она с проповеднической какой-то убежденностью говорила: «Верь мне»,— я легко и охотно верил. Я даже физически чувствовал свою эту веру в ее предсказания, ощущая во всем теле какие-то сладостные и горячие токи, какую-то тихую радость и надежду, что все, о чем она говорила мне, так и случится в жизни и все мои будущие начинания, все усилия не пропадут даром.

— Спасибо,— сказал я ей, когда она собралась уходить.— Я еще никогда не слышал таких добрых слов. Спасибо большое.

— Вот, красавец!— говорила она мне, перейдя опять на этот игривый тон.— Я тебе спасибо говорю, и ты мне тоже. Вот и добро. Мы с тобой вдвоем народили добро.

— Да уж! Мы с тобой народили!— говорил я ей и смеялся.— С такой красавицей не трудно.

И опять бултыхались в омуте гладкие и блестящие бобрыта, опять она говорила мне своим распевным голосом:

— Ты на цыгана похож! У тебя волосы как у цыгана, и брови тоже, и темный ты, как цыган. Глаза только серые. Счастливый! Будь всегда счастливым! Дай тебе бог...

И я увидел, когда она пошла к двери, на ногах ее стоптанные, некогда коричневые, а теперь грязного цвета туфли с расплозшимися по швам, раздавленными задниками, из которых на ходу выскальзывали ее смуглые, шлифованные пятки.

Возле двери она оглянулась и из потемок посмотрела на меня с загадочной печалью, как будто подумала в этот момент, что уже навеки прощается со мной, с тем «случайным» человеком, с которым, как она выразилась, «народила добро». А я, не переставая улыбаться, послал ей воздушный поцелуй и сказал на прощанье:

— Привет мужу!

— Нельзя,— сказала она, отворяя тяжелую, обитую войлоком дверь.— Он у меня ревнивый.

И тоже мне ответила воздушным поцелуем, таким же шутивым, как и мой.

— Так что ж это такое — Будорань? Тетя Даша?

— Что, Юрочка?— переспрашивала у меня порозовевшая старушка, развешивая у печки мокрое полотенце и мочалку.— Не расслышала я.

Она словно бы никак не могла понять моего вопроса, хотя я второй раз уже спрашивал у нее об этом.

— Вот сейчас самоварчик поставим. Самоварчик быстро зашумит,— говорила она с придыханием и с той приятной, ласковой торопцой, с какой в северных наших краях близкие меж собой люди разговаривают, все улавливая и понимая, хотя приезжему человеку и трудно бывает сразу уследить за всеми словами, мелькающими в речи.

Когда мы стали чай пить из самовара и тетя Даша наливала себе в чашку жиденький, удивляясь, как это я могу пить такой крепкий, только тогда она наконец будто бы вспомнила о моем вопросе и сказала с каким-то резким кивком:

— А Будорань, Юрочка, это место такое, за озером, в лесу.— И посмотрела на меня долгим взглядом, словно бы обдумывая, стоит ли мне рассказывать о Будорани.— Такое место в лесу, где мы когда-то в молодости сено косили. Вот, бывало, как раз в это самое время, на петров день, когда второй покос, собирались туда... Молодежи много было: парни, девки. Парни с косами, а мы с граблями. Идем с песнями... Весело было, потому что молодые были и из деревни уходили надолго. Мы там и жили, на покосах. Шалапы делали. Это как праздник для всех нас молодых — по дома-то уйти и жить в лесу...

И принялась она мне рассказывать о своей молодости, о том, какое душистое и мягкое сено было на Будорани в те далекие годы и какие звездные ночи были, страшные сказки, тягучие песни и родниковые холода утренников, когда по пояс в росе шли они на работу и как обогревало их солнце.

О цыганке я ей, конечно, сразу рассказал, как только она из бани вернулась, а это не удивило ее.

— Да,— сказала она.— Приходят. За картошкой на поле, а то и по домам пройдутся, поговорят... Им колхоз картошку разрешил подкапывать на пропитание. Договоренность такая есть. У них же огородов своих нет, хотя и оседло живут. У них на то привычки нет: только на деньги и живут.

— Все лето в лесу?

— А что ж им! Они всю жизнь так.

— А как мне на Будорань идти? Тетя Даша?

— По тропочке через луг,— отвечала Дарья Степановна, показывая мне рукой все направление пути, все изгибы и повороты тропы.— Потом пойдешь сюда,— говорила она и изгибала кисть руки, сложившую совочком.

— Направо?— спрашивал я.

— Вот сюда,— подтверждала тетя Даша, боясь ошибиться с этими «лево, право».

Так она мне все и рассказала в подробностях, как будто вче-

ра сама ходила на Будорань. Через лужок, на котором старый сеной сарай, потом тропка между озер пойдет, по Хрениевой горке, а с Хрениевой горки одна тропинка в Бойнево идет, а другая по берегу Защегрья через глухой лес, через овраги и прямо в тот светлый березовый лес с елочками, к большим тем полянам, которые и назывались тут Будоранью.

— Странные какие названия,— сказал я тете Даше.— Хрениева горка, Будорань. Это что же — Будорань? Ранняя побудка, что ль?

— А не знаю... Может, и так. Кто уж назвал — не знаю. А может, еще как...

— Теперь не косите там?

— Наши не косят, нет. Может, бойневские и косят, а наши нет... Давно я там не бывала, Юрочка, не знаю, что теперь там и как: стара стала, а туда, поди, верст пять будет да по оврагам, по глухомани — не дойти мне теперь. Теперь ведь что! Теперь я и в Ленинграде у сынков бывала, и в Новгороде, и в Пскове. Вот в Москву никак не соберусь. А раньше нешто можно было об этом подумать?! Раньше только и знали Хрениеву горку да Будорань... Все поменялось. До Будорани не дойти, а до Ленинграда легко: села в автобус, билет взяла на поезд — и вот вам, сыночки мои хорошие, здрасте, мамочка ваша приехала, встречайте. А Будорань далеко. Вон она, за озером, а к ней не дойти. А бывало, и усталости никакой, туда прибежала, а потом еще домой сбегала и обратно вернулась — и ничего.

— А как же сено вывозили?

— Зимой, по озеру, на санях. Тут по озеру недалеко, по санной-то дороге.

Так мы долго разговаривали с ней, пока сон не сморил меня. И уже сквозь дрему я слышал, как сказала мне тетя Даша в мечтательной какой-то задумчивости:

— Трава на Будорани хорошая, мягкая, как куделя. Все дожди, дожди... Это, как говорят, если на петров день дождь — сена будет много. Завтра это... петров день-то. А косы по утру «вжиг», а потом опять: «вжиг»... Травкой пахнет.

Сил уже не было ответить ей, сказать что-нибудь тоже хорошее и ласковое, и хватило меня только на улыбку, с которой и, наверное, и заснул.

А теперь вот гроза гремела, и я застрял на лугу в сенном сарае, прячась под его дырявой крышей от дождя. Думал о цыганке, вспоминал ее пророчества и улыбался: что-то не складывалось у меня нынче так, как она мне нагадала, не получалось задуманное. Хотя, конечно, не о такой чепухе говорила цыганка,

обещая мне удачу, да и почему бы мне эту грозу и дождь за неудачу принимать, когда дождь на петров-то день по народной примете к большому сенокосу, к хорошим кормам на всю зиму, а значит, к добру.

Окончилась утренняя гроза тоже очень странно и неожиданно, как и началась. Молнии еще где-то суетились, вспыхивали в посветлевшей серости неба, в туманной его вышине, но грома стало уже не слышно, точно это утренние зарницы гуляли по июльскому небу. И дождь перестал. В траве на лугу блестела вода, как в болоте, и каждый стебель травинки, каждый колосок, пушинка и соцветие — все было словно бы припорошено инеем, переполнено дождевой водой, и над лугом пар стал туманиться, когда сквозь поредевшие облака пролилось наконец на землю солнце.

Разуться бы и побежать, как в детстве, по прозрачным, мягким и теплым лужицам! В волнении душевном я закурил и вдохнул в себя табачный дым и вдруг в ужасе посмотрел на душную сигарету, и с неожиданным отвращением и гадливостью бросил ее в траву, подумав с ясностью необыкновенной, что курить в этом мокром и зеленом мире нельзя. И то, к чему я давно и безуспешно готовил себя, пришло просто и естественно, — мне вдруг противно стало от удушливого дыма, который тупой болью толкнул меня в грудь.

«Зачем? — спрашивал я себя так, словно бы вдруг удивился наконец-то глупости своей, с которой так легко и просто покончить. — Как же можно курить, когда тут такая благодать!»

Каждый цветок дышит и пьет дождевую воду, каждая травинка в воде посверкивает каплями, а каждая капля колеблется под теплым солнечным лучом и рождает свой искристый и цветной лучик, который, перекрещиваясь с другим лучиком, вспыхивает крохотным сиянием — весь луг в этих тихих и радостных сияниях, и словно бы горячо каплям от этого света, который в каждой из них преломляется синим, красным, фиолетовым или зеленым лучиком, — горячо от солнца и от этого внутреннего сияния, и пар идет от луга, а в прозрачном его движении словно бы ткутся из разноцветных искорок крохотные радуги. А может, и не пар над лугом, а эти дымчатые маленькие радуги колышутся в солнечном свете.

Солнце было низко, а я шел против лучей, и они слепили меня. Черные валуны лежали на моем пути, они блестели, как полированные надгробья, и какие-то мелкие камни торчали тут и там из земли среди елочек и можжевеловых кустов надвинув-

шейся опушки леса. И вдруг один из этих серых камней ожил и опрометью кинулся к лесу. Заяц! Он бежал от меня, бежал против солнца, и мне казалось, будто пружинистыми, сильными лапками своими он высекал из земли снопы сверкающих искр — это брызги разлетались от ударов и взблескивали в солнечных лучах. Пушистый серый комочек, мелькнув сказочным чудом, уже исчез в лесу.

А я шел и улыбался, вспоминая цыганку, и, оглянувшись, увидел за собой ярко-зеленую тропу среди седого мокрого луга — тяжелые следы тех разлетевшихся брызг, которые и я тоже выбивал своими сапогами. Они бы, наверное, тоже сверкали, как искры, если бы кто-нибудь видел меня... «Если бы кто-нибудь видел...»

Бог ты мой! Я у всех на виду! И множество глаз провожало меня в эти минуты, пока я подходил к опушке. На меня задумчиво смотрели лошади, когда я вышел из сарая, на меня косил заяц, когда я приближался к нему, на меня смотрели и смотрят внимательно и с опаской сотни птичьих глаз! Все они видели, как я шел по мокрому лугу, высекая сверкающие брызги, и видели, как я улыбался. Во всяком случае, мне хотелось, чтоб в эти минуты они видели ясно улыбку, понимая, что я не причину им зла, и не боялись меня. Мне никого не хотелось пугать в это утро после грозы, и я готов был кричать на весь лес: «Звери, птицы! Я одной с вами крови! Верьте мне! Я не трону вас!»

Лес, через который я шел к Будорани, был дремуч и темен. Поваленные, обметанные мхами и травами ели тянули ко мне свои вздыбленные громадные клубки корней, словно оберегая мрачные, как могилы, ямищи, в которых некогда была их жизнь, в которых змееподобные эти корни, вздыбленные теперь на моем пути, добывали тонкими, как веревки, щупальцами право на жизнь старого дерева, лежащего теперь в гнили и прахе на земле. И я каждый раз представлял себе грузное и мрачное падение высоких елей, не выдержавших напора ветра; елей, которые освобождали место другим деревьям, но которые, падая, подминали под себя, уродовали множество маленьких, неокрепших еще творений. Берложья тьма старых выворотней, переплетенная мертвыми корнями, затянутая паутинами, казалась той таинственной и пугающей тьмою, из которой вдруг могли бы появиться на свет страшные какие-то и лохматые существа, в которой словно бы дремали теперь, в солнечное это утро, старые и веселые лешие...

Солнечный свет, косо пробиваясь сквозь чащобу голубыми, дымчатыми струнами, перетягивал лесной влажный мрак, и чу-

дилось, будто на этих прожекторных каких-то лучах, на овеществленном этом свете сидят крохотные птички и тихонечко позванивают своими голосочками. И казалось еще, что там, впереди, куда я шел, видна уже какая-то ярко освещенная, веселая поляна, и еще немного — и я выйду из мрака, но я шагал и шагал по невидимой, пропадающей то и дело тропе, а солнечный этот мир отдалялся от меня, как будто заманивая все дальше и дальше в лес, в бурелом, в мягкие мхи и тишину, в которой жили чуткие и сутулые лоси и лохматые лешие, дремлющие сейчас под мертвыми корнями.

«Лоси — это дикие кони леших», — думал я и улыбался, шагая по неслышному мху.

Мне очень хотелось испугать себя, испытать детский ужас, чтоб было страшно посмотреть туда, где почудился бы мне таинственный незнакомец с сонными и насмешливыми, как у ленивца, глазками. Но страх этот не приходил, к сожалению. Я видел под ногами кучи лосиных шариков, видел на тропе глубокие вдавлилки лосиных острых копыт, слышал и видел квохчущих молодых дроздов, которые с шумом поднимались на моем пути и тяжело летели сквозь солнечные лучи, сверкая в них, как в кучах прожекторов, и ни единый мускул мой не вздрагивал от неожиданных и шумных взлетов — все было понятно и словно бы давным-давно знакомо в этом старом лесу: и овраги с каменными донышками, заросшие малиной и бузиной; и яркие, краснеющие гроздья рябины, которые встречались мне то и дело; орешники, по пояс стоящие в сплошных зарослях светло-зеленых папоротников, и снова глухие мхи, коричневые, зеленые и белые, и старые ели, вознесшиеся в невидимое небо, — а я, как муравей среди высокой травы, торопился и торопился никому не ведомой, заброшенной тропой в солнечную, березовую Будорань, к тем мягким, как льняная кудель, травам, где когда-то люди делали шалаши и будоражили лес молодыми голосами, пугая страшными сказками друг друга, — все было очень понятно мне в это мокрое утро, и душа моя преисполнена была какого-то тихого и торжественного умиления перед всем, что я видел, осязал, слышал и чуял вокруг. И чувствовал я, что меня ничем невозможно испугать в этом таинственном, но очень понятном лесу. Если бы даже вдруг настоящий леший вышел из небыли, аукнул бы и хохотнул из своей мрачной ямищи, поблескивая насмешливыми глазенками, то и тогда бы я не вздрогнул, а скорей бы, обрадовался встрече, удивился бы очень и пошел бы крутить по лесу, лишь бы подольше послушать лохматого лешего, веселого бродягу наших сказочных лесов.

Но я вдруг услышал, перед тем как выйти к солнечной поляне, которая опять замиражала впереди, звук, что раздался вдруг в глухой чащобе, в зеленом мраке, пронизанном туманными лучами, в тишине и покое оглохших мхов... Я услышал жалобный плач грудного ребенка. И все во мне содрогнулось. Я остановился и с колотящимся, обмороженным каким-то сердцем снова прислушался, надеясь на ошибку, на дурацкое наваждение...

«Какой ребенок?! С ума сойти! Ведь так только крохотный ребеночек плачет. Откуда он здесь? Что это? Кто?»

Если бы у меня была привычка креститься, я бы, наверное, в это мгновение осенил себя крестом — так испугался я, услышав отчетливо и ясно плач.

Я с трудом стронулся с места и, озираясь, пошел к той поляне, которая опять почудилась мне впереди, пошел к солнечным воротам, лишь бы не оставаться в темной и мглистой глуши очарованного тишиною и своей дремучестью леса. И чем ближе я подходил к этой поляне, которая на этот раз, кажется, не отдалялась от меня, тем отчетливее и слышнее становился плач ребенка.

Я вышел из леса. Солнце освещало все вокруг, и лучи его, как теплые и сухие руки, коснулись моего лица, сгоняя с него холод испуга. И я улыбнулся.

На грани тьмы и света словно бы сошлись вплотную и ужились в согласии два совершенно разных мира: мир замшелых елей, бурелома и мягких, глухих мхов, из которых я вышел, и мир, пронизанный солнцем, среди которого вздымались дубы и светлые, сверкающие белизной березы.

В этом мире пахло еловым дымком, а справа за пологим склоном, за зелеными камышами дымила вода ледникового озера.

Я улыбался, слушая плач ребенка, потому что этот плач исходил из большой палатки-шатра, которая мокро темнела, провиснув среди берез, и возле которой курился голубой дымок и стояла телега, уперев оглобли в землю. А чуть в стороне темнела еще одна такая же мокрая и старая палатка, в какой обычно солдаты живут в летних своих лагерях, а теперь вот жили цыгане, работавшие на лесоповале.

Люди только что пробудились, и еще незаметно было движение возле их полотняных жилищ, и лишь плач ребенка нарушал тишину.

Нельзя мне было останавливаться здесь, потому что меня никто сюда не звал и своим ранним появлением мог бы я смутить

людей и вызвать разные у них толки. Во всяком случае, мне это так показалось, когда я понял, что вышел к человеческому жилью, словно бы я забрел случайно в чужую квартиру, в которой люди еще спали, оставив двери нараспашку. Именно так я почувствовал себя здесь и пошел краем леса прочь от полотняных, провисших, влажных шатров, чтобы, не дай бог, не увидел меня никто и не заподозрил в чем-то недобром.

Но встречи избежать мне не удалось: из-за склона поляны поднимался, ведя под уздцы лошадь, молодой курчавый цыган и внимательно смотрел на меня.

— Доброе утро,— сказал я ему с улыбкой, когда мы поравнялись.

Но он ничего не ответил и прошел мимо, а я даже остановился в растерянности: отчего бы это он?— думал я, разглядывая его сутулую спину и понурого жеребца, которого он провел мимо, словно бы из ушата окатив меня резким конским духом.

Жеребец был соловый — рыжий с серебристым хвостом и такой же гривой,— а ноги как будто обмотаны были белыми, чистыми портянками. Жеребец этот, казалось, шел в лапоточках — русоголовый, всклокоченный мужичок, которого вели на работу. А цыган косолапо шел рядом с его красивой, кланяющейся головой, шел и не оглядывался на меня, шел, поспешая за широким шагом коня. Одет он был в спортивный костюмчик, очень похожий на тот, который я недавно отдал цыганке, а на ногах — сапоги.

Может, так оно и было на самом деле? Может, каким-то непонятным образом узнал он во мне человека, чей костюм теперь надел? Может, черт знает что обо мне подумал, когда увидел тут, на этой лесной поляне?

Я ждал, что он оглянется наконец, но он не оглянулся.

Тяжелые, мокрые головы цветов никли в высокой траве, в тишине неуверенно и робко начинали шуршать крылышками пушистые шмели, словно отряхиваясь, обсыхая на солнце, пробовали свои силы. А в озере, которое широко раздвинуло лес светлой своей водою, вдруг ударила хвостом какая-то рыба, и я увидел на глади расходящиеся круги.

Трава вокруг стояла никем не тронутая, и сколько я потом ни ходил по этим светлым местам, по березовым рошицам, под дубами, отыскивая под елочками белые грибы, нигде я не видел ни копеночки, ни скошенной травы. Но, помня рассказ тети Даши о Будорани, чувствовал себя так, будто ходил все время по старому пожарищу, давно забытому людьми и густо поросшему

травую, будто места эти были сдобрены золой, оттого здесь и травы стояли такие высокие. Печально ходил, и грибы меня не веселили, хотя душа моя и переполнена была красотой безмолвного леса, цветистых полей, которые, как реки в половодье, окружали своим травяным раздольем березовые острова, сливаясь друг с другом узкими проливчиками, затопляли все вокруг цветами, запахами и звоном просохших насекомых. И ни единой тропочки в этом зеленом половодье!

Дома, вытряхивая семена переспелых трав, упавших за голешица сапог, я сидел на крылечке, а тетя Даша смотрела на меня из распахнутого окна и, видно, ждала, чтобы я о Будорани ей рассказал. Потом она сама меня попросила об этом:

— Ну, Юрочка, был ли ты на нашей Будорани? Грибов-то, я гляжу, не собрал, так не дошел, наверно?

— Не знаю, тетя Даш,— отвечал я ей.— Может, я дошел. Может, и нет. Цыгане там живут, а трава стоит, как будто век никто не бывал, не ходил никто. Вышел из лесу, а справа — озеро...

— Это и есть Будорань!— сказала радостно старушка.— Не косят бойневские?

— Никто не косит.

— А сено, Юрочка, что на Будорани, не взять. Косилка там не пойдет — только косой да граблями. А кто же косой махать будет? Вот и получается — близок локоток, да не укусишь.

И стали мы с ней говорить ни с того ни с сего о делах хозяйственных, в общем-то привычный потек у нас разговор, какие часто теперь случаются между человеком городским и сельским: я удивлялся нерадивости колхозного начальства, а тетя Даша словно бы жаловалась мне, а я легко понимал эту ее жалобу и сочувствовал.

В таких разговорах дело дальше жалобы и сочувствия обычно не идет, такие разговоры только душу бережат и никому никакой пользы от них не бывает, ни городскому человеку, ни сельскому. Иной раз даже думаешь, что не ради жалобы, не ради того, чтоб дело поправить, возникают эти разговоры, а просто русский человек любит от другого сочувствие услышать и только ради сочувствия к себе готов порой пуститься в эти грустные разговоры — добра ждет, отзвука душевного, чтоб другой сочувствие проявил и порадовал душу пониманием. Я с этим не раз уже сталкивался и привык к этим разговорам, в которых люди начальство свое за безвозможность и нерадивость косят. А вот мой

приятель, впервые услышав однажды подобный разговор, в котором председатель колхоза таким уж злодеем вырисовывался, решил собрать все факты и пошел по домам расспрашивать людей, чтобы как-то помочь им, чтобы в газету написать о злодее. «Что ты, милый,— сказали ему в каждом доме,— Куколин-то? Куколин хороший человек, мы при нем только и зажили хорошо. Чего уж грех на душу брать! Нет! Он хороший человек и хозяин хороший, колхоз-то ведь он поднял».

Говорили те самые люди, которые вчера еще в задумчивости ругали Куколина на чем свет стоит. «Да как же так?— возражал им озадаченный друг.— Вы же мне вчера о нем совсем другое говорили». А ему отвечали с некоторым смущением: «Говорить-то всякое можно. Язык без костей. Да только говорили мы тебе по любви».

Поддакивал я тете Даше в этот день, сидя на крылечке, слушал ее и удивлялся, а сам думал о цыганке и о ее словах, которые та наговорила мне «пророческим» своим голосом.

Слишком мало я ей заплатил, так сказать, за то добро, которое она мне отдала, за ту гармонию душевную, которую вселила в меня словом.

— Тетя Даш,— прервал я старушку на полуслове,— а вы сами счастливы или нет?

Она не ожидала этого вопроса, но лицо ее вдруг разбежалось все в мелких морщинках и каждая морщинка улыбнулась мне.

— Вот ты о чем, Юрочка, спрашиваешь,— сказала она, словно ахнула удивленно.— Вон ты о чем! Сколько живу, а вот вспомнить-то... Сама-то думала, а вот чтобы кто-то спросил меня так— не помню. Счастлива ли? — переспросила она так, будто я ей вдруг загадку загадал, будто она ребенок еще совсем, а я ее на сообразительность проверить решил: «Счастлива ли?» — Надо подумать,— ответила тетя Даша, не переставая улыбаться.

— Чего уж тут думать?! Это сразу надо говорить.

— Сразу не скажешь. Все было в жизни. Все было, Юрочка.

— Понятно, тетя Даш! А в целом? Вся жизнь ваша как? Вы счастливы, что вот прожили здесь всю жизнь, вышли здесь замуж, родили детей, а теперь вот коротаете одна на старости лет, и детей в гости не дождетесь, когда у них отпуск там будет! Я про это спрашиваю. Про всю жизнь.

— Я понимаю, Юрочка. Понимаю, что про всю жизнь.

Задал я работы старушке этим вопросом! Она мне ничего сразу и не ответила, но весь день ходила сама не своя и, види-

мо, только и думала что о моем вопросе, ответа искала на него и не могла найти.

Глупый, конечно, вопрос, и ответить на него однозначно нельзя. Но, видимо, тетя Даша хотела ответить, и не только мне, но и самой себе на этот вопрос одним словом: счастлива или нет, — и не могла решиться ни на то, ни на другое. Никто никогда не решится сказать о себе, счастлив он или нет.

Я был счастлив в лесистом этом краю и был по-своему прав, думая, что сделала меня таковым мудрая цыганка, заглянувшая ко мне в избу, когда тетя Даша парилась в бане. Но кто поверит мне? Я и сам никогда не верил в то короткое счастье, когда с такой полнотой видел и слышал, обонял и осязал мир вокруг, что понимал его райским каким-то садом, чувствуя себя разумной и прекрасной частицей этого волшебного мира. Были минуты, когда казалось, что мне ничего больше и не надо в жизни, а нужно отбросить все, что было накоплено в ней, все знания, которые я получил, весь прежний опыт, который совершенно неприемлем был в лесу и в деревне, на озере и на лугах заозерной Будорани, в общении с цыганами и с доброй тетей Дашей, — все это казалось порой мне пустым и наносным.

Но прошел день и еще один, и я почувствовал усталость, пребывая в этом простом и славном мире. Все, что на первых порах, казалось мне, было преисполнено глубокого смысла и значения, стало обыденным и слишком простым. Информация, которую я получил о жизни здесь, была давным-давно уже обработана моим мозгом, а новых сведений об этой жизни я больше не получал, если не считать каких-то простеньких и наивных историй, похожих на сказку, которые мне рассказывала по вечерам за чаем мплая тетя Даша. И даже то, что прежде мне представлялось интересным с точки зрения простого познания, давно уже стало понятно мне, а потому и неинтересно.

Меня потянуло домой, в ту привычную обстановку, где никогда не иссякает поток информации, поток знаний о делах значительных и очень важных, происходящих рядом со мной или на другом полушарии, о которых я должен, обязан и хочу все узнать, хотя многие события, происходящие в мире ежесекундно, совсем как будто бы не касались меня. Не важнее ли мне узнать — счастлива тетя Даша или нет? И что подумал обо мне курчавый цыган, надев мой спортивный костюмчик?

Но я ничего не мог поделать с собой, я устал от безделья, и мне пора было нагрузить свой мозг кучей всяких ненужных мне сведений, без которых, как ни странно, я не мог уже жить

и не мог понимать себя счастливым — это я хорошо чувствовал и стал томиться без этого и хандрить. Бог ты мой! Я, наверно, несчастный человек. Кстати, старушка так и не ответила на мой вопрос. Да и можно ли ответить серьезно на этот глупейший и пустой, праздный вопросик? Надо без вопросов понимать друг друга и сочувствовать, чтобы нарождалось каждый миг добро в нашем огромном мире, в котором суждено нам жить.

ГОЛУБОЙ ДЫМ

В апреле старые Крымские горы, мягкие долины, голые сады, пустынные, плоские пляжи, черепица крыш — все в это время прозрачно и невесомо, и кажется, будто бы солнце туманит крымскую землю теплой голубизной, такой же нежной, как море. А прохладный воздух душист от цветущих белых кустарников и сырости камней, вознесшихся хаосом к голубому небу. Кажется, будто земля, укутанная туманным морем и небесами, пребывает в счастливом своем младенчестве, а люди, живущие на ней, — это первые обитатели не просохшей еще, покрытой пеной и словно бы из моря поднявшейся голубой суши, молода она и перевозданна, нежна ее чистая и мягкая улыбка.

Во всяком случае, так все и восприняла Марина Александровна, когда вышла в то утро из тесной и низенькой комнатки маленького дома: и цветущую яблоню у крыльца, и лай собак, воробьиный звон и ласковую тишину, — все это улыбнулось тогда ей, и она, потягиваясь со сна, почувствовала себя совершенно счастливой. Даже не поверила, что это именно она, Марина Александровна Ямщикова, в мягких своих домашних тапочках, которые недавно надевала в московской квартире, вышла теперь вот на высокое крылечко и вобрала в себя радость огромного дня, который был впереди, а потом и радость той бесконечной череды дней на краю земли с долинами и горами, которые, как голубые облака, рождались из голубого моря.

Она зажмурилась в улыбке и, вспомнив о Танечке, пошла ее будить, хотя та как будто бы и не спала — проснулась сразу, протерев ладонями припухшие спросонья глаза.

— Доброе утро, Марина Александровна, — сказала она, стаскивая с себя ногами колючее одеяло. — Я спала как убитая! Как убитая, — повторила она радостно. — Я в Крыму! Неужели в Крыму? Ущипните меня, пожалуйста, Марина Александровна!

Она до последнего дня не верила, что поедет в Крым. Она так хотела поехать в Крым с Мариной Александровной, столько надежд у нее было на эту поездку, так она мечтала о ней, что

отказать ей было бы слишком жестоко, и Марина Александровна согласилась, ставя себя в затруднительное и очень неловкое положение.

Теперь, когда они обе приехали в Крым и поселились там, где жила Марина Александровна с мужем два года назад, у тех же хозяев, в той же комнате, которая, конечно, пустовала в апреле месяце,— теперь им казалось, что жизнь их здесь наконец-то прояснит их странные и напряженные отношения: Танечке казалось, что она еще больше породнится с милой ее сердцу семьей, с Мариной Александровной, которую давно привыкла считать своей будущей свекровью, а Марина Александровна надеялась, что легкомысленный ее Володька, которому только что исполнилось девятнадцать и который был на год младше Танечки, прилетит сюда денька на три и, может быть, они с Танечкой наконец-то разберутся в своих чувствах, объяснятся наконец-то и что-то решат для себя.

Ей нравилась эта девушка, которая появилась в их доме года четыре назад, когда Володьке было пятнадцать (несмотря на разницу в возрасте, они учились в одном классе: Володька рано пошел в школу). Не поступив на филфак, Танечка занималась теперь с каким-то репетитором, готовившим ее к новым экзаменам в МГУ, и говорила, что скоро начнет работать в библиотеке. Но говорила это и в начале зимы, и в середине, и даже теперь, весной, и Марина Александровна давно уже поняла, что ни в какой библиотеке Танечка работать не будет, а когда придет время экзаменов, опять срежется на сочинении, если, конечно, репетитор, с которым она занималась всю зиму, не патаскает ее в достаточной степени. Марине Александровне было жаль Танечку. За эти годы она привыкла думать, что сын ее, без ума влюбленный в эту девушку, женится на ней и Танечка ей будет как дочь. Но теперь Марина Александровна думала, что Володька, в которого влюблена Танечка, еще совсем мальчишка, безмозглый шалопай и бездельник, которому Танечка вдруг перестала нравиться и который признался в этом матери, сказав, что у него есть другая девушка. Бедная Танечка! Она ждала теперь от жизни здесь такого невозможного случая, таких радостей ждала и так надеялась на встречу с Володькой, который обещал урвать время в институте и приехать, что ее даже жалко было. Марина Александровна чувствовала, что Володька не приедет, и это тяготило ее, сковывало, мешало, хотя она по-женски понимала Танечку, и желала ей счастья, и очень хотела верить в то, что Володька все-таки приедет, увидит Танечку, которая успеет к тому времени загореть и похорошеть еще больше, и опять влюбит-

ся в нее и, может быть, даже вернется к нему то безбрежное мальчишеское чувство любви, которым был он переполнен все последние годы.

Но при всем при этом она теперь все чаще задавала себе тревожный и неприятный вопрос: как далеко зашли они в своих отпоянениях? Имеет ли право Володька бросить девушку, которую любил и которая любит его, не совсем еще понимая, что же произошло, не веря еще в разрыв, надеясь сердцем, что все это пройдет и надо лишь дождаться возвращения любви к себе, надо ждать.

Танечка знала в жизни своей только Володьку и думала, что не может же человек, который так ее любил и которого сама она очень любила, — не может этот человек вдруг разлюбить. Так не бывает, думала она. А если и бывает, то только с другими. И в этом смысле она была, конечно, права, потому что сама любила и очень верила в человека, которого любила. Если бы она думала иначе, то это было бы очень грустно и для нее и для всех людей на земле, для всех, которые любят и знают, что если один разлюбил, то это нелепая случайность, заблуждение, и надо просто дождаться этого человека и объяснить ему, как глубоко он заблуждается, разлюбив. Человек этот должен все сразу понять и вернуться со своей прежней любовью. Он не может иначе. Ведь он же любил. Он клялся.

Любовь слепа, говорят люди. Но этого никогда не говорят и не знают об этом те, которые любят.

Об этом знала теперь только Марина Александровна, и ей было очень обидно за милую и добрую девушку, перед которой она чувствовала себя виноватой. Она и ехать-то с Танечкой согласилась, повинувшись чувству жалости, и с печалью порой думала о ней, влюбленной в ее сына, в беспечного и красивого Володьку, которому она не могла, к несчастью, приказать любить эту девушку, — думала о ней как о дочери, которой не повезло в любви.

Но здесь, в холодном весеннем Крыму, ей тоже вдруг стало казаться, как и Танечке, что не все еще потеряно и что жизнь порой может расщедриться и вернуть утраченное. А почему бы и нет? Ведь уехала же она вот от мужа, бросила дом и мужа с таким ощущением, будто давно разлюбила, хотя на самом деле просто устала от дел, от нескончаемых очередей возле своего кабинета в районной поликлинике, в которой уже восемь лет работала терапевтом, от людских жалоб, от занудливых «историй болезней», измучилась от бесконечного однообразия домашних вечеров, от собаки, с которой хочешь не хочешь, надо гулять

каждый день, устала готовить после работы еду для своих мужиков, заваривать чай, смотреть телевизор, ругаться с мужем, который всегда переключал на хоккей, даже если показывали по другой программе интересный фильм.

Господи! Как она ненавидела его в эти минуты! И как скучала без него теперь, когда была в отпуске одна в весеннем Крыму, далеко от него!

«Конечно, — думала она теперь, — он мне ужасно надоел! И я ему тоже, наверно. Но разве это о чем-нибудь говорит? Разве через три недели я не обрадуюсь встрече с ним? А он? Разве нет? Разве не будем мы снова счастливы? Я и он. И все будет так, будто в первый раз, а жизнь без него покажется несчастьем. Разве не так? И неужели пора нам думать о внуках? Пусть будет так, как будет. Придет Володька или нет... Разве Танечка несчастна? Господи! Уж на это-то время, во всяком случае, хватит ей счастья. Она еще верит, а значит, и счастлива. Все может быть».

Думая так или, вернее, стараясь уйти от своих предчувствий и не думать о судьбе Танечки и Володьки, она порой ловила на себе оцепеневший, пустой взгляд девушки, и ей становилось грустно от этого взгляда, и она злилась тогда на сына, который поведением своим поставил ее в это ложное положение, когда оставалось ей только скрывать от Танечки правду и делать вид, что ничего не случилось.

«Не могу же я удочерить ее, идиот! — думала она тогда в злорадстве. — Такие вопросы пора решать самому, а не надеяться на мамочку. Скоро два десятка балбесу».

Втайне же она была словно бы и рада тому обстоятельству, что Володька окладел к Танечке, потому что ей самой, здраво рассуждая, не очень-то и хотелось, чтобы сын ее женился так рано. Она видела, знала и чувствовала, что Танечка давно уже готова стать женой и матерью: она была уже так хороша и так развита физически, что это для нее было бы естественно. Но Марина Александровна всегда усмехалась и удивлялась искренне, когда думала о Володьке в роли мужа и отца.

Нет, она не была так глупа и эгоистична, чтобы видеть в сыне ребенка, не замечать его усов, которые он еще не начал брить, жиденькой и мягкой бороденки, но при всем при этом она не хотела бы завтра поздравить его с женьтибой. Пускай случится это послезавтра, думала она. Куда спешить!

Она боялась этих мыслей и не то чтобы Володьке, но и себе и мужу своему не смела признаться в них. Ей не хотелось быть пошлой: она понимала, что Танечка любит сына, а сын любил

эту девушку, которая достойна его любви. Она была бы умной женой и хорошей матерью. А неизвестно еще, кого приведет послезавтра Володька в дом.

Нет! Она напрочь отметала все эти сомнения, раздумья и тоже, как Танечка, надеялась, чувствуя себя так в голубом и свежем, пропахшем сырыми камнями просторном Крыму, словно она тоже совсем еще юная, как Танечка, и тоже, как она, ждет от жизни любви и надеется на счастье.

Крым, окутанный душистым дымом весны, представ однажды тихим и — есть такое старое слово — лучезарным, то есть озаренным лучами или озаряющим сам лучами, исходящими из недр земли и каменных гор, так и остался в сознании и в сердце тихим и лучистым, хотя были и ненастья, были холодные ветры и даже штормы на море. Но как бы то ни было, Марина Александровна, а вместе с ней и Танечка знали, что весеннее это ненастье скоро пройдет и опять все утихнет на земле и на море, опять солнце залетит голубизной горы, раздвинет прозрачный и притихший мир, просушит дороги и тропы и опять напоит воздух запахами бело-розового цветения. И Танечка и Марина Александровна словно бы и сквозь тучи видели солнце и, кутаясь в плащи, скользя на мокрой тропе, знали, что это ненастье ненастоящее, что это всего лишь навсего серая пауза между голубыми днями.

В ненастные дни Танечка забиралась с ногами под серое одеяло и, насупившись, читала рассказы Юрия Казакова. Их легко было читать, но так же легко можно было уйти от них и в бездумье парить в музыке, оставшейся в душе. О чем его рассказы, она не знала... О том, какая темная ночь на Оке? Может быть... О том, как мчался междугородный автобус? И об этом тоже... Они нравились Танечке, эти рассказы, с которыми было легко расстаться, но которые словно бы еще и непонятны были до конца, в которых всегда еще что-то таилось, пробуждающее в душе странное желание: после каждого рассказа, прочитанного в хмурой сосредоточенности, хотелось ей не рассказ понять, не то, что там изобразил автор, а самого автора понять, самого этого Казакова. И часто, задремывая с книжкой в руке, Танечка пыталась представить себе этого человека, ей хотелось встретиться с ним, понравиться ему, быть с ним умной и красивой, спрашивать его о чем-то очень умном и слышать его умные ответы... Она всякий раз мечтала именно об этом, прочитав или оставив недочитанным рассказ Юрия Казакова. Мечта была неосуществимая, и поэтому легко было мечтать.

А Марина Александровна, которая тоже в такие пасмурные

и дождливые дни лежала на своей узенькой кровати возле окна, смотрела на Танечку с улыбкой и долго задумчиво молчала.

Она обычно ложилась поверх одеяла в черных спортивных брюках и шерстяных носках и без устали смотрела в окно, словно в задумчивости своей считала белые капли, падавшие с черепичной крыши, словно ждала, что из-за низких туч вот-вот покажется солнце или где-нибудь посветлеет вдруг.

И она всякий раз вскрикивала радостно, если и в самом деле видела над морем просвет.

— Смотри, смотри! Завтра будет хороший день! Видишь, посветлело море? Это оно небо отразило светлое... Где-то там солнце! А завтра и у нас...

В эти ненастные дни она испытывала острое чувство тревоги, ей вдруг начинало казаться в такие дни, что Танечке стало скучно и что Крым, забитый тучами, ее Крым, как она думала о нем, может Танечке разоправиться и втайне девушка уже жалеет, что собралась сюда, поверив восторженным рассказам.

Было очень обидно за Крым, о котором мог кто-то подумать плохо.

— Ничего!— говорила она, бодрясь.— Весна есть весна. Зато уж знаешь, как после дождя цветы пойдут в горах, тюльпанчики красные, дикие тюльпаны... Мы обязательно сходим!

Но Танечка чутко улавливала это ее настроение и старалась каждый раз предупредить Марину Александровну.

— Что вы!— говорила она.— Это даже приятно — поваляться денек в кровати. Я люблю, когда дождь и никуда не нужно идти, можно лежать и читать книжку. А тюльпаны — мы сходим за ними. Это даже хорошо, что дождь!

Марина Александровна улыбалась, чувствуя Танечкину сердечную доброту, и с благодарностью говорила:

— Конечно, господи! Разве в Москве я могла бы так радоваться дождю? А здесь лежу и радуюсь. Смотрю, как падают капли, а на душе спокойно-спокойно... Смотрю, как дождинки по яблоне, по цветочкам ударяют, как лепестки розовые вздрагивают, мне так приятно, словно ничего больше в жизни и не надо. Это знаешь почему? Потому что горы большие-большие, море большое-большое, а домики маленькие, и мы с тобой совсем крохи в этих домиках. В Москве все наоборот — дома большие-большие, а гор нет... А здесь я себя чувствую совсем одинокой под этими горами у моря... Все-таки иногда приятно чувствовать себя одинокой и...— Она хотела сказать: «и всеми покинутой»,— но сочла это слово неуместным и так и оборвала фразу на этом задумчивом звуке.

— Я все понимаю, — откликнулась Танечка. — А мне почему-то всегда, когда дождик, хочется есть.

И обе они смеялись, радуясь друг за друга, благодарные друг другу за добрые слова и добрые чувства... Марина Александровна брэнчала чайником, наполняя его водой, ставила его на электроплитку, накрывала на стол, резала копченую колбасу и хлеб. У них еще не кончились запасы, и они еще ни разу не ходили обедать в столовую. Марина Александровна знала, как готовят в этой единственной столовой, и в голове у нее уже сложился нехитрый план на будущее, когда у них кончатся московские продукты: она хотела попытаться взять недели на две курсовки в соседнем доме отдыха и надеялась, что это ей удастся сделать, потому что сезон еще не наступил и людей в доме отдыха было мало. Но об этом не настало пока время думать, у них еще много было вкусных и разных консервов, огромное количество сладкого и даже большая бутылка кагора на случай простуды.

— А мне в дождик, — сказала Марина Александровна, вспоминая об этой бутылке, — хочется иногда выпить.

И это было очень кстати. Они пили чай с кагором, Танечка раскраснелась и без умолку смеялась, влюбленно поглядывая на Марину Александровну, которая так хорошо и просто сказала, вспомнив о кагоре, сказала с таким доверием к ней, что Танечке, когда она выпила разбавленного чаем горячего кагора, стало даже казаться, будто все ее тревоги и волнения позади, будто она и Марина Александровна породнились уже навсегда и теперь Володька со своим отцом, с угрюмым Сергеем Петровичем, — их мужья, а они их жены, уехавшие от них и тайно устроившие свой маленький пир на берегу моря.

К тому же дождик к вечеру совсем поприших, и над морем на закате в небе разлилось как будто теплое топленое молоко... Это далекое тепло еще было затуманено дождем, но можно было уже надеяться, что утром будет солнце.

Опьянение долго не проходило, и Марина Александровна, устав от смеха, сказала удивленно:

— Да что ж это мы смеемся, как две дурочки!

Но даже и эта фраза показалась очень смешной, и обе они опять засмеялись.

— Ну хватит, Танечка, хватит! Я уж не могу больше. У меня живот болит. Хватит! — умоляла Марина Александровна, не в силах остановиться.

Но Танечка наконец-то поборола свой смех, глубоко и облегченно вздохнула и даже словно бы прорычала, выдыхая воздух из груди. Нос и щеки у нее были пунцовые, а губы такого же

цвета, как и недопитый кагор в стакане, и она сказала, осторожнотрогая свои щеки:

— У меня щеки болят. Я вся горю совершенно...

— Ну хватит тогда... больше не будем смеяться. С ума сойти! Я, кажется, в жизни так не смеялась.

— Джесси, нам грогу стакан!— пропела басом Танечка и подпяла стакан, в котором остался кагор.

Но Марина Александровна перехватила этот стакан.

— Нет уж!— сказала она.— Этот стакан Джесси налила пе вам, а нам... Грогу стакан.

И, расплескав вино, выпила сама: она была привычнее Танечки в этом веселом занятии и не боялась за себя.

— А тебе хватит, милая моя,— сказала Марина Александровна, смутив вдруг девушку, которая, услышав этот строгий тон, ступевалась, и глаза ее заплыли стыдом.

Но она поборолa этот неожиданный стыд и смущение, засмеялась опять и сказала с залихватскостью:

— Не даю бедной девушке напиться! Придется в море утопиться!— И уже спокойно продолжала:— Если завтра будет солнце, я обязательно искупаюсь. А потом мы пойдем за дикими тюльпанами.

— Если будет солнце,— согласилась с ней Марина Александровна.

Когда наступила тьма, дождь перестал, и сделалось очень тихо на земле. Стало слышно, как успокоенное море мерно накатывалось слабой волной на берег. Этот шум был далек и глух, и паузы между накатами были долги. Иногда вдруг казалось даже, что море совсем утихло и больше уж не омоет волною каменистый берег. Но волна приходила, как затаенный вздох, и с приглушенным шумом шипела, бесследно исчезая в тишине.

А с черепичной крыши редко падали словно бы загустевшие, тяжелые капли, чмокая мокрую землю.

Танечка ворочалась на железной кровати, ржавые пружины под ней противно повизгивали и скрежетали, и она вздыхала всякий раз шумно и безнадежно.

— Ты чего не спишь?— спросила Марина Александровна.— Тебе плохо?

Танечка притихла, а потом выдохнула с какой-то шумной безнадеежностью:

— Не-ет... Стараюсь, а ничего не получается. Я бы с удовольствием пошла сейчас гулять.

— Сейчас темно и скользко.

— А я бы все равно пошла,— сказала Танечка с глухим

упрямством.— А что, если нам завтра позвонить в Москву?

— Можно и позвонить. Соскучилась?

— А вы?

— Еще не успела.

— А я бы позвонила на вашем месте.

— Думаешь, я застаю своих мужиков дома? Как бы не так! Впрочем, попробовать можно. А сейчас постарайся уснуть, будет хорошее утро, а мы с тобой просним. Жалко.

— Ничего-то мне не жалко,— сказала вдруг Танечка, и опять пружины под ней закричали в тишине с визгом и грохотом.— Ненавижу свою кровать!

Она сказала это так, как будто речь шла не о кровати с железной пружинной сеткой, а о каком-то живом существе, мучающем ее по ночам.

Марина Александровна улыбнулась и промолчала. «При чем тут кровать?» — подумала она. А Танечка опять шумно вздохнула.

— Ну что ты вздыхаешь? Ну давай о чем-нибудь поговорим, если не спишься. Зажги свет, почитай. Я, между прочим, люблю рассказы Нагибина. Ты читала?

— Читала,— сказала Танечка.— Вы знаете, о чем я сейчас жалею... Ну, может быть, не жалею... думаю просто... Я думаю, если Володька в прошлом году не поступил бы в институт, если бы провалился, то его бы забрали в армию и он бы сейчас где-нибудь служил.

— Ну и что?— удивленно спросила Марина Александровна.

— Ничего... Просто служил бы, а я его ждала.

— Но ведь он мечтал учиться в этом институте.

— Все мечтают... А все-таки было бы лучше, если бы его забрали в армию.

— Странно ты рассуждаешь... Они ж там проходят военное дело, и он будет, когда кончит, офицером запаса. Для армии-то лучше, если офицерами могут стать в случае чего люди с высшим образованием... Чуть какую-то ты говоришь! Даже слушать не хочется. Спи-ка ты лучше.

Неожиданно для себя Марина Александровна разнервничалась, сон у нее пропал. Танечкины рассуждения каким-то странным образом оскорбили материнские ее чувства.

— Ты так это говоришь,— сказала она опять,— будто он в институт поступил, чтобы избежать призыва в армию. Как же так можно! Ты ведь знаешь, он мечтал об этом институте. Чуть ли не с седьмого класса. Ты должна это лучше меня знать.

— Вы меня не поняли, Марина Александровна,— услышала

она тоже взволнованный голос Танечки.— Я это просто так сказала, для себя. Я, конечно, рада за него...

И Марина Александровна услышала вдруг жалобный вскрик. Она тут же встрепенулась, соскочила с постели и присела на краешке скрипучей кровати, на которой плакала Танечка.

— Переставь,— шепотом попросила Марина Александровна.— Это я во всем виновата. Тебе нельзя было пить этот кагор. Оп, конечно, вкусный и сладенький, но на тебя плохо действовал. То ты хохотала, как дурочка, а то вдруг разревелась. Ну прости меня...

— Это вы меня простите,— отозвалась сквозь слезы Танечка и хлопнула мокрым носом.— Я ж понимаю, глупо так думать... Глупо ужасно все... И отвратительно.

— Завтра я обязательно позвоню в Москву,— говорила шепотом Марина Александровна, легонько похлопывая размякшую вдруг от слез девушку, которая хлопала носом и никак не могла успокоиться.— В конце концов ничего еще пока не случилось,— говорила она, стараясь поверить в то, что говорила.— И вообще, никогда слезы не помогали. Это — последнее дело... Ну уж совсем глупо плакать! Рассуди сама. У нас еще две недели впереди, и может быть, Володька еще сумеет как-нибудь сорваться с занятий. Ты ж понимаешь, это почти невозможно. Я бы сама была рада.

— Ой, Марина Александровна!— страстно и с отчаянием в голосе прошептала Танечка.— Как мне стыдно перед вами! Если бы вы только знали...— и уткнулась в подушку лицом.

— Не придумывай себе вины. И не сходи с ума, пожалуйста.

А Танечка села вдруг на кровати и спросила с жалкой растерянностью:

— А что же мне делать-то? Я ведь и вас тоже очень люблю.

Марина Александровна поцеловала ее в мокрую и горячую щеку, погладила по жестким взбитым волосам («Это от лака они такие жесткие»,— подумала она невольно), поправила и перевернула на другую сторону подушку, уложила Танечку, а потом стала, словно баюкая, гладить ладошкой по ее жестким, пружинистым и неприятным на ощупь волосам.

«Не спрашивай меня ни о чем, Танечка,— мысленно говорила она ей.— Дела твои плохи, если такое взбрело в голову. Тебя можно понять. Ты готова на все ради своей любви. Ты, конечно, вправе думать и чувствовать, что никто на свете не любил так сильно, как ты. А как же иначе! Ты только так и должна понимать свою любовь, девочка. Совсем недавно ты прекрасно знала, что и тебя так же сильно любит тот, кого ты сама полюбила. А те-

перь ты одипока. И никто на свете не может тебе помочь. Ты это тоже понимаешь. Все понимаешь! Но в тебе так силен инстинкт, что ты, все понимая, готова любой ценой вернуть Володьку. Ты, увь, понимаешь свое бессилие, а потому и плачешь. Слишком любишь его, господи! Растерялась теперь и не знаешь, что делать, и это самое страшное, потому что способна сейчас наделать множество глупостей и навредить себе. Кстати, и эта поездка со мной — тоже большая глупость. Зачем? Тебе бы хотелось, чтоб Володька служил сейчас в армии и писал тебе письма. Ты все рассчитала: его бы забрали в армию, когда он еще любил тебя. Ты готова отнять у парня мечту ради своей любви. Именно это и возмутило меня. И не в том дело, что он мой сын! К счастью, ты понимаешь, как это мерзко и отвратительно, а потому и плачешь... Никто не вправе осудить тебя за это, потому что раз ты так думаешь, то сама уже наказала себя, или, вернее, ты уже чувствуешь и понимаешь, что он больше не любит тебя, что ты несправедливо наказана этим его отчуждением. Очень хорошо, что ты все понимаешь! Я не могла в тебе ошибиться. Хотя мне было бы легче, если бы я ошиблась. Я бы сказала: «Ты недостойна была его любви». А теперь?»

Марина Александровна долго еще сидела на кровати, у нее озябли ноги, и сама она продрогла, но не ушла к себе, пока Танечка не уснула. А потом долго не могла согреться под одеялом, дрожала и мучилась в бессоннице, которая вдруг навалилась на нее своею тьмою и бесконечностью.

«И все-таки она пошла бы на это, — думала Марина Александровна. — Если бы у нее спросила судьба: «Что бы ты хотела — остаться с любимым, лишив его мечты, или пожертвовать своим счастьем ради того, чтобы он достиг мечты?» Если бы так у нее спросила судьба, она предпочла бы все-таки первый вариант. Слишком долго и упоенно она высиживала свою любовь. В этом есть что-то неприятное: в терпеливом и настойчивом ожидании своего часа. Раньше я, увь, не замечала в ней этого. А сейчас что ж? Сейчас ее просто жалко. Все-таки славная девочка, и я привыкла к ней. Жаль».

Она уснула на рассвете, когда за горами взошло солнце, и проспала до десяти часов. Танечка уже встала, была умытая и опухшая, но улыбалась как ни в чем не бывало.

— Я сейчас кофе заварю. Вы лежите, Марина Александровна. Я все сделаю сама.

Удобренная земля в садике была темно-коричневая и душистая, и ростки больших каких-то цветов, сочные и водянисто-прозрачные, сильные, как шампиньоны, взламывали крупяни-

стю корочку земли, прибитую дождем, лезли к свету, розовели в солнечных лучах, и малюсенькие их ветви, сжатые в розовые кулачки, вот-вот готовы были раскрыть свои ладони и засеменить. Воздух был тепл и пахуч, и весь Крым опять запорошен был голубой пылью, мягко раскинул свои старые горы, омытые дождем, расстелил зеленые долины, в которых расцветали остролистые алые дикие тюльпаны. А море было спокойно, и на пляжах, под обрывистыми глиняными холмиками подмытого волнами берега, грелись на солнце бледные северяне.

У Танечки, когда она шла вся в холодных брызгах из моря, была белая и гладкая кожа, а глаза ее, отразившие небо и пепельный пляж, стали вдруг очень светлыми в своей голубой серости, а волосы совсем черными и волнистыми.

«Я ничего не понимаю,— думала Марина Александровна, любясь Танечкой.— Что еще нужно Володьке? Красивая девка! Просто красавица!»

— До чего же хорошо!— говорила Танечка.— Вода холоднющая, я как будто в газированной воде искупалась. Все тело улетает куда-то. Искушайтесь, Марина Александровна! Не пожалеете, честное слово! Так хорошо, что просто кровь как будто закипает, как будто пузырьки по телу бегут. Блаженство какое-то!

Они были одни на диком берегу отдаленной бухты, набитой круглыми гладкими камушками. Слабая волна, чистая и прозрачная, охватывала их, и они издавали в своем тихом движении шуршащие звуки, а потом в тишине было слышно, как с шорохом лопались на умолкших камнях пузырьки пены. Но снова волна певелила камни, и они оживали на мгновение. А полоска пляжа с каменными выбросами, просохшими на солнце, пещлом окружала бухту, словно голубой огонь моря опалил берег.

— Это и есть Медузья бухта?— спрашивала Танечка.— Я не видела ничего красивее на свете. Медузья! Здесь много медуз?

— Наверно... А может быть, вода прозрачная — вот и назвали... Озябла? Вся гусиной кожей покрылась.

— Сейчас согреюсь,— отвечала Танечка, растирая ноги.

Люди, жившие в поселке и в доме отдыха, видели их всегда только вместе. Так оно и было на самом деле, потому что они никогда не разлучались и, куда бы ни шли, были всегда вдвоем.

Марина Александровна ходила в черных спортивных брюках, в кедах, надетых на толстые шерстяные носки, а Танечка, когда было прохладно, надевала красную куртку из химического кожзаменителя и грубые тесасы грязно-синего цвета с белесыми потеростями на коленях и с ярким золотистым ярлыком иност-

равной фирмы над задним карманом, перетягивая талию широким кожаным ремнем.

— Люди, наверное, принимают нас за маму с дочкой,— говорила Марина Александровна.

— Скорей уж за сестер,— отвечала ей Танечка.— Какая вы мама!— и смеялась.

Но люди не такие уж все дураки, чтобы так ошибаться на их счет. Ни за маму с дочкой, ни за сестер их никто не принимал, потому что они были слишком уж разные для такого близкого родства. Люди провожали их взглядами, и порой кто-нибудь говорил неопределенно:

«Вон опять пошли эти две... Опять, наверное, за тюльпанами».

«Нет,— возражал другой,— они в Медузью бухту ходят и купаются голышом. Там ведь ни души».

Во всяком случае, интерес к ним с каждым днем возрастал. И особенно заметно повысился, когда они, подъез свои припасы, купили в доме отдыха на десять дней курсовки и стали завтракать, обедать и ужинать в большой столовой. Им выделили места за пустующим столиком, за которым иногда они видели лишь какую-то мрачную и нелюдимую женщину, приходившую обычно за несколько минут до открытия столовой и съедавшую все со скоростью автомата. Они пытались с ней здороваться, если заставали, но она даже головы не поднимала от тарелки, и тогда они тоже перестали ее замечать; это было даже удобнее для них: ни Марина Александровна, ни тем более Танечка в пустопорожних застольных разговорах не нуждались и были рады, что их посадили за этот столик в проходе, на который другие отдыхающие не позарились, отыскав себе в своё время местечки поудобнее, хотя, конечно, трудно говорить об уюте, сидя в большом и шумном плоском зале, похожем больше на манеж для выездки лошадей, чем на столовую. Но кормили там сносно, потому что это был дом отдыха, в котором обитали шахтеры Донецкого бассейна, а они, как известно, кое-как и кое-чем питаться не привыкли, тем более что и отдыхать они приехали всерьез, а не как-нибудь: это не те легкомысленные отдыхающие, которым лишь бы в море искупаться да сбавить вес. Были даже скандалы с администрацией дома отдыха и столовой, но после этих шумных разговоров отношения наладились: кормить стали вкуснее и порции увеличили.

Еды было предостаточно, и Танечка, боясь растолстеть, многое оставляла на столе, не притрагиваясь, а Марина Александровна жалела, что купила две курсовки: вполне хватило бы и одной на двоих.

Теперь, когда они приходили в столовую в спортивной своей одежде и шли к столику, на котором в вазочке атели дикие тюльпаны, на них смотрели внимательно и строго и словно бы осуждали за неопрятный вид, потому что уж очень вульгарными казались они среди людей, одетых празднично: темные костюмы с галстуками, белые рубашки с тугими воротничками, отглаженные платья всевозможных оттенков, лакированные туфли, яркие, как дикие тюльпаны, губы и вспененные в прическах волосы.

Было бы неверно думать, что люди эти, приходящие завтракать на берег теплого моря в вечерних нарядах, лишены всякого вкуса и чувства меры. Все это сложнее, конечно, и надо еще разобраться, прежде чем отворачивать нос и фыркать в платочек. Дело, пожалуй, в том, что для людей этих, много времени в повседневной жизни проводящих в шахтах или в цехах заводов, щеголяющих там отнюдь не в чистой и отутюженной одежде, а в брезентовых прорезиненных робах, в промасленных комбинезонах, отпуск как раз и является тем приятным временем, когда можно позволить себе надеть хороший костюм и накрахмаленную сорочку с галстуком. Одежда — тоже один из атрибутов отдыха, признак праздника души и тела.

Надо сказать, что человек умственного труда, приезжая отдохнуть, ведет себя совсем иначе: ему в его жизни повседневной до чертиков надоедает как раз цивилизная эта одежда, как надоедает шахтеру или слесарю грязная роба, и с первого же дня своего отпуска он облачается в самую что ни на есть простую одежду, стараясь напрочь забыть о костюме и галстуке. Боже упаси! Для него отдых не в отдых, если на ногах будут начищенные штиблеты, а не растопганные и выцветшие кеды, а шею будет обтягивать тугой воротничок.

Вот и слушай тут умников, которые, не подумав, осуждают людей, непохожих на них. Не осуждать тут нужно, а понять друг друга, не в бескультурье обвинять, а пораскинуть мозгами и рассудить, что к чему. Понять друг друга и уразуметь, что профессия тоже диктует свои правила человеку, свои представления об отдыхе.

Впрочем, эти размышления о том, кто в каких одеждах отдыхает, большого значения для рассказа не имеют, потому что какого-то явного осуждения, конечно же, не было: Танечка и Марина Александровна оказались отчужденными просто в силу временных причин: люди, отдохавшие в доме, давно уже перезнакомились друг с другом, сбились в свои какие-то компании, и всем было хорошо жить в этом доме на берегу моря, зная друг друга и понимая, а тут вдруг явились эти две и стали вместе с ними

обедать, ни с кем не здороваясь и ни на кого особенно не глядя, — сами по себе. Ничего вызывающего в их одежде не было, и двух дней не прошло, как люди привыкли к ним, а мужчины даже подсаживались, извиняясь, за столик и спрашивали, что они делают по вечерам и где живут. И на смельчаков, которые отваживались подсесть и разговаривать с новенькими, многие поглядывали с застенчивыми и смущенными улыбками, словно бы восхищаясь ими, но в то же время и стыдясь за их бесперемонность. И было во всем этом много доброжелательности, потому что людям искренне казалось, что этим симпатичным женщинам очень скучно и одиноко жить здесь. «А у нас тут кино по вечерам и танцы на веранде», — говорили им и звали приходить, не стесняться. Сначала мужчины, а потом женщины стали заговаривать с ними: «Все-то вы одни да одни. У нас и экскурсий есть, записались бы... Все веселей!» — и таяли в добрых улыбках. Новенькие тоже отвечали им добром: «От Москвы устали, вот и хочется по горам походить, где людей нет. Спасибо за приглашение».

Теперь они своим знакомым кивали при встречах и здоровались, а те им тоже здоровья желали. Мужчины обычно перед обедом или ужном, перед тем как в столовую идти, дегустировали крымские вина возле киоска и беседовали о здешней жизни, а увидев новеньких, которые издали спешили в столовую, поглядывали на них с веселым хмельком в глазах, пошучивали, здороваясь, а когда те проходили, начинали говорить о «бабах», о похождениях любовных, хвастаясь друг перед другом удачливостью, как малые дети храбростью и силой.

Портвейна крымского, южнобережного или муската розового стакан с разговорчиками о женщинах и с шоколадной конфетой, а там — и в столовую тоже пора, в белоскатертный этот зал с салфетками на столах, в гул голосов, в приятную свежесть и довольство.

«Ну как вода? Купался сегодня?»

«А на горе опять облако, опять туман».

«Та що же это дельфинов не видеть? Так хотелось поглядеть дельфинов, братцы, а их нема... И куда они запропастились?»

И никаких забот у человека. А вечер наступил — в кино или на танцы, если не очень стар и не забыл еще разницу между вальсом и фокстротом.

В эти часы пустыни заросшие белой акацией и сиренью душистые аллеи парка, тихо горят фонари, бьются о них ночные бабочки и всякие букашки полуночные, редко прошуршит по присыпанной мелким гравием дорожке гуляющий человек, а

сквозь дощатую стенку летнего кинотеатра разносятся по саду бубухающие, громоподобные голоса — слов не разобрать, и слышно только, когда мужчина говорит, а когда женщина, музыку слышно и взрывы хохота в зале, если смешное показывают.

В саду гишпана, и фонари горят одиноко и словно бы удивленно. На веранде тоже музыка, и тени танцующих скользят по высоким и ярким окнам. Там суета. Там без усталости крутят радиолу, и слышно, как под ногами гудит деревянный настил пола.

«А вы все одни да одни».

Это и на самом деле стало надоедать.

Несколько раз они звонили в Москву, дважды Марина Александровна заставляла дома сына, и оба раза он говорил, что постарается приехать «искупнуться» в море, жаловался, что заела наука, ворчал на отца, который вот уже две недели подряд варит куриный бульон из болгарских кур, передавал привет Танечке, а однажды даже согласился поговорить с ней, но говорила, взяв трубку, одна только Танечка, а сам он отделался несколькими словами, какими-то тоскливыми и грубоватыми намеками на возможность неожиданного приезда. Но Танечка все равно бывала в эти минуты радостно взволнованна и снова вся переполнялась надеждой, хотя Марина Александровна, отлично понимая, что сын не приедет, пыталась как-то сбить эту напрасную радость и говорила с нарочитой грубостью о сыне:

— Надо же, какая свинья! Водит нас за нос — приеду, приеду, а сам небось знает, что не удастся. Хоть бы не морочил голову!

Танечка не соглашалась с ней и защищала Володьку от нападок.

— Ничего еще не известно,— говорила она.— Сейчас ведь зачеты, он может спихнуть один досрочно и приехать.

Но Марина-то Александровна знала, что он это мог бы сделать года два назад, а не теперь. Его тогда не то что звать сюда, а выгнать отсюда было бы трудно.

В третий раз, когда Марина Александровна опять застала сына дома, он ей сказал наконец-то, что приехать не сможет.

— Я сейчас передам трубку,— говорила громко Марина Александровна,— скажи Тане об этом сам...

Танечка стояла в тесной будке, прижимаясь коленями к Марине Александровне, и, кажется, все поняла, уловив раздражение и растерянность в голосе Маринны Александровны: глаза ее, полные любопытства и какого-то внутреннего оживления, стали вдруг пустыми и бессмысленными, хотя на губах еще и сыла улыбка.

А Володька взревел в трубке, чтоб мать не смела этого делать,

заорал благим матом, предупреждая, что он бросит трубку, если она позовет Танечку.

— Я не хочу!— кричал он ей.— Какого черта! Что ты, как сватья баба Бабариха ведешь себя... Мне не о чем с ней говорить. Неужели непонятно?

Марина Александровна старалась покрепче прижимать трубку, чтоб крик этот не был услышан Танечкой. В эту минуту у нее даже сердце заболело, так ей жалко было девушку.

— Ну как хочешь!— обозленно сказала Марина Александровна и повесила трубку.— Не может приехать,— проговорила она со вздохом.— Слюнтяй несчастный! Если бы мне в свое время родители оставили деньги на поездку в Крым, господи! Я бы... Я не знаю, как я прыгала бы от счастья...

А Танечка, покусывая толстенькую свою губку и растерянно улыбаясь, сказала вдруг удивленно:

— А может, он деньги потратил? Может, ему не на что просто ехать?

Взгляд у нее был испуганный и пепельно-белесый.

Марина Александровна не выдержала этого взгляда и, выходя из будки, сказала потерянно:

— Да нет,— понимая с тоской, что в этом вопросе был для Танечки какой-то последний шанс надежды.— Впрочем, кто его знает,— сказала она,— все может быть. Прокутил с ребятами, а теперь канючит, что наука заела, времени нет... Не знаю, Танечка, боюсь что-нибудь сказать. Все, конечно, возможно на белом свете.

Она не могла не оставить ей последнего этого шанса, хотя и опасалась, что Танечка теперь способна будет выкинуть какой-нибудь фортель: попросит, например, своих родителей выслать ей деньги телеграфом и переправит их Володе на дорогу. Почему-то она думала именно об этом, о телеграфе и о деньгах, когда они вместе шли с почты домой, и о том, как уговорить Танечку не делать этого. И ничего не могла придумать.

Но, к счастью, Танечка не догадалась. И может быть, она наконец-то обиделась на Володьку.

«Должна же она обидеться когда-нибудь!» — думала Марина Александровна.

Настроение было скверное.

— Пошли сегодня на танцы,— сказала она Танечке после ужина, совсем не рассчитывая на ее согласие, да и сама она тоже не видела смысла в своем предложении. Какие уж танцы!

Но Танечка неожиданно согласилась.

— Пойдемте,— сказала она.

— Тогда, может, переоденемся?

— Да ну! Зачем?

Танечка в этот вечер была молчалива, а если и приходилось ей говорить, то она безучастно произносила обрывистые, односложные слова. Внутри нее, видимо, шла напряженная и трудная борьба, какой-то внутренний спор слушала она в себе, утратив вдруг способность реагировать на все то, что находилось вне ее внутреннего мира.

И эта отрешенность была особенно видна, когда сама Танечка, понимая свое состояние, старалась незаметным образом выйти из душевного оцепенения, сгладить все беспечной улыбкой и оживлением. В эти минуты казалось, что она не вынесет напряжения и расплечется. И было больно за нее.

Вечер. Народ на набережной. Фонари. Освещенная полоска каменистого пляжа, кромка оцепеневшей воды и голубые камни под этой водой. Никакого движения! Штиль. Не море, а аквариум с камушками на дне. Прозрачная водица в блюдечке.

И впервые за многие дни слышно было, как шаркали ноги, как говорили и смеялись люди. Слышны были пронзительные и тревожно дикие крики павлинов в вольерах парка. До странности тихо. До удивления.

— Я еще никогда не видела такого моря, — говорила в этот вечер Марина Александровна. — Уши, что ль, — заложило?

Они ушли от этого моря в шум и дребезг громоподобной музыки, в яркий свет стосвечевых ламп, ввинченных в дешевенький бра под молодую рыжую бронзу, в бледно-голубые стены веранды, на которой царствовал Борис, очень приятный молодой человек родом из Симферополя, работавший с весны до глубокой осени здесь, в этом большом доме отдыха, культурником и каждое утро объявлявший о предстоящих походах, забавах и развлечениях. Он входил каждое утро в столовую и хриловатым голосом говорил в мегафон, заставляя всех сразу умолкнуть и прислушаться: «Внимание, товарищи! Сегодня нам предстоит...» Этот Борис, похожий на какого-то известного, как сказала Танечка, итальянского артиста: «На того, который играет в фильме... Помните... Как же он называется?» Танечка так и не вспомнила фильм с актером, на которого был похож Борис, и смеялась над собой. «Почему на итальянца? — спрашивала Марина Александровна. — Насколько я понимаю, итальянцы не бывают блондинами... Ты что, милочка моя!» Танечка согласилась с ней, и они обе решили, что Борис похож на крашеного итальянца...

Борис прекрасно понимал привычную уже для всех уязвимость своей профессии, об которую, как однажды сказал он сам,

«вытерли ноги, как о половик, чуть ли не все сатирики и юмористы нашего шумного века». Можно даже предположить, что это был мужественный человек, решившийся, несмотря ни на что, зарабатывать себе на хлеб именно на этом поприще. Кстати, он и внешне совершенно непохож был на того развязного и примитивного культуриста, на того типичного, так сказать, массовика, без которого, как принято считать, не обходится ни один дом отдыха или санаторий. Во-первых, он был застенчив и говорить громко умел только через мегафон, а во-вторых, когда он приглашал людей совершить с ним какую-нибудь поездку или прогулку, то очень хорошо и влюбленно говорил о Крыме, можно сказать, приглашал осмотреть не какое-нибудь историческое место, а побывать в самой истории, и Марине Александровне и Танечке было просто приятно слушать за завтраком его рассказы-приглашения, хотя сами они так никуда и не собрались ни разу. Но зато им всегда казалось, что Борис, рассказывая и приглашая, смотрел только на них. Марине Александровне казалось втайне, что он смотрел, как это ни странно, на нее, а Танечке, в свою очередь, чудилось, что он только для нее и рассказывает по утрам о Крыме. И еще им казалось, что он ужасно огорчался всякий раз, когда они уходили, кивнув ему на прощание.

«Сегодня он с тебя опять глаз не сводил», — говорила Марина Александровна Танечке. «Нет уж, Марина Александровна, — лукаво отвечала ей Танечка. — Я все прекрасно видела, он смотрел все время только на вас. Придется Сергею Павловичу доложить в письме...»

Но каждой из них было приятно и забавно слышать это друг от друга, и они посмеивались над собой и над Борисом, этим сутулым, похожим на крашеного итальянца, с хорошими манерами и вообще очень приятным человеком, который им нравился.

А в этот вечер, когда пришли они от тихого моря в шум и топот, шарканье ног о грязный дощатый пол, они увидели другого Бориса, и он их тоже увидел, когда они остановились у дверей, и пошел к ним навстречу сквозь танцующие пары, — они увидели усталого и смущенного человека, оглушенного музыкой, которую сам он, наверное, ненавидел. Марина Александровна удивленно подумала: «Неужели он хочет пригласить? Не успели войти... Не дай бог, если вдруг меня, а не Танечку».

Но он подошел и, слегка склонив голову набок, сказал:

— Здравствуйте. Пришли посмотреть, что у нас тут творится?

Он не спросил: «Пришли потанцевать?» — и это отметила Марина Александровна, словно бы он у хороших друзей спросил: «Пришли посмотреть? Ну что ж, смотрите, вот так я работаю,

так зарабатываю себе на хлеб.— ставлю пластинки и пытаюсь шутить. Но вы пришли, и я счастлив».

Именно так все и поняла Марина Александровна и даже смутилась от какой-то неожиданной и душевной своей благодарности Борису за эту дружескую и усталую, измочаленную, как у старого клоуна, улыбку. «Проходите, пожалуйста, будьте так добры,— сказал он и особым, как показалось Марине Александровне, настойчивым взглядом словно бы обласкал ее, а потом и Танечку.— Здесь не так уж плохо, когда привыкнешь». И улыбнулся.

«Внимание, товарищи!— говорил он через минуту, ставя новую какую-то пластинку на диск огромной, «концертной», как она называлась, радиолы.— Внимание! Сейчас я объявляю белый танец. Дамы, приглашайте кавалеров! Но, товарищи, еще минуточку внимания, маленькое объявление! По окончании танца и во время танца просьба не забывать, что мужчины остаются мужчинами, а не превращаются в дам...»

Марина Александровна с улыбкой смотрела на него, а он с другого конца зала, через пустое пока пространство, от радиолы, стоявшей в углу, посмотрел на нее под смех отдыхающих, которым пришлось по вкусу это «маленькое объявление»,— посмотрел с виноватой и грустной усмешкой. «Ну что ж,— словно бы сказал он,— я здесь работаю, и люди сами хотят, чтоб я говорил эти глупости. Пожалуйста, я могу!»

«Господи! Как я устала от этой Танечки!» — вдруг подумала Марина Александровна и искоса поглядела на нее: та стояла, зажавив руки назад и касаясь пальцами вытертой и глянцевого поблескивающей стены, и тоже смотрела на Бориса, щури глаза, словно была близорукой. «Ну что, посидим?» — спросила у нее Марина Александровна. А Танечка нехотя и вяло ответила: «Мне все равно». «Ну и прекрасно!» — подумала Марина Александровна.— А мне хочется посмотреть на нормальных людей».

— Не узнаю Бориса,— сказала Танечка, когда уже все тапцевали и гремел быстрый и ритмичный фокстрот, и сам Борис, тоже подхваченный кем-то, тапцевал в толчее, развлекаая, видимо, веселым рассказом свою даму, избравшую его и теперь громко смеющуюся.— Неужели нельзя что-нибудь поостроумнее придумать?

— Он устал, деточка,— сказала ей Марина Александровна с еле скрываемой неприязнью.— Он работает и очень устал. Посмотрела бы я на тебя...

Объяснение это вполне устроило Танечку, и она согласно кивнула.

— Вообще-то да, конечно,— сказала она.— Я бы не смогла.

— Если тебя пригласят, ты пойдешь?— спросила Марина Александровна.

— Нет,— ответила Танечка.— Нет, конечно.

— Почему «конечно»? А я, например, с удовольствием. А если Борис? Видишь, он отлично танцует.

— Но я же в кедах.

→ Плевать. Я тоже.

— Не знаю.

— А я уже соскучилась по людям.

Танечка ничего не ответила, а Марина Александровна опять поймала на себе взгляд Бориса, и на этот раз ей почудилось, будто Борис, танцуя, говорит ей с усмешкой: «Ничего не могу поделать: я «дама». Меня пригласили. Я дал вам возможность оглядеться, объявив этот дурацкий белый танец. Но мне чертовски надоело веселить свою партнершу». И она, скользнув взглядом по танцующей с ним женщине, подумала: «Да, я, конечно, понимаю, вам нелегко»,— и улыбнулась ему, когда он еще раз украдкой посмотрел на нее, словно бы спрашивая: «Ну как?»

Ей стало жарко, и она почувствовала, какая горячая кожа у нее на скулах. «Очень глупо,— сказала она себе.— Не может же он рассуждать именно так, как я тут рассуждаю за него. Почему я думаю, что он думает именно так, как кажется мне? И почему мне это кажется? Чувь какая-то. Совсем еще мальчишка, лет тридцать с небольшим. Впрочем, какой уж там мальчишка! Мальчишка...» Она опять спросила у Танечки:

— Ты как сама-то настроена? Идти домой или побыть еще тут?

Когда она искоса посмотрела на Танечку, она заметила, что та тоже словно бы машинально и задумчиво следит взглядом за Борисом.

— Хорошо,— ответила Танечка, выходя из задумчивости.

— Что хорошо?

— Давайте побудем здесь.

— Тогда пошли сядем.

И они сели на откидные стулья, рядом стоящие вдоль вытертых спинками стен. Но им не дали долго сидеть, и когда Борис объявил хрипловатым голосом: «А сейчас танцуем вальс»,— Марину Александровну пригласил коренастый крепыш и уверенно закружил в вальсе, жестко обхватив талию. Крепыш молчал. А Танечке в этом смысле не повезло: ее пригласил шумный и веселый парень и старался развеселить девушку. «А почему вы такая грустная?— говорил он ей.— Нельзя грустить, когда кругом

веселье. Как вас зовут?» Впрочем, трудно сказать: повезло или нет... Может быть, ей в этот вечер и не хватало как раз этих банальных и старых, как мир, вопросов: «А почему вы такая грустная?» и «Как вас зовут?» Может быть, одно лишь это способно было вывести ее из оцепенения или, во всяком случае, заставить усмехнуться.

Теперь Марина Александровна кружилась в вальсе, а Борис сидел на стуле возле радиолы и устало смотрел на нее, танцующую. На лице у него была добрая улыбка, и он словно бы говорил ей: «Вот теперь все правильно. Я работаю, а вы отдыхаете. Теперь каждый из нас занимается своим делом. И очень хорошо. Мне приятно работать, когда вы танцуете. Но я чертовски устал. Вы можете каждую минуту уйти, а я обязан сидеть, как привязанный, и обалдевать до десяти часов тридцати минут от музыки и от идиотской клоунады... «Весь вечер на манеже Борис»... Как это вам нравится?»

Во всяком случае, Марине Александровне в этот вечер легко было думать так за Бориса и так понимать его, видеть перед собой грустного и умного клоуна. «Хотя, впрочем,— думала она,— у него тоже, наверное, есть какая-то программа, он и в прошлом году говорил, наверное, о греческих весталках, танцевавших когда-то на этом самом месте, где теперь танцуем мы...»

— Ты не устала?— спрашивала она у Танечки.

Танечка порозовела и оживилась, и пропало бесследно ее оцепенение. Ей тоже казалось, что Борис смотрит на нее и любит ее в усталой своей задумчивости. Она ждала, что он пригласит ее танцевать, но ни ей, ни Марине Александровне так и не удалось потанцевать с Борисом, который в этот вечер никого не приглашал.

Но когда они обе собрались уже уходить и подошли к Борису попрощаться, он встрепенулся вдруг и попросил:

— Ну подождите еще немножко, нам ведь вместе идти. Я тоже там, в поселке, живу. Я провожу вас. Все-таки поздно.

И они остались.

— Все-таки одним страшно идти по темноте,— сказала Марина Александровна, словно бы оправдываясь перед Танечкой.

А та ей отвечала:

— Конечно. Мы еще ни разу не ходили так поздно одни.— И тоже как будто оправдывалась.

Видимо, каждая из них чувствовала, что все стало так сложно и запутанно, что остаться опять вдвоем было бы для них мучкой. Нужна была какая-то разрядка, нужен был кто-то третий.

И третьим по воле счастливого случая стал Борис.

— А почему бы нам не пройти по берегу? После шума послушать тишину. Сегодня днем море было белое, как молоко. Обратили внимание? Облака в небе сплошным туманом, а море от этих облаков белое. Я, между прочим, люблю, когда оно такое тихое. В этом есть какая-то счастливая случайность — все ждут, чтобы море утихло, но никто не верит в это... А оно вдруг и замерет, как сегодня. На удивление. Вы посмотрите,— говорил Борис, когда они вышли к морю,— ни единой складочки на воде.

Море в этот вечер было и в самом деле спокойным и непривычным. Но вдруг мягкая и легкая волна неожиданно качнула кромку воды, без плеска и без шума накрыла ближние к воде камни и откатилась, а потом еще несколько тихих вздохов издало море и снова замерло.

— Что это?— спросила Танечка удивленно.

— Наверно, где-то далеко прошел пароход,— ответил, улыбаясь, Борис.— Это его волны.

— Как странно!— шепотом сказала Танечка.— Парохода не было и нет, а море вздохнуло.

— Пароход был.

— Я понимаю,— согласилась Танечка.— Очень далеко был, мы его не видели.

— Вы знаете,— сказал вдруг Борис, остановившись,— человек я небогатый, но у меня в кармане завалилась пятерка. Вы пробовали когда-нибудь мускатное шампанское? Новосветовское? Нет?! Тогда нужно сейчас же вернуться к столовой, купить в киоске бутылку и выпить за пароход, которого не было и который был. Как вы на это смотрите?

— Мы тоже люди небогатые,— сказала Марина Александровна,— поэтому я предлагаю выпить эту бутылку на троих, как настоящие пьяницы... Только так. Мы внесем три рубля, свой пай, так сказать. Не иначе. Но ведь все закрыто?— проговорила она вопросительно.

У Бориса была еще надежда, что буфетчица Валя не ушла, а если она не ушла, то ему-то она обязательно даст бутылку шампанского. Когда они, посмеиваясь и пошучивая, подошли к киоску, изнутри, из-за дощатых его стаян, сквозь щели пробивался свет. Борис, обойдя круглый киоск, постучал в дверь и, назвавшись, был впущен буфетчицей внутрь киоска и вышел оттуда, держа за горлышко темную бутылку, украшенную золотистой фольгой и золоченой этикеткой. Марина Александровна и Танечка ждали его в отдалении. Он сказал, что мускатное они больше нигде не попробуют и что быть в Крыму и не попробовать этого шампанского по меньшей мере стыдно. От трех руб-

лей, которые приготовила Марина Александровна, он наотрез отказался, и Марине Александровне ничего не оставалось делать, как убрать в карман свою новенькую хрустящую трешку.

— Но пить-то из чего? Не из горлышка же!— сказала Марина Александровна.

Тогда Борис достал из кармана стакан и сказал:

— Выпьем по очереди! Спустимся к морю, ополоснем стакан и — да здравствует паролод!

Было очень странно видеть, как Борис, опустившись на корточки у кромки воды, полоскал стакан, и слышать, как плещется водичка, которую он выливал из стакана в море, словно не в море она лплась, а в стоячий пруд.

— А мне почему-то даже страшно смотреть на такое море,— сказала Марина Александровна.— Как будто должно произойти что-то страшное.

И вздрогнула, когда с резким хлопком из бутылки вылетела пробка.

— Да здравствует тихое море!— сказал Борис и предложил первой выпить Марине Александровне.

Она выпила, и ей понравилось это душистое и сладкое шампанское, а Борис опять ополоснул стакан, и опять вода очень странно журчала, выливаясь в море.

— Удивительное море,— сказала Марина Александровна, присаживаясь на холодный камень.

— А как мускатик?— спросил Борис.

— Очень приятный. У меня даже в голове зашумело,— призналась она.

— Вкусно,— сказала и Танечка, которая сидела тоже на камушке, задумчиво смотрела во тьму моря, словно пытаясь там разглядеть что-то, и маленькими глоточками отпивала ароматный и игристый напиток. Она опять ушла в свою боль.

Третьим на очереди был Борис, и ему пришлось допивать все, что еще оставалось, потому что и Марина Александровна и Танечка отказались.

«Третий,— подумала о нем Марина Александровна,— но совсем не лишний»,— и ей стало легко.

И эта легкость и какая-то волшебная беспечность не покидали ее в этот поздний вечер. Ей казалось, что будущее прекрасно, и что все еще только начинается с завтрашнего утра, и только завтра она увидит впервые пустынную бухту с опаленным берегом и золотистые на восходе горы, восставшие из чистой голубизны моря, и завтра под ногами у нее будут петь серые камни, и завтра она наконец-то обретет покой и гармонию в душе, хотя и сего-

дня она уже переполнена этой гармонией, и каким-то душевным благополучием, и еще ясным сознанием того, что все у нее хорошо складывается в жизни и нет причин для тревог и волнений, словно солнце заполняет все своим светом и радостью, как музыка, мягко звучащая в бархатном тембре и очень мелодичная. А она словно бы плывет в этой бархатистой музыке и солнечном свете и смеется от восторга, зная, что теперь у нее вся жизнь будет такая же радостная и благополучная: ни пылинки, ни табачного запаха, ни скучных вечеров, а только лишь блистающая и прохладная чистота и прозрачность, заполненная голубишной и туманной золотистостью.

Они шли к поселку по прибрежной, изрытой колеями, сухой дороге, и Борис рассказывал о шахтере, которого за драку чуть было не выселили из дома отдыха, и выселили бы, если бы он, Борис, не заступился.

— У него ж мечта была, — говорил Борис, и слышно было во тьме, как он улыбается. — Он своему другу говорил: «Вот как облако уйдет с горы, так мы с тобой на эту гору залезем и поглядим, что вокруг», — а сам на гору смотрит и улыбается. Здоровый, плечистый, лицо утрюмое, а на гору смотрит и улыбается. «Вот облако, говорит, уйдет...» Соображает так, что взойти на эту гору труда не представляет никакого, но облако будет мешать смотреть на округу. Вот когда уйдет — другое дело. Ждал, ждал, а тут вдруг прибегает вечером к нему дружок пьяный и с воротничком разорванным. Кто-то его там где-то побил... Шахтер этот наступил сразу, на лице у него мука и страдание. «Где он сейчас, говорит, находится?» Пошел подрался за друга. Вы, наверное, видели в столовой парня с синяком под глазом? Так это его работа...

Марина Александровна слушала его и тоже улыбалась.

— Ну, а что вы делаете в дождливые дни? — спрашивал Борис.

— Читаем, — ответила Танечка.

— Она читает, а я в окошко смотрю.

— А что читаете?

— Юрия Казакова, рассказы... Читали?

— Нет, — неуверенно ответил Борис, — по, кажется, слышал.

Они вышли к освещенному голый лампочкой глухому магазину. Пепельная, вытоптанная земля под ногами, а на этой земле выросли вдруг их длинные тени, которые скоро опять растворились во тьме. Но впереди уже горел первый фонарь, а маленький прудик, освещенный этим фонарем, был весь затянут зеленой ряской и звонко пел лягушачьими голосами — сплошной какой-то

крик радости несся из этого круглого прудочка, вплетаясь в тишину ночи.

— В детстве у меня была книжечка, — говорил Борис. — Очень маленькая, наверное, с мою ладонь, теперешнюю, конечно. Вот такая. А там — всего одна басня Крылова с цветными картинками — «Стрекоза и Муравей». Если бы вы знали, как я ненавидел черного муравья! А стрекоза мне нравилась. Во-первых, она все лето летала, пела, а во-вторых, она была на картинке очень грустная нарисована, с большущими глазами... Мне так было жалко ее, что я просто плакал, когда мне читали басню. Сначала я что сделал? Я стал, помню, карандашом везде зачеркивать муравья. Чтоб его не было. Но книжка-то оставалась. Как увижу книжку, так опять про стрекозу вспомню, что ее на зиму муравей к себе в дом не впустил... Я его ненавидел! Я его зачеркнул карандашом, а он все равно был. Тогда я вот что придумал: я знал, конечно, что книжку рвать нельзя, и я ее однажды вынес в чулан, а у нас там старый сундук стоял около стенки, и паутину за сундуком. Вот в эту паутину я и спрятал книжку. Страшно было в паутину запикивать книжечку, но я свой страх переборол и запикинул. С глаз долой — из сердца вон. И не стало для меня ни муравья, ни стрекозы. Ну их, думаю... Вот и все. А книжка-то все равно осталась, хоть за сундуком, а осталась, а главное, муравей со стрекозой остались. Смешно? — спросил он, когда они подходили к дому.

— Смешно, — ответила Марина Александровна.

— Когда-то я мечтал быть критиком. Много читал. А потом понял, что из меня критик все равно не получится. Я бы муравья перечеркивал, а если бы это не помогало, книжку за сундук прятал. Есть такие критики. С глаз долой... А вы, между прочим, даже не улыбнулись. А мне казалось, что я рассказываю смешную историю. Я иной раз удивляюсь, почему люди смеются, когда я говорю глупости?

— Ну нет, почему же! — сказала Марина Александровна. — Я иду и все время улыбаюсь.

Поселок уже утих, и редкие огоньки горели в окнах. Лаяли собаки, а одна маленькая собачонка с урчанием подлезла под плетень, выбежала на улицу и, словно бы подпрыгивая от злости, бежала за ними и пронзительно, заливисто лаяла. И чудилось, будто звонкий ее лай отдается в горах и возвращается обратно стоголосом. В ушах звенело от этого лая.

Поселок стоял на холме, над обрывом к морю, и, когда они подошли к дому, где жили Танечка и Марина Александровна, стало видно море или, вернее, тьму, которая была морем.

— А воя и пароход, — сказал Борис.

Далеко во тьме дрожала какая-то желтенькая искорка.

— Если полчасаика постоять вот тут, то опять услышим, как вздохнет море.

Борис легонько притронулся рукой к локтю Марины Александровны, словно бы хотел удержать ее, но она сказала, поглядев на него из потемок:

— Нет, нам пора.

Хотя вдруг и подумала с озорством, что ей никуда еще не пора, что ночь тиха и было бы удивительно приятно остаться еще хоть ненадолго в этой онемевшей и теплой ночи. И она подумала еще, что было бы очень хорошо, если бы Танечка ушла, а она осталась бы здесь одна.

«Господи! — подумала она. — Почему я не могу делать то, что мне хочется?»

— Как ты-то, Танечка? — спросила она, ощущая какую-то пугающую бессмысленность своего желания остаться.

— Как хотите... Я могу еще постоять, — ответила Танечка.

А Марина Александровна поймала на себе взгляд Бориса и увидела во тьме его грустную улыбку.

— Нет, — сказала она, улыбаясь ответно, — вам все-таки пора. Ой-ей-ей! Уже, наверное, полпервого, не меньше. Тьма такая, ничего не видно.

Ее очень смущала рука Бориса, которой он придерживал ее за локоть, слегка сжимая его пальцами. И она, взглянув на часы, освободилась от этого приятного, но уж очень откровенного прикосновения и опять улыбнулась ему, как будто сказав, что этого делать не следует. Но неожиданное раздражение на Танечку, которая была рядом и тупо смотрела на желтый огонек в море, пробудило вдруг в ней неосознанное какое-то упрямство или, скорее, не упрямство, а какую-то непонятную страсть к свободе. Она вдруг впервые почувствовала себя скованной по рукам и ногам, и впервые все в ней возмутилось, поднялось в душе против этого. Она впервые поняла, как она устала от Танечки, как та ей надоела. И поэтому, когда они подошли к калитке темного, спящего дома, к двум каменным столбам, над которыми зацветала сирень, и зашли в крошечную тьму этих столбов и густой сирени, словно бы спрятавшись от далекого и смутного света фонаря, который скрылся теперь за сиренью, она сказала как бы между прочим Танечке:

— Ну ты ступай, открой там дверь, а я следом за тобой, — чувствуя при этом какую-то подмигивающую и волнующую ее решимость.

«Так хочу... Так хочу,— как будто твердила она сама себе.— Так хочу...» И прислонилась плечом к каменному столбу.

Танечка отворила скрипнувшую калитку и молча прошла во двор, и слышно было, как она поднялась по ступенькам на крыльцо.

И вдруг Марине Александровне стало смешно. Радостно и очень смешно. И она улыбалась и словно бы шепотом посмеивалась. Ей захотелось вдруг, чтобы Борис поцеловал ее. А он молча приблизился к ней, словно бы почувствовал это ее желание, притонулся к ее локтю и спросил:

— Вы улыбаетесь?

«Ужасно смешно,— думала она, с удивлением поглядывая на себя со стороны.— И очень странно. Я ведь совсем не хочу с ним целоваться! Зачем? Глупо все и смешно».

— Вас ведь можно называть просто Мариной?

Она ощутила вдруг себя девочкой, которую впервые может поцеловать парень. И все тогда будет впервые, все так же неловко, бесполое и глупо...

И неожиданно для себя спросила:

— Вам понравилась Танечка?

Марина Александровна и удивиться не успела своему странному вопросу, как Борис обнял ее.

— Что вы делаете?— растерянно проговорила шепотом Марина Александровна и, отворачивая лицо, уперлась в грудь Бориса руками.— Вы с ума сошли.

И в это мгновение Борис неожиданно сам вдруг отпрянул от нее, а кто-то схватил ее за руку и сильно дернул на себя. Ужас пронзил ее холодом, когда она увидела во тьме безумно злое и презрительно сморщившееся лицо Танечки.

«Ах так!» — услышала она ее голос и жалко улыбнулась, понимая, что все это было в шутку... все было смешно и глупо, и надеясь, что Танечка тоже сейчас это поймет.

Но Танечка, не дав опомниться, потянула Марину Александровну за руку.

— Идите сейчас же домой. А вы, Борис, уходите. Как вам не стыдно! Уходите.

И Марина Александровна покорно пошла, испуганно взглянув на Бориса, который в педоумении пробормotal смущенно:

— Что такое? Ничего не понимаю...

«Боже мой,— мысленно шептала Марина Александровна.— Какой стыд! Боже мой... Куда она меня тащит? Почему? Она с ума сошла... Как стыдно-то! Я ничего не понимаю... Ничего.

Совершенно ничего не понимаю. Какое она имеет право? Что это такое?! Что все это значит? Почему я молчу?»

А Танечка в бешеной, какой-то немой истерике вела Марицу Александровну за руку домой.

— Ты что, Танечка? Ты в своем уме?— спросила Марина Александровна, когда поднялась на крылечко.

— Ничего,— срыву ответила та.— Идите, идите.

— Что все это значит?— плывущим и вибрирующим голосом вкрадчиво спросила Марина Александровна, избавляясь от первого шока.— Отпусти мою руку наконец! Ты мне делаешь больно. Отпусти!— крикнула она вдруг.

Она тяжело дышала, ее душила злость, и она готова была в эти минуты отвесить этой безумной девчонке пощечину.

А Танечка словно бы выронила руку и, навзрыд заплакав, убежала в дом.

Марина Александровна зажмурилась, пытаясь осознать случившееся.

«Спокойно,— говорила она себе мысленно.— Спокойно. Дура несчастная! Что же она подумала обо мне? Вот ведь характерец... Ай да Танечка! Отколола номерок. Фу ты, господи! Надо взять себя в руки. Как нескладно все получилось! Стыдно перед Борисом. Спокойно! Успокойся».

И когда она из тьмы услышала голос Бориса: «Марина,— позвал он тихонько.— Это вы?» — она ему тоже тихо, но внятно сказала:

— Идите, Борис, домой. И, пожалуйста... извините нас...

Он крадучись подошел и сказал уже шепотом оттуда, снизу, с земли, подняв к ней глаза:

— А почему бы нам не пойти к морю?

Марина Александровна (теперь она была просто Мариной), Марина усмехнулась и даже пошатнулась в каком-то мгновенном головокружении.

— Нет, Борис. Этого я не хочу,— сказала она.— А вы хотите быть добреньким муравьем?

— Ну зачем же так, Марина. Я не хотел вас обидеть...

— Нет, Борис. Конечно, нет! Извините, пожалуйста. Господи! Я сама... Идите домой... Я вас прошу. Я вам не в силах ничего объяснить.

В это время свет в комнате погас, и Борис, который был только что смутно освещен и казался коричневым в этом отблеске света, вдруг тоже погас и как будто провалился во тьму.

— Марина!

— Вы еще здесь? Странно,— сказала Марина Александровна.

Но втайне была благодарна Борису, что он не ушел, хотя прекрасно знала теперь, что помешательство, в которое она впала вдруг, уже не повторится. И была спокойна за себя. Она подумала, что Танечка могла сквозь стекла слышать их сдавленный шепот и черт знает что представить себе, напридумать, вообразить. Но это, как ни странно, сейчас совершенно не волновало ее.

— Вы сердитесь на меня?— сказал Борис.

«Какое ему дело, сержусь я или нет».

— Нет,— ответила она и хмыкнула, чувствуя вдруг оживающую свою радость и какое-то незнакомое доселе ощущение свободы.— Спокойной ночи, Борис. Когда пойдете, не забудьте щекотку на калитке задвинуть. Так велит хозяин.

Танечка лежала в постели. Она отвернулась к стене, когда вошла Марина Александровна, и, закрывшись с головой одеялом, отозвалась судорожным и уже сухим, без слез всхлипом.

Марина Александровна, стиснув зубы, старалась прогнать из души своей, из сердца глупую улыбку и не допустить ее к себе на лицо, задушить ее еще там, в душе, которая тряслась и прыгала от какого-то дикого ликования. Она тихо разделась, открыла форточку и, не зажигая света, легла, задрожав под холодным и влажным, тяжелым одеялом. Она тоже закрылась с головой этим одеялом и только там выпустила на волю свою радость, и лицо ее с облегчением расплылось в дурацкой и счастливой улыбке.

«Странно, странно!— услышала она вдруг музыкальный перезвон слов в своем сознании.— Странно. Почему я улыбаюсь? Почему мне так весело? Странно! Очень странно!.. А Танечка-то какова? Почему я ей ничего не сказала? Володька — собственность, и я теперь тоже, выходит, собственность... Ничего себе любви! Жалко ее, конечно... Но сколько можно?! И что я могу? Неужели непонятно? Какая чушь... И перед Борисом стыдно... Ах, какая все-таки... Неужели она могла подумать, что я специально с Борисом задержалась... Не могу же я, в самом деле, сказать ей, что она мне давно уже в тягость. Какая чушь... Ни капельки гордости, боже мой!

— Жалко мне тебя, Таня,— сказала Марина Александровна, словно выдохнула.

Танечка всхлипывала изредка, и тяжелые эти всхлипы напоминали Марине Александровне отдаленный всплеск спокойного моря.

Она старалась не думать о Танечке, словно ее не было рядом. Она почувствовала вдруг, ощутила почти физически нестерпимую

радость своего освобождения и поняла, что ей легко теперь будет расстаться с Танечкой и забыть ее.

Про Бориса Марина Александровна ни разу не вспомнила, словно и не было никакого Бориса на свете. Или, вернее, он был, он где-то присутствовал, но был для нее как тот пароход, который прошел где-то далеко в потемках ночи, оставив после себя запоздалый шорох волны, добежавшей до берега. Был и не был! А скорее всего, не был: просто море вздохнуло во сне, как вздыхает теперь Танечка, не в силах унять судорожную дрожь.

Ничто больше не беспокоило Марину Александровну, которая согревалась под одеялом, оставив только щелку для рта и носа, чтобы дышать. Дышать этим пьяным, ночным воздухом, который прохладой вливался в форточку, и ни о чем не думать. Хоть одну ночь в жизни ни о чем не думать, прислушиваясь только к себе и к загадочным словам «странно, странно», которые перестали быть словами, выражающими какие-то мысли и чувства, а превратились в музыкальные, мелодичные перезвоны, похожие на те, которые издают под ногами пепельные камушки пляжей, намытых в бухтах прибоем. Она слышала свои поющие шаги: «странно», и ей чудилось, что она плывет в голубом и душистом дыму цветущего и младенчески нежного, мокрого Крыма. И море вздыхает — «странно!». И старые горы шуряют в голубых морщинах — «странно!». И пепельные камушки под ногами...

СЕРЫЙ ОЛЕПЬ

Знаете, как пахнет тихий и холодный воздух, когда только что перестал идти снег, перестали скользить пушистые снежинки, когда последняя, легкая снежинка, отстав от тучи, легла на заснеженную, темно-зеленую, лакированную еловую ветку и, не исчезнув, не умерев, как капля летнего дождя, прибавила своим крохотным кристалликом еще одну искру в зимнем лесу, встретившем солнце.

Вы знаете, конечно, вы помните этот чистый и морозный запах освобожденного от снежинок, прозрачного воздуха, — запах, который всегда живет с нами и который зовет нас в далекое детство, когда, не ведая забот, купались мы в снежных сугробах и, пылая лицами, возвращались домой в шкурах белых медведей, а шкуры эти потом бурели в тепле, набухали влагой и едва успевали просохнуть возле горячей печки и утру.

Я жил в деревянном охотничьем доме, в «гостинице», как его тут называли, на лесном кордоне в самую глухую предзимнюю пору: кончался ноябрь и уже стояли морозы. Жена лесника каждый день топила белую печь с плитой, а я перед тем ходил за дровами, грохал к поддувалу холодные и промерзшие, пахучие березовые поленья с налипшим снегом, просил не беспокоиться, благодаря ее за заботу, и, признаться, чувствовал себя неловко, когда эта милая женщина, отряхнув у порога валежки, обстучав их разбитым березовым веником, входила с доброй улыбкой в деревянное и светлое еще, новое мое жилище с пятью кроватями, заправленными «конвертом», и певиче говорила, словно бы виноватаясь передо мной за плохую погоду:

— Ох, метет! Всю ночь мело, утром метет... Да что же это такое! Карай сегодня выл, спать небось вам мешал. Он у нас на метель обязательно воет... Такой непутевый... Найда — та добрая, не воет.

— Может, он песни поет для Найды? — говорил я. — А я не слышал певца этого ночного.

— Какие там песни... Непутевый кобель. Другая собака, бывает, на луну воет, а этот на метель: ну просто-таки душу вытягивает. Это хорошо, что вы крепко спите. Значит, нервы спокойные, — это хорошо. А я как переехала жить на кордон, такая нервная стала, даже в город к врачу ездила. Таблетки прописал, но я их не стала пить. День попила, а потом совсем ночью заснуть не смогла. Не помогает... Еще хуже нервничать стала. Так они у меня и стоят в пузырьке, голубенькие такие и плоские, как чечевица... Ну их!

А я смотрел на эту полнеющую и добрую женщину, на розовое и приятное ее лицо, на котором не замечал я следов бессонницы или тяжелого сна, старался поймать убегающий и словно бы суеющийся взгляд жалостливых, блеклых глаз, и хотелось мне сказать всякий раз что-нибудь такое хорошее, чтобы она посмотрела на меня как на родного и понятного ей человека, который не только охотой занимается, а тоже, как и она, как ее муж, работает и устает от работы и забот у которого тоже немало, и тоже хватает всяких неприятностей.

Но ничего у меня не получалось из этого, и никак я не мог побороть в себе счастливой беззаботности и даже мальчишеской какой-то игривости. «Может, он песни поет? — спрашивал я, пытаюсь шутить про ночные подвывания Карая, которые тоже и до меня вдруг лопосились сквозь ветрепный гул и шуршание снега, бьющего в окно. — А я и не слышал», — говорил я ей, обманывая и стараясь сделать приятное доброй хозяйке, желая успокоить Катерину Ивановну и заверить, что гость ее вовсе даже и не слышит жалобных тех и пугающих собачьих стонами, голодного, волчьего тоскливого одиночества, холодище: душу.

А печка между тем разогревалась, дрова в топке, обжигая пламенем, попискивали, потрескивали, шипели, и в озаренную розовую золу поддувала капали уже искры, а вскоре и снег в поленьях, лежащих возле печи, начинал поблескивать и стелать талой водицей. А к тому времени, как закипал чайник и вода, клокоча, выплескивалась на горячую, малиново-красную чугунную плиту, взрываясь с коротким и яростным шипом, — к тому времени приходил и сам хозяин, заспанный и небритый мужик, вечно хмурый и недовольный чем-то. Он садился к столу, расставив худые и длинные ноги в толстых, подшитых, серых валенках, изъеденных молью, и молча тя-

нулся к пачке сигарет. Густо дымил, зевал, тер шершавые щеки, жмуря глаза и морщась, как от боли, и опять зевал, скаля прокуренные зубы. А потом сквозь зевоту как бы невзначай, как бы с неохотой и с трудом ронял необязательное и пустое:

— Чай бы заварила... Чего стоишь?!

А Катерина Ивановна менялась в лице и совсем другим, резким и грубоватым голосом, хотя и без злости, отвечала ему крикливо:

— Ишь, расселся! Чай ему подавай! А ты заработал сегодня па чай-то? Ты бы вон дров принес хотя бы... Человек отдыхать приехал, а не дрова таскать...

Я торопился успокоить ее и говорил с лаской в голосе:

— Да что вы, Катерина Ивановна? Тоже мне работа — дрова... Если хотите знать, я это даже с удовольствием делаю. Я ведь лет до двадцати пяти жил в доме, где печки были. Так что считайте, что я в детство каждый раз бегаю, когда за дровами на двор хожу. Я бы и поколоть дровишек не отказался. Пилить не люблю, а колоть сколько угодно могу, и даже с удовольствием. Напрасно вы...

— Ничего не напрасно. Нам за это деньги платят, — возражала Катерина Ивановна. — Какие уж никакие, а деньги. Это наша работа, а не ваша. Мы ведь вашу работу не будем делать. Верно?

Я улыбался, не зная, как отвечать ей на это, а хозяин (когда я анакомился с ним, он назвался Николаем, а когда я про отчество спросил, махнул рукой и не ответил) — Николай, зевая и щурясь от дыма, вступился за меня да и за себя тоже:

— А если человек удовольствие получает, так что ж?

— Сиди уж! Твое-то удовольствие я знаю. Хоть бы щеки обрил, кабан колючий.

Все это она говорила не своим, а привычным бранчливым, деланным каким-то голосочком, таким же, каким с собаками разговаривала, когда их кормила, с коровой, когда доила, с курами и с посадными утками, которых было тут великое множество: Николай на второй же день сказал мне, позевывая: «Не застрелишь зайца, вынесу я тебе пару селезней за пятерку, ты их и стрельнишь. Так что с добычей поедешь домой». Утки орали в загоне, а селезни, как полоумные, вздергивали зелеными головами и лезли в драку друг с другом.

По утрам долго не рассветало, но на лесном кордоне, кото-

рый был поблизости от дороги и от деревень, горели электрические лампы, отражаясь в голых окнах. Печь, натопленная березовыми дровами, казалось, вот-вот взорвется или, уж во всяком случае, треснет от нестерпимого жара, и я сидел в одной рубашке в дальнем углу, где чуточку поддувало из окна и куда не доставало обжигающего, сухое и духовитое печное тепло, похожее на тепло огромного костра, как если бы его разложили посреди комнаты.

От горячего чая проступала испарина, рубашка моя прилипла к спине, и я хорошо понимал хозяев, которые приходили из старого своего дома в новую эту гостиницу париться возле горячей печки за чашкой чаю: тем более был я на кордоне один и вряд ли кто-нибудь еще решился бы приехать в такую непогоду.

— Простудитесь с горячего-то,— говорила мне Катерина Ивановна, когда я из жары выходил в холодные и просторные, высокие сени, в которых сочно пахло промерзшим деревом, колодезной водой, явственнее слышен был свист и гул неутрахающей метели, облепившей свежкой бахромой синеющие перед рассветом окна; густая вода в ведре казалась черной, как в проруби, а я пил ее маленькими глотками из железного ковша, впитывая пресный вкус этой холодной воды и запах жести, наслаждаясь каждым глотком этой колодезной воды, которая так холодна была, что, казалось, вот-вот побегут по ее черной, остывшей на холоде глади тонкие щупальца льда.

— Горло-то застудите,— говорила мне Катерина Ивановна, сидя возле самой печки, и улыбалась.

Она и то расстегнула верхние пуговицы бордовой кофточки, обнажив побуревшую за лето, морщинистую ложбинку на крутой груди. Чай она пила с наслаждением и, что редко случается с деревенскими людьми, заваривала его отменно. Впрочем, может быть, и полюбила-то она чай совсем недавно, с тех пор как стала прислуживать приезжим охотникам, научившим ее заваривать чай по правилам и не жалеть его,— может, только тогда и поняла она вкус этого горячего и душистого напитка.

А Николай к чаю не прикасался. «Не люблю я его,— сказал он в первый же день знакомства.— Мне что вода горячая, что этот чай,— один черт». И каждый раз, когда мы собирались вместе, он, поддразнивая жену, скреб свою щеку ногтями, усмехался криво и говорил сквозь зевоту:

— По такой погоде...

Но жена не давала ему договорить и бранчливым голосочком осаживала, как коня:

— Сиди уж помалкивай! Троекуров какой... Я те дам по погоде!

Мне это смешно было слышать, как она его Троекуровым называла, но смысла я не мог понять и однажды за вечерним чаем спросил об этом.

Николай поглядел на жену, а потом потупился и ответил с улыбкой:

— Она напридумает. Троекурова вот придумала... Сам не пойму, почему Троекуров-то... Третью собаку в прошлом году завел, кобеля англо-русского... Только начал гонять: и голос хороший, и полаз хороший, вязкий кобель — лучше не надо. Кто-то с гона снял... Пропал, одним словом. Не знаю, что с им. Где он теперь, чего... Вот когда три собаки-то у меня было, она и придумала... Троекуров... Да ну ее! То кабан вонючий, то Троекуров. А между прочим, — сказал он с назиданием в голосе, обращаясь при этом больше к жене своей, чем ко мне, — между прочим, — повторил он значительно, — самый чистый зверь — это дикий кабан. Он тебе так просто в снег или на землю не ляжет. Он ветки сначала варубит, вагрызет, натаскает, подстилку себе сделает, а потом уж ляжет. А когда они с поросятами ходят зимой, так они особенно за поросятами ухаживают: снег разгребут, подстилку постелят, а поросюточки на эту подстилочку, вниз, в яму, чтоб не дуло... А чтоб они нагадили близко — никогда! Отойдут, оправятся и обратно спать возвращаются. А ты говоришь — вонючий. Это у него от мяса, у старого секача, когда жарить — вонь идет. А ты меня жареного небось не пробовала. И не попробуешь, вот что. Вонючий я или нет — это еще никому не известно. Но вот кого я перстрелял бы всех до единого, — обратился он ко мне, — так это кабанов. Ненавижу я их.

Разговор этот возник у нас в тот вечерний долгий час, когда было уже по-ночному мрачно за окнами и непривычно тихо. Три дня, которые я здесь прожил, стали уже утомлять меня своим однообразием, и я уж и надеяться перестал на последний, четвертый день... И вдруг такое долгожданное, но все же совсем неожиданное затишье... Я вышел засветло из дому и увидел за широким полем лес, который все время скрывался за метелью. Он был еще, правда, размыт, затупеван невидимым, холодным туманом и казался синим, по это, наверное, оттого так было, что в притихшем воздухе толклись еще, летели, перемещались, оседая, невесомые снежные пылинки, ос-

колючки тех снежинок, которые недавно, носимые ветром, разрушались и крошились, сталкиваясь друг с другом, ударяясь тонкими своими и хрупкими кристалликами о землю, о ветви кустов и деревьев, и потому образовался над полем морозный туман, снежная эта пыль, которая искрилась бы и посверкивала в воздухе, если бы светило солнце. Но было хмурым небо. Оно было темнее убеленной снегом земли и лишь чуточку светлее синевшего за полем леса, который вдруг возник перед глазами.

Трехдневная метель, казалось, должна была намести такие сугробы, таким глубоким снегом покрыть землю, что без лыж и делать было нечего. Но, как ни странно, я увидел в поле чернеющие тут и там стебельки мертвых трав и даже темные залысины голой земли на буграх — передо мною было пегое поле и только кое-где застывшими белыми барханами лежали острогрудые клинья наметенного снега. Было в этих снежных наметах столько грации, столько замечательного движения, что страшно было ломать эти сглаженные ветром, безукоризненно пластичные изваяния утихнувшей метели. И радостно мне было постигать, приглядываясь, неуловимые и плавные переходы от мягкого изгиба к резкой заостренной грани, от угла к приглаженному овалу — немую эту гармонию случайно застывших форм и объемов.

Было так тихо и так глухо вокруг, что даже сороки, казалось, охрипли и потерялись в снеговой приглушенности. Они тихо застрекотали и косо, как на ветру, взлетели над кустами, замелькав над полем вздрагивающими среди снегов черными точками и тире.

А я никак не мог освободиться от ощущения праздной радости, которая давно уже казалась мне потерянной навсегда, безвозвратно ушедшей с годами.

Я обостренно и ярко, как собака, чуял все те немногие запахи, которые вдруг стали распространяться в смеркающей тишине зимнего дня, в том мягком и душистом морозном воздухе, который спускается на землю после метелей. Я слышал, как пахнет замерзший, копанный прудик с чернеющим и поблескивающим льдом среди белых снежных заносов, зализанных ветром, я чуял, как горько пахнет притаившееся на зиму живое дерево, зажав в своих крохотных почках зеленую жизнь, как пахнет иссушенный зноем и морозами старый, свинцово-серый частокол, погруженный в снежные наметы, как пахнет хлев и утиный загон и скулящий от неизбывной тоски, прикованный к будке, русский гончак в чепрачно-рыжем своем уб-

равстве, как пахнет ржавая цепь, позванивающая в сумерках, и теплый, сыростный ошейник...

— Караюшка,— сказал я шепотом, остановившись около конуры.— Скучно тебе, да? Без работы-то!

А он тоскливо и загадочно посмотрел на меня слезящимися, старческими глазами и сощурился в жалкой улыбке.

Этот тихий вечер вывел из сопливого оцепенения и Николая. Он повеселел и часто приговаривал к делу и без дела: «Убьем завтра зайца», «убьем зайца, убьем»,— а сам подмигивал мне, как будто я был красной девицей.

Когда же он сказал вдруг, говоря о кабанах, что ненавидит их и перестрелял бы всех до единого, мне показалось странным и нелогичным это его соображение, тем более что, не зная ничего о диких кабанах, я проникся к ним со слов Николая симпатией и сочувствием.

— Что так? — спросил я с недоверием.

— А то, что вреднее их не знаю зверя,— не в силах сдерживать ненависти своей к кабанам, ответил Николай, бледнее лицом.

Катерина Ивановна потупила глазки, поплыла вся в легкой и скрытой усмешке...

— Ну чего? Чего посмеиваешься? Смешно дураку, что нос набоку. Ну, посмейся, посмейся,— накинулся вдруг на нее Николай.— Ох, как смешно! Прямо пузо болит от смеху-то. Ох-хо-хо! Смешно...

А Катерина Ивановна не стерпела и в самом деле рассмеялась.

— Будешь тут,— говорила она сквозь жиденький смешочек.— Чего уж тут. Будешь тут ненавидеть, когда портки-то обваляешь со страху. Портки-то новые были... Гляжу, идет белее известки... А ногами-то, ногами, как контуженный какой, загребают... Батюшки светы! Что такое? Испуг меня так прямо и ударил в сердце...

— Ладно, хватит! Напридумаешь тоже... Хватит.

— Ишь Троекуров какой, приказчик какой! Обвалялся, так и молчи уж теперь.

— Да что ты такое говоришь! — взмолился Николай.— Чего ты человеку свою хвантастику-то за правду выдаешь? Ты ее слушай! — сказал Николай, обращаясь ко мне.— Она тут на кордоне-то натерпится, так ее потом сам черт не поймет — чего она такое плетет, лишь бы язык болтался... Лишь бы понапридумать какой ни на есть цебылицы.

Он разволновался не на шутку, но, блюдя мужское свое

достоинство, махнул рукой и сказал мне, кивая на жену снисходительно и великодушно:

— Можно понять, конечно.

Но тут уж Катерина Ивановна вспыхнула, уязвленная его тоном:

— Нет, нет, нет! Ты, миленький мой...

— Можно понять, конечно, можно,— повторил Николай.

— Ты, Коленка, дорогой мой, на меня рукой не махи. Я правду говорю. Рази не было ничего такого? Рази ты сам мне не рассказывал, как с секачом повстречался? Рази нет? Иду, говорит, а он из снега поднялся и глядит на меня...

— Ну что ты опять глупости всякие говоришь! Верно, был такой случай. Да ведь все не так говоришь. Все ведь не так! А было вот как,— сказал Николай, торопясь рассказать мне неприятную, видимо, для него историю.— В обходе я был как раз тоже вот после метели. Но снегу много было, и я на лыжах шел. А в ружье дробовые патроны — два всего патрона в стволах, и больше нет ничего. А после метели оттепель снег распарила, он и стал на лыжи палпнать комками. Упарился тоже — не могу идти. Пити охота, язык как деревянный во рту болтается, постукивает на зубах. Снегу черпанешь, а какой прок от снегу? Еще хуже пити охота. Лыжи снял, потому как ну совсем не могу продвигаться на них. Тащу их за бечевку, а снегу выше колена... Шапка мокрая, весь мокрый, а идтить надо. Пошел я не к дому, а к дороге... Хрен с ней, думаю, лишь бы на дорогу выползти, а там не пропаду. Иду сквозь ельничек, а кабан ведь что? Зверь чуткий, ~~но~~ бывает заснет, да и спит так крепко, что па него напороться можно. А тут после метели да в оттепель — он и подпустил меня шагов на десять. Взгорбтился горой черной, а я стою и думаю про себя: пойдет на меня — конец. Стою, не шавблюсь, а он на меня уставился и тоже глядит. Я их так близко живьем и не видел никогда. Чего уж говорить — страшновато... А он грюкнул, повернулся и пошел от меня. Тут силы-то и совсем пропали. Сел, и темно даже в глазах сделалось. Я их и не знал совсем — кабанов-то этих. У нас их только выпустили тогда, а этот, похоже, приперся откуда-то — здоровый был. А ненавижу я их не за страх свой! Что ж я, дурак, что ль, совсем? Я их за вредительство ненавижу. Изроют весь лес, гады,— трава не растет и вообще... на поля выходят... Не люблю я этого зверя! Как охоту на них объявят, так я первый... Иду на них, как на фашистов каких. И что обидно — не везет. Не везет, и все тут! Ни одного не убил за всю жизнь. Как заговоренные от меня уходят. Другие

убивают, а я весь оклад продрожу только, а то и вовсе загопщиком прохожу и взмокну весь, а потом в кузове на грузовой-то машине да на ветру — того гляди, околеешь. Как еще не заболел, не знаю... А насчет того, что она тут говорила, — это все хвантастикка. Я домой тогда еле живой пришел, оттого и ногами загребал.

— Рассказывай сказки, — отозвалась на это Катерина Ивановна со вздохом.

Я уже замечал, как легко и неожиданно случались у этой женщины переходы от ласковости к брани, от брани к шутке, а то вдруг и к слезливому настроению, к задумчивости и тоске. Видимо, лесное одиночество и в самом деле плохо сказывалось на ней: и радость у нее была близка, но и слезы были тут же, а может, и еще ближе. Это, конечно, знал Николай и не сердился на нее всерьез, не обижался и, наверное, жалел: все ж таки женщина, жена, подруга неразлучная, — другая бы отвернулась давно и ушла бы жить в деревню. Он понимал, конечно, нелегкую ее жизнь, на которую обрекал Катерину Ивановну не кто-то там посторонний и не нужда, а сам он, муж ее, давней своей и привычной нуждой жить в лесу или, как говорил он, «на опушке». Только и было радости у Катерины Ивановны — приезжие люди да редкие ночевки в деревне у сестры. Лес же был для нее непонятен, и она боялась сворачивать с проторенных дорог в лесную глушь. Он это знал.

А в пеще к этому времени совершилось великое чудо. Я спустился по скрипучим, обмерзшим ступенькам на землю и даже не поверил, что вижу звезды. Обыкновенные, малепькие, крошечные и совсем пылевидные звездные миры сияли на черносинем громадном куполе, и, глядя на это искрящееся и безмолвное небо, я хорошо вдруг понял древних тех мудрецов, которые, созерцая звездное великолепие, рисовали в своем воображении плоскую землю и огромный купол, усыпанный звездами, легко вознесшийся над спящей Землей. Я тоже видел градиозную эту полусферу над собою, которая маленькими своими и колкими лучиками смутно осветила заснеженную Землю и словно бы прихлопнула, утомонила все звуки жизни на плоской, распростершейся вокруг равнине, охваченной оценением и морозом.

Я давно уже не видел такого яркого и пронзительно чистого, головокружительного неба! Оно уже стерлось в моей памяти, стиснутое каменными громадами города, желтыми огнями поднебесных окон, оно давно уже позабылось в шуме и гуле большого города, но вдруг я опять увидел его над собою

и стал на мгновение центром всего мироздания. Тогда я вспомнил: все те давние зимние и осенние вечера, над которыми стлалось вот это же самое единое и неизменное небо — тридцать ли лет назад? Или, может быть, миллион? Не все ли равно! И какие-то странные мысли и чувства нахлынули на меня: я думал о бессмертии, о бесконечности моего взгляда, устремленного, как и много лет назад, в то же вечное и неизменное небо, о радости я думал, ощущая себя здоровым и сильным, и опять о бессмертии и о вечной своей молодости. Еще бы! Я тридцать лет назад вот так же, как сейчас, смотрел на звезды, и они были такими же яркими, и казалось мне тогда, что плывут они, как и теперь, всем своим росом в темно-синей бездне, — ничто не состарилось, не утратило сил и яркости, ничто не устало в этом огромном мире...

Чего я только не перечувствовал за те короткие минуты жизни своей, пока стоял на задворках деревянного дома, отвернувшись от него и видя только смутно светящее, синее поле и кристально чистое пронзительное в своей ясности ночное, звездное небо.

Когда же я, озябший, вернулся в тепло, Катерина Ивановна уже мыла посуду, а Николай, навалившись грудью на стол, напряженно читал разорванную и измятую, старую газету.

— А в небе-то звезды! — сказал я, согревая холодные руки. — Поговьем завтра, а?

— Убьем зайца, — сказал Николай. — Завтра убьем обязательно.

Катерина Ивановна горько вздохнула и, бреча посудой в эмалированном тазу, склонившись над этим тазом с горячей водой, словно бы не видя и не слыша нас, сказала самой себе:

— И чего радуются, чего веселятся? Эка радость! Зайца убьют. А рази ему охота умирать? — спросила она и с задумчивой улыбкой посмотрела на меня.

Я не нашелся, что ответить: вопрос был так прост и так он неожиданно прозвучал для меня, с таким упреком и с таким тихим, материнским призывом к совести, что я даже смутился, хотя не в первый раз, в общем-то, слышал эти упреки от разных людей.

— Кому же охота, — сказал я с глупейшей улыбкой.

А Николай откинулся от газеты и сказал:

— То-то и оно! Кому ж охота! А в жизни как бывает? В жизни — кому что: кому жить, а кому и помирать время.

— Это конечно,— согласилась Катерина Ивановна.— Разве Степану хотелось, брату моему старшему? Или хоть бы племяннику Володе? Совсем ведь молодой был... А возьми ты Кулагина, председателя нашего... Своя машина, а он в город на автобусе поехал. Автобус-то и столкнулся с какой-то машиной. Все живы, а Кулагин как сидел у окна, так и остался. Видно, ему по виску ударило чем... Тот и не думал о ней... Хотел не хотел, а пришлось.— Катерина Ивановна помолчала, а потом, вспоминая, видимо, бывшие разговоры, сказала, обращаясь уже ко мне:— А ведь это жена уговорила его на автобусе ехать.

— Как жена?

— Жена. Чего ты, говорит, на своей-то машине поедешь по плохой дороге... Поезжай, мол, как все люди, на автобусе... Вот и поехал...

— Ну и что же она?

— Известно чего... Да что ж! Детей у них не было, она молодая — проживет.

— Ты о Степе расскажи,— попросил Николай.

— Тоже нескладно. Он в село к себе приехал, мать у него там жива была. Брат-то он мне не родной, двоюродный... А там у них подстанция электрическая перегорела. Света и не было в селе. Как раз он и приехал! То ли ветром чего порвало, то ли другая какая авария. Только просят его — слазй, посмотри там, чего это с подстанцией, ты, мол, в городе теперь живешь, должен все понимать. Он и полез. В своем-то деле понимал, а в этом — не специалист был. Ему бы отказаться, да ведь просят люди — неудобно. Его и убило током.

— Ну и дурак,— сказал Николай в сердцах, и видно было, что не в первый раз он говорит, не впервые осуждает дальнего своего родственника, убитого током.

— Я и то говорю,— согласилась с ним Катерина Ивановна.— Не понимаешь — так не лезь. А Володя, тот совсем молодой был, и тоже током его убило. Он на комбайне косил да за провод-то и задел комбайном. Комбайн загорелся, они с напарником с него поскакали на землю. А потом Володя видит, что комбайн горит, напугался. Вскочил опять на комбайн да провод-то рукой сбросил... Так и приклеился к нему, прижгется... Прибегают: «Володю убило, Володю убило!» На комбайне-то этом до сих пор косят, а такого парня не стало. Красивый был парень.

— Тоже дурак,— зло сказал Николай.

— Да что ж теперь! Неумен, конечно, был. Сейчас-то люди

умпей стали. А раньше.. Правду я говорю. Вот гора у нас там в деревне, которая к озеру-то спускается... Раньше, когда мужиков много было и на лошадях ездили, с этой горы прямо лошадь с санями и пускали. Другая лошадь удержит сани, а какая и не сможет, побежит вниз, а сани сзади и подпирают. Вот так Василий у нас тоже погиб. Лошадь-то понесла, а он в саях, да запутался в чем-то там, не успел выскочить, на всем ходу и врезался в дерево... Дружили они со Степаном.

— Нескладные все смерти вспоминаешь,— сказал Николай.— И чего это мы упи-то развесили?! — и засмеялся, глядя на жену насмешливо.

— Нескладные были ребята, нескладные,— согласилась с ним Катерина Ивасовна.— А про Володю в газете писали. Он ведь комбайн спас, а для колхоза это не шутка. А с горы редко кто ездит теперь, да и мало лошадей осталось. А если кто и спускается, то кол с собой берут и колом-то не дают саням ходу. Лошадь-то тянет под гору, а они кол в снег упрут и удерживают лошадь и сани... А раньше глупые были...

Николай вдруг зевнул, да так сладко, что весь потянулся, напрягся пружинкой, отогнулся и сказал неожиданно насмешливо:

— Хоть ты и стараешься разжалобить нас с товарищем, а мы все одно завтра зайца убьем, так что надо спать ложиться. А то чего-то о покойниках на почь-то — ни к чему. Сама первая спать не будешь.

А у меня в сознании все эти рассказы о смертях как-то и не связались с покойниками. Задумался я в холодном ознобе о русских тех людях, которые в общем-то не так уж и нескладно погибли: одного, вишь, попросили, а он постеснялся людям отказать, другой машину от огня спас, а третий удаль свою не смог унять — тоже погиб. Мало ли удальцов гибло и гибнет на свете! И пришла опять ко мне после этих рассказов странная какая-то, потаенная и словно бы стыдливая радость, подумал я в счастливом каком-то испуге, что и сам я, наверное, как тот же Володя, кинулся бы, забыв о себе, спасать добро, и тоже бы, наверное, полез подстанцию чинить... Кто знает, может, и полез бы... забыл бы обо всем и полез. Кому ж охота было умирать? Не об этом все они думали... Видно, характер у русского человека таков: на миру не бояться смерти и не думать о ней.

И пошли у меня холодные мурашки по телу.

— Хорошие люди были,— сказал я в молчании.

— Хорошие,— согласилась Катерина Ивановна.

— Хорошие,— подтвердил Николай.— Только у нас знаешь как? Хороший — значит дурак.

— Зачем вы? — сказал я.— Не надо так...

А Катерина Ивановна поддержала меня и набросилась опять на мужа бранчливым своим голосочком:

— Ты-то небось уберется бы! Ты вон кабана до смерти испугался.

— Ладно тебе, не ори... Сама ж говоришь, люди умнее стали. Я б чего-нибудь придумал. Не такой уж я,— ответил Николай без тени обиды.— Не такой уж,— повторил он и осекся, поймав мой осуждающий взгляд.

На том мы и расстались. Они ушли к себе в избу, а я опять започевал в большом, ярко освещенном, медово-желтом, новом доме, в котором пахло сухими и теплыми досками и горячей печкой.

Было так тихо, что слышал я, как в сенях изредка капала вода из рукомойника в таз. Я вышел, не затворяя дверь, чтобы в комнату впустить холодного воздуха: жара от печки была нестерпимая. Когда мела метель, дом все-таки продувало и воздух остывал, а теперь печной жар душил меня. И только в холодных сенях дышалось легко, и я не раз еще входил в эту прохладу, словно бы нырял с раскаленного песка в речную глубину.

А когда я возвращался и, погасив свет, укладывался на пружинную, скрипучую кровать, горячая тьма душевной комнаты снова наваливалась на меня всей своей тяжестью, и я, ворочаясь в потной постели, страдал от жары и, не в силах уснуть, прислушивался к безумной тишине, от которой отвык давно и которая теперь тревожила меня, волновала своим жутким постоянством и однообразием.

Дом был так разогрет, что мне вдруг стало казаться, будто с крыши, вспотевшей от внутренней жары дома, начали капать тугие и робкие капли растаявшего снега, тихонько цокая под окнами.

Впрочем, может быть, эта оттепель нагрянула в северный наш и морозный край, может быть, с далекой и туманной Атлантики хлынуло к нам опять по вселенским таинственным дорогам гнилое зимнее тепло, будь оно трижды... Может быть, небо уже опять затянули дымные облака и завтра опять не увижу солнца и не услышу снежного скрипа под ногами.

Но было тихо. А сырость обычно приходит с размахистым

и упругим, шумным ветром. Видимо, и в самом деле с крыши капал подогретый, растаявший снег. И странно мне было представить себе обмороженные, затянутые снегом равнины, среди которых стояло крохотное человеческое жилище, осилившее слабым своим теплом холод зимней ночи, родившее вдруг в этой оцепеневшей пустыне весеннюю капель.

В тихую эту ночь я не мог уснуть и, вспоминая прежние свои охоты, видел то и дело мысленным взором двух тех зайцев-беляков, убитых в морозное, солнечное утро, когда я был совсем еще молод, когда порошки крыльца и доски светлых, чистых сеней трещали, повизгивали, скрипели подо мной, а я, подвесив зайцев к дощатой стене на гвоздь, притрагивался украдкой к жестким и толстым усам и поглаживал пушистый, холодный мех, любовался ими, словно бы застывшими в последнем своем, распластанном прыжке, не видя или, вернее, не желая видеть тех черных капелек крови, которые образовались на струганом полу, и тех малиновых потеков на снежно-белом аячьем пуху... Все в подробностях видел теперь, в бесконечную эту ночь, и даже слышал запах тех промороженных сеней, где висели зайцы на заиндевелой стене, и пушистые их, потертые, грязноватенькие лапы вспоминал с умилением и грустью: матерые зайцы были так чисты и белы, что даже эта пожухлая шерстка на тыльных сторонах лап казалась грязной и потертой, а карие их глаза казались мне иногда живыми и самодовольными, словно бы зайцам было приятно мое прикосновение и поглаживание.

Как хорошо скрипели тогда пороги, как глухо повизгивали обмороженные доски, какой холод стоял и какое светило тогда яркое солнце!

Но по каким-то странным и непонятным путям уводило вдруг мое воображение в летний зной, на зеленый мир под провисшие от жары провода... Я слышал вдруг клейкое их потрескивание, пугающую напряженность бега стремительной энергии, гул великой той силы, которая переполняла толстые провода и неслась по ветру в дикой какой-то и в то же время понятной нацеленности... Мимо, мимо, и все надо мной, над моей головой, над беспомощным существом, несся этот непонятный поток, заключенный в толстые и тяжелые провода, которые, казалось, с трудом удерживали в себе этот напор энергии и словно бы горели на ветру в безветрии, разгорались невидимым и яростным огнем...

И стараясь удержаться на грани этого далекого воспоминания, которое вдруг приходило на память, стараясь уйти от этой

границы в зимние холода, я опять глушил в себе эти клейкие и разгорающиеся звуки бравурной музыкой промерзших ступеней, грохотом заснеженных валенок в тихих и светлых сенях того далекого и солнечного дня, когда я подвесил на гвоздь двух мордастых и усатых беляков с малиновыми смерзшимися потеками на белом пуху...

Мне надо было уснуть в этой тишине, но я еще долго ворочался, уходя от мыслей в зимние и осенние свои удачи, выплывая на разливы весенних рек, гася в себе желание думать и размышлять... И мне это почти удавалось. Вот только бы еще заснуть...

А на рассвете, в сизых, просторных и неуютных сумерках наступающего утра, в морозной тишине слышно было, как хрустя снегом, носился кругами засидевшийся в будке гончак, как повизгивала Найда, жиденькая, рыжая сучонка с заискивающими черными глазками, которая тянулась ко мне, припюхиваясь, и словно бы торопила меня в лес, струилась вся в своей собачьей радости, в предчувствии кровавой охоты, тыкалась мордой в руки Николая, мешалась, вертясь на поводке, а Николай на нее покрикивал басом, в котором тоже слышался азарт. Жизнь горячим клубком свернулась, скрутилась пружиной среди безмолвных и холодных сумерек и покатилась с повизгиванием, с поскуливанием, с покрикиванием, с кашлем и сильным дыханием прокуренных грудей через поле и к темневшему, мрачному лесу... И я стал частью этого клубка.

Николай с собаками ушел в чащобу и там хриплым, утрепным басом наманивал, накликал, покрикивал, улюлюкал, стонущими воплями будоражил собак, умолкая ненадолго, и опять взрывался вдруг аханьем и истошным своим, порывистым, хохочущим и плачущим криком... А в лесу уже рассвело, и было пего после метели: брусника зеленела под елками, чернели старые сучья и пни среди снежных седых покровов... Николай, удаляясь, жуткими, жалостливыми всхлипами все будоражил, все наманивал на зверя, азартил своих собак, пока вдруг не раздался сильный голос Карая, срывающийся на стоне... К нему, визгливо взлаивая, подвалила Найда, звонкий голосок ее окреп, усилился, сплелся воедино с караевским басом, и я, услышав гон, побежал вдоль просеки, а тяжелое ружье мое показалось мне вдруг бамбуковой дудкой: ну кого такой остановишь? Кого убьешь?! Где пройдет-то? Куда бежать? Затаяться! Быстрее... Вот тут... Стоп. Все. Замереть...

И я замер. Гон еще был далеко, но я понимал, что гонят па

меня или, вернее, я предчувствовал, что гонят на меня, надеясь, что таинственный Некто выкатит обязательно на меня, обретет вдруг физические формы и свойства, воплотится в белого, прыгающего, легкого зверька... И стал я таким одиноким, таким отрешенным в своей страсти, так обостренно ощутил потусторонность свою, что все мои понятия и представления о добре и зле, о жалости и сочувствии,— все это даже тенями своими не прикасалось ко мне. Я слышал только пульсирующую кровь, мягкие толчки ее в висках, мешающие слушать, и испытывал яростное желание умерить, остановить па время это шумное движение крови и скорее увидеть того, кого я ждал в страстном помешательстве. Увидеть и выстрелить в него и тоже остановить навсегда.

Собаки вдруг надвинулись с лаем, до меня донесся какой-то странный, глухой топот. Я не успел ничего понять, я только успел услышать донесшийся до меня, грузный этот и тяжелый топот, когда на просеку рядом со мной вынеслось что-то огромное и чугуино-серое... И я вдруг закричал в испуге и восторге:

— Олень!

Я прокричал это, когда темно-серый европейский олень, рванув копытами мерзлую землю, со всего маха тяжело перелетел с каким-то утробным вскрихтыванием через просеку и, запрокинув тонкую, художественно-костистую голову, пропал опять в лесу. Грузный его топот тут же заглох и растворился в тишине. А следом за ним, не видя меня и не слыша, выпрыгнули из леса две маленькие, как мне показалось, и медлительные, нерасторопные, рыжие наши собачки и, беззвучно гавкая, кубарем перекатились через просеку и сунулись в кусты, исчезнув там с беззвучным лаем...

— Олень!— кричал я Николаю.— Олень!— И не мог никак унять возбуждения своего и радости.— Вот тут он, здесь вот прошел... вот его след!

Но Николай, вытирая пот со лба мокрой шапкой, неожиданно резко и грубо спросил:

— Чего орать-то! То-то и плохо, что олень. «Олень! Олень!»— передразнил он меня.— Собак надо было держать, а ты им жару поддал, теперь пропала охота, вот что. Карай не бросит, а эта тоже навряд ли.

Мне обидным показался его тон, остудивший мою радость, я не нашелся что сразу сказать на это, как ответить, но погом сказал все-таки тоже с упреком:

— А сам-то ты чего ж на оленя пускаешь?

— Заяц там был, а олень пошел, так они и бросили след,— ответил Николай в раздражении.— Пропала, одним словом, охота. Зайца теперь не подымешь. На него теперь только если наступишь, тогда подыметесь...

Я и сам уже успел подумать об этом, зная, что после метели и первого снега заяц не встанет, не выйдет жировать, и день, так хорошо начавшийся, показался мне теперь бесконечным и скучноватым.

Лес обступил меня темными елями. В елях попискивали чуть слышно крохотные синички, и звуки их голосочков были похожи скорее на писк каких-то маленьких насекомых, чем на птичьи посвисты: «Си!— раздавалось в глухой тишине.— Си!» И там, откуда слышалось это таинственное «сви́канье», еле заметно сыпалась снежная пыль, которой припорошены были зимние, темные ели.

— «Олень, олень!» Вот те и олень!— опять проворчал Николай, когда уже совсем не слышно стало собачьих голосов.— Чего теперь делать-то?

— А я откуда знаю? Интересно ты рассуждаешь! Хорошая гончая сошла бы с гога да и не погнала бы оленя, если не приучена... А у тебя, видно, по лосю, и по оленю мастера, а зайца только так, от нечего делать гоняют. Домой надо идти, чего делать. Прогулялись, и хватит. Мне сегодня целый день в дороге.

Николай хмуро шел сзади меня и все время обозленно ворчал...

— Ну что ты ворчишь?— спросил я у него, когда мы уже выходили из леса.— За меня переживаешь? Напрасно. Я и так удовольствие получил — оленя гонного увидел. А нельзя стрелять, так это правильно. Такого красавца нельзя убивать.

— А зайца можно, да?— зло спросил Николай.

— Их много.

— Ага, много... Чего их жалеть... Копыт у них нету, рогов тоже... чего жалеть. Бей, да и все тут. А оленя нельзя. Вот ты вчера меня упрекнул, да? Не понимаю я ничего... А может, я больше тебя понимаю в этом деле. Когда надо, а когда нет... Откуда тебе знать? Кабана тоже нельзя, да? А почему? Удовольствие, да? Я пошел, замерзнул, а тебе удовольствие, да? А я ничего не понимаю... Бей зайца, да и все тут. А оленя не тронь, не имеешь права. Чего ж ты в оленя не бил? То-то и оно — нельзя. А почему? Кабан сейчас выйдет на тебя — нельзя, а зайца можно — их много.

Я оглянулся, не понимая, о чем он говорит, на что элится, и поймал вдруг подбровный, угрюмый взгляд, наполненный враждой.

— Да ты что?— сказал я ему.— Обиделся на меня?

Но он с каким-то белесым, блеснувшим вдруг мраком скрутил как будто бы этот свой взгляд и ничего не ответил, отмахнувшись рукой.

— Обиделся, да? За что?— опять спросил я в растерянности.— Ну прости тогда. Я не хотел... Да и не пойму, чем я мог обидеть?

— А кто понимает-то? Зайца можно... и не жалко, их много... А он, как ребеночек, плачет, когда раненный... Ему ведь больно. Да ведь ты и без меня все понимаешь, а я дурак...

Я совсем растерялся и не знал, что сказать ему на это.

— А вот убил бы ты оленя,— гудел своим простуженным баском Николай.— Я бы на тебя первым протокол... и в суд... И вот пойми тогда, кто прав, а кто нет. Кабана убей — я тебе тоже не прощу.

— О чем ты говоришь-то? Чепуха какая-то! Ничего не пойму.

— Я и сам не пойму. Вот иду и говорю. Я ведь дурак.

— Да кто тебя дураком-то считает?

— Никто пока! Попробуй посчитай, я зубы-то посчитаю...

Наш разговор, случайно возникший, принимал довольно странный оборот.

Я пытался понять, что же хочет сказать мне Николай, какие мысли будоражат его, какие собаки гонят из души недавнее добро и улыбку,— но все было глухо для меня и до обиды непонятно. Его неожиданная враждебность ко мне, вылившаяся в загадочные какие-то образы зайцев, оленей и кабанов, тяготила меня, и я не мог понять, каким образом все это он связывал с возможной вчерашней обидой. Да и сам он, пожалуй, тоже не мог понять, не сумел бы объяснить свою злость.

Он торопливо обогнал меня в поле и, косолапя в своих серых толстых валенках, попыхивая паром, покашливая, не оглядываясь до самого дома и ничего больше не говорил, словно рассержен был на весь белый свет, да и на себя самого тоже, не сумевшего ничего толком сказать мне.

Вот такая нескладная и трудно объяснимая штука приключилась у меня под конец. И было очень обидно и тягостно на душе.

А день распахнулся хороший! Так светилась вокруг заснеженная земля, осиянная солнцем, так прозрачны были тени на снеж-

ных барханах и так вкусно пахло в голубом воздухе человеческим жильем, коровой, утками!

Когда я подошел к дому, из открытых ворот хлева, из теплой его тьмы, вылетели стайкой синицы и расселись на голой яблоньке, на серых палках частокола, дожидаясь в вертлявом своем непосредстве, когда я уйду.

Николай так и не вышел проводить меня.

ЖАЛОСТЬ

В тех лесах, что тянутся к северу от Москвы, все еще живут медведи, выходят в августовские ночи на молодой овес. Совсем недавно, за день до моего приезда, кто-то убил одного горемыку, который повадился сосать сладкие метелки.

И под дождем ходил туда, на это серебристо зеленеющее, лесное поле, расчищенное от валунов, обрамленное замшелыми камнями, видел помятый овес на дальнем краю поля, вымокшую под дождем кучу медвежьего дерьма, глубокие, рваные, глинисто-рыжие следы колес, оставленные телегой, на которой вывезли тушу, круглые дырки от лошадиных копыт, видел и засидку на старой, кустистой ольхе — наскоро связанный, жиденский помостик среди ветвей.

Подумал, что человек помял и попортил овса больше, чем медведь... Сорвал и сам легкую, зеленую еще метелочку, попробовал на зуб, пососал молочные зерна — сладко. И вдруг как-то очень хорошо, всей душой и сердцем понял бурого своего собрата, представил его себе эдаким лесным ребенком, которому захотелось сладенького, да так захотелось, что никакого терпезу не стало уберечься от соблазна... Вот он, овес-то, светлеет в ночи, манит, щекочет поздри молочным ароматом...

Ах ты, господи! До чего же жалко-то мишку! Как будто не в него, а в меня предательски пальнули с никчемных теперь порекладин среди ветвей. Как же ему больно-то было, бедняге!

Придаться я этой неожиданной жали, хотя и шел сюда с одним лишь любопытством: всего-то с версту от деревни, почему бы не сходить, не посмотреть... И так разжалобил себя, что с каждой минутой, с каждой холодной капелькой дождя, покалывающей лицо, все жалче было убитого медведя.

Он сюда, видно, не первую ночь уже хаживал, от удовольствия чавкал в тишине, жуя овес. Вон и кучу навалил — тоже небось с удовольствием. Здоровый был, сытый. Уходил затемно в свои чащобы, в глухие малинники, куда не заглядывает человек, никого не трогал, не пугал, никто о нем слыхом не слыхи-

вал — жил себе и жил... Да вот — сладенького захотелось... Душа моя причитала по медведю, как древняя плакальщица по покойнику. Стареть, наперное, стал.

Эх ты, дуралей косматый. И что тебя к людям-то потащило?!

Мало тебе было малины, смородины, черники, муравейников да дикого меду? Не мог ты, что ли, без овса-то обойтись? Не меряй все ж таки — медведь! Чего тебе в овсе-то этом? Небось какие-нибудь корни сладкие знавал, ковырялся бы там, у себя... Ей-богу, прямо ребенок! Варенье тебе, что ли, этот овес?

Жалость совсем расслабила душу — жалко, хоть плачь. И денек еще пасмурный, дождик все время принимается, не утихая, и ветер холодный... Серый паутинно-грязный ольшаник шумит на краю поля, а за грядкой мокрых валунов гнется на ветру высокая крапива. Безлюдно и мрачновато кругом. Даже птиц не слышно и не видно, будто лесные жители все еще перепуганы недавней бедой — хозяйина убили. За что? Никого ведь не трогал... Как же нам-то теперь?

Так вот все у меня сгущалось в сознании, жаль моя разрасталась, мучила меня. Поймал вдруг себя на мысли, что раньше ведь и самому мечталось убить, и не как-нибудь, не на берлоге, а так же вот, теплой августовской ночью с безопасной высоты, не лицом к лицу, а как глупого селезня из шалаша, без всякого страха и опаски за свою жизнь. Стыдно стало до омерзения! Даже улыбка жалкая поползла по лицу, мокрая какая-то улыбочка нашкодившего труса, пойманного за руку: «А это не я... Это они...» А ведь хвастался бы, случись убить, шкуру бы снял и бросил на пол возле дивана и говорил бы, похваляясь: «Первый мой мишка!»

А теперь вдруг что-то случилось со мной непонятное, и я не узнавал себя. Стоял в углу поседевшего от дождя, светлого поля, под корявой ольхой, там, где недавно мучительно осел, тоскливо и грубо охнув, смертельно раненный медведь, которого расстреляли с расстояния каких-нибудь десяти шагов. И чудилось мне в шуме ветра и дождя, будто старая ольха, раскачивая серыми ветвями, силится сбросить позорный помост, деревянное это ярмо, словно бы чувствует себя виноватой перед всеми другими ольхами, которые осуждающе перешептываются под дождем и ветром, говорят ей на своем сиплом и шипящем наречии: «Что же ты, кума, так оплошала?! Мы-то што! Мы не виноваты! Мы-то как раз тут с крапивой его уговаривали, чтоб он не ходил, не пускали его и всегда прятали от беды, а ты, серая, не захотела с нами, отодвинулась, вот и выбрал тебя стрелок. Нет чтоб хрустнуть, ветку подломить под седоком — простояла всю ночь под ним не

шелохнув, притаилась вместе со стрелком, стерва, а теперь шумишь... Эй ты, человек! — слышал я. — Сруби ты ее, окаянную, чтоб сок она свой красный пустила, сруби, мил человек, а то совместно нам рядом с ней жить. Никак не возможно! Сам понимаешь, мы-то с крапивой тут ни при чем, не виноватые. Это она, гадюка, пригрела стрельца-то, спрятала его, не хрустнула, не обломилась, не дала знать хозяину об опасности... Видишь, как устроилась, тесно ей с нами было стоять. Сруби ты ее под самый корень! Мы-то, ей-богу, ни при чем...»

Этот бред шумел в моей голове, пока я стоял над помятым овсом, настороженно оглядываясь вокруг и чувствуя себя обреченным медведем. Из глухой крапивы, из малинника с красными каплями ягод, из мрака, казалось, смотрели на меня другие какие-то глаза, слышались другие какие-то шепотливые речения:

«Эх ты, человек! За что же ты такого хорошего медведя-то убил? Чего он тебе плохого-то сделал?»

Тягуче и не грозно, а как бы с укором, с тоскою говорили мне из крапивы, из ольховой чащобы, а я словно бы отвечал кому-то с полным пониманием их печали:

«Да не я же убил-то! Я как раз тут стою, переживаю вот... Самому жалко до смерти».

«Ка-ак же! Знаем... Такое же вот, за плечами-то... железное, гладкое, да и пахнет так же...»

«Нет, не я это... Мне и самому жал!»

«Ка-ак же! Такой же вот... Ты и есть. Что ж, мы не знаем, что ль, или не понимаем ничего... Пропади ты!»

Диалог этот с Кем-то на краю лесного, маленького поля, отвоеванного человеком у глухомани, напугал вдруг меня не па шутку, я передернул лопатками от пронизавшего меня холода, зябко сощурился в ознобе и, поправив погон тяжелого ружья на плече, пошел от беды, все ускоряя шаг. Оглядывался, чувствуя спиною панический страх, обуявший меня, и, оглядываясь, с душевным морозцем замечал, как что-то шевелится там, в мрачном углу овсяного поля, в ольховнике, в крапиве, в камнях, — какая-то страшная, недоступная сознанию нежить, которая переселилась в мою душу, сжала ее в комок и придушила так, что дышать стало трудно.

Ноги несли меня прочь от страшного места, не терпелось скорее ступить на людскую тропу, на разъезженную, мокрую, глинистую дорогу. Будто бы я тонул в болоте и совсем уже обессилен, и глина, перемешанная колесами машин и человеческими ногами, была единственным моим спасением. Я чуть ли не бежал к этой дороге!

Вокруг меркло, светилось все то же безлюдье, шепталась унылая, дождливая тишина. Серые облака быстро, как мутная речка, текли над лесом, покальвая озябшую кожу острыми дождинками, потрескивая по набухшему брезентовому капюшону. И хотя время еще только приближалось к полудню, казалось мне, будто уже смеркалось в лесу и свет умирал — наступило какое-то затмение.

Жалость совсем доконала меня.

Такой же страх я испытывал всего лишь один раз в жизни, в далеком предвоенном детстве, когда в нашем старом домишке в Замоскворечье завелись крысы. Я, конечно, слышал, что в доме крысы, но как-то не обращал на это внимания, никогда не думая о них, гулял с ребятами во дворе, выходя в него через кухню, и не до крыс мне было. Я их совсем не боялся, мог спокойно взять дохлую за холодный ее хвост, раскатать и кинуть в визгливых девчонок... Но однажды ночью, спросонок, я вышел на кухню напиться из-под крана, в полудреме включил свет, тусклую лампочку голый коммунальной кухни, и остолбенел... Множество серых, попискивающих теней, жирно и мягко стукалась об пол, стали скользить с кухонных столиков и разбегаться по углам, прячась от меня в темных закутках большой кухни, делая это не охотно, не боязливо, а словно бы по врожденной привычке избегать света, и поглядывали на меня из потемок с нескрываемой злобой и нетерпением. А одна большущая крыса с волочащимся, длинным, мертво-холодным хвостом даже не убежала в тень, а замерла посреди кухни и с акульей наглостью уставилась на меня.

Я до сих пор кожей своей помню тот щемящий ужас, который убил меня, помню свое помешательство, босые свои ноги на холодном полу, которыми я словно бы ступил в клубок шипящих змей... Меня не стало. Я даже не слышал своего предсмертного вопля... Любое прикосновение вызывало во мне истерику, я даже не узнавал теплых рук матери, бился в животном страхе, не веря этим рукам, орал не знакомым мне ни до, ни после истощенным голосом, боялся открыть зажмуренные глаза — мне всюду чудились серые акульи морды, торопливый, скользкий бег, счетливая паника на полу у меня под ногами... и всюду тени, жирные и живые...

Спустя годы, когда я уже подросток, мне рассказывала мать, как она боялась в те дни за мой рассудок. Я даже при свете дня не мог без тайного, еле сдерживаемого страха пройти по кухне, не решаясь посмотреть в темные ее углы, пока не появились в нашем доме две небольшие, гибкие кошечки тигровой масти, кото-

рых отец взял на каком-то складе напрокат. Эти отважные кошечки легко и быстро передушили всех крыс, укладывая свои жертвы посередине кухни рядком, как какие-нибудь охотники зайцев для фотогафрирования.

...Теперь я, конечно, не орал, но мертвящая жуть не отпускала мою душу, дыхание у меня сбилось, а когда я наконец-то вышел на дорогу, на вязкий, глинисто-желтый ручей, исполосованный протекторами шин, паника моя, увы, не прошла, потому что из-за бугра вдруг показалась на фоне серого неба согбенная под дождем, сутуленькая старушка в длинной не по росту стеганке и с какой-то большой, шарообразной белой головой.

Ноги мои вяло обмякли — силы вовсе покинули меня.

Старушка медленно, деревянно-ходульно приближалась. Я тоже еле двигал ногами навстречу, то и дело покашливая, пока не разглядел с нахлынувшей вдруг радостью, что на голове у старушки полиэтиленовая пленка, закаляневшая на холоде, которой старушка укуталась, как платком.

— Бабк, так напугать можно до смерти! — сказал я ей, поравнявшись.

— Не слышу я, сынок, — отвечала она, останавливаясь. — Чего ты сказал-то? — И стала освобождать одно ухо, шурша пленкой.

— Да ничего, мать, так...

Я узнал ее. Она жила в той же деревне, где и я гостил. Она меня тоже узнала, моя хилая спасительница, в присутствии которой у меня весь страх тут же прошел, словно бы слился водою на грязную дорогу, а я остался чистым, смущаясь лишь за недавнее наваждение свое, которое меня, здорового и сильного мужика с ружьем, гнало из лесу. Всякая нежить, запустившая свои лапы в мою душу, убралась восвояси, а старушка показалась мне такой сильной и спокойной, что я даже побоялся тут же расстаться с ней и снова очутиться в одиночестве. Она, как добрая волшебница, появилась вдруг передо мной.

— Да вот, — говорю ей с небывалой радостью, — ходил смотреть, где медведя убили...

— Чего? — спросила старушка с полусонным, сердитым напряжением на лице.

— Медведя, говорю, убили, а я ходил смотреть, где убили-то... Вот и все. Все дела. А ты идешь, голову-то укутала, я и напугался малость, не признал... Думаю, кто это идет с белой башкой! А это ты идешь, бабка Наташа, знаю я тебя. Здравствуй.

— Медведю убил?

— Не я убил. Я нет... Просто ходил смотреть. Вот.

— Лежит медведь-от? Неужто не увезли?

— Ну как не увезли! Увезли.

— А она ходила, ходила, весь лес за...ла,— сказала старушка с деловитой озабоченностью и махнула рукой за бугор, на котором горбился колючий лес.

— Кто ходила?— спросил я.

— Медведь, кто ж.

— Так уж и весь лес?! Небось и не видел никто.

— Видели, видели... Как же ее не увидишь? Не заяц. Она вот тут за ручьем, у поля.. Я иду тут поутру как-то... Да когда же это? Дни четыре прошло. А она под лесом. На дыбки стала и руками-то, иди, говорит, ко мне... Иди, иди, говорит. Вот так-от руками-то... подняла их и зовет. Смотрит на меня, а я испугалась. Вот так-от, недалеко... Говорю, иди домой, иди домой, нечего тебе тут овсы мять. Люди старались, овсы хорошие стоят, а ты тут безобразничаешь... А она большая, здоровая, как ты. Во такая, как ты, стоит и не идет никуда. Рывнула на меня не сильно. Я уж думаю, свят, свят... Перекрестилась. А она чего-испугалась, присела в овес и ушла в лес. Задом колыхнула и ушла. Послушалась. А теперь убили. Ну, слава богу! Мельник убил из Бойнева. Он охо-отник...

— А не жалко?

— Кого?

— Эту, как ее... как это ты говоришь — медведю. Не мельника же.

— Мельника чего ж, конечно... Он с добычей.

— А медведя не жалко?

Она застенчиво посмотрела на меня, улыбнулась нелепо и снисходительно, словно бы ей неудобно стало за меня, за мой вопрос, точно она решила, что я насмехаюсь над ней, над старой, или так вот глупо заигрываю с ней.

Я ей сказал:

— Их же нельзя теперь... Их, бабушка Наташа, мало очнь.

— Кого?

— Медведей.

— Непошто горевать. На кой они? Я молодая-то была, одну нашу девку, Нюру Хрусталеву, помяла медведь. Вышла на дорогу и не пускает. Руки растопырила. Нюра бежать, а медведь на нее — да сшибла: Нюрка-то упала, орет, а потом обмерла от страху, а очнулась, медведь лежит недалеко и смотрит на Нюру... Голову так-от уткнула и поглядывает. Нюра на колени, она опять к ней. Рукой ее черпой своей... А когтищи-то во! Исцарапала девку до крови, целый месяц пролежала... Мужики искали, да так и не нашли ту медведю... Раньше много было медведей. Много!

Теперь тоже немало. Не так уж мало, сынок. Мельник из Бойнева каждый год, то зимой, то летом убивает. Он специалист. Он когда еще молодой был совсем... Он не старый, но в годах, а молодой был, вот такую маленькую медведьку домой приволок. Рассказывают, медведька подросла, жила, как собака, во дворе, а сама схоронится и ждет, когда овечки подойдут. Овечки подойдут к сену, а она на них и нападет. Овечки-то убежали. А явной раз клочок шерсти вырвет. Во какая! Дочка мельникова все с ней купаться ходила на пруд. Медведь купалась, плавала, а дочка к мячику ее приучила. Мячик бросит в пруд, а медведя с мячиком в воде и играет, как дите. И чего ж ты думаешь? Чуть дочку-то мельникову не утопила в пруду. Дочка с ей, как с собакой, плавает в пруду, на середку-то вместе заплыли, а медведи поиграться захотелось, она возьми да и начни играть с головой-то — думала, мячик. Начала ее топить. Она кричать, а все ушедши были — сенокос. Чуть жива осталась. Доплыла до берега, а отцу-то и не говорит, боится, а он, однако, узнал. Ему девка, которая видела, сказала все, как было. Он ружье-то взял и застрелил медведю. О-о-от какая порода ихняя шкодливая... Оот! Непопшто горевать.

— Это понятно, — сказал я. — Да ведь не собака же это. Зачем его из леса в дом тащить? В лесу бы жил, и никому от него беды бы не было. Верно?

— Не собака, не собака, — согласилась старая Наташа. — Собаки, они тоже бывают, не приведи господи. Меня вот медведь никогда не трогала, а собака кусала, один-то раз за дело, не туда зашла, дак и сама виновата, а в другой раз ни за что... набросилась... Я боюсь собак.

— Все-таки жалко медведя! — со вздохом сказал я. — Жил бы да жил.

Но старушка не восприняла это мое сожаление, неуверенно как-то промолчала, понимая, видно, мою жалость как придурь, поправила на голове накидку, бормоча отрешенно:

— Ах, господи, господи... В Шую собралась. А автобус сломался. У нас продавщицу-то посадили, магазин не открывают, никто идти не хочет... А как жить? У нас одни старые, да малые, да дачники. А из Шуи не хочет никто. Говорят, пропади она пропадом, такая работа: посадят в тюрьму. Никто не хочет, — сказала она словно бы с удовольствием и пошла, не прощаясь.

Резиновые, тусклые, грязные сапожки ее с выпирающими буграми подагрических шишек чмокнули на раскисшей дороге.

Я было тоже пошел, но она окликнула:

— Сынок, срезал бы ты мне палку... Ножик-то есть? Вот эту березку бы срезал... ровенькую... Ноги, сынок, не идут.

Еще не побелевшая, сиренево-бурая, тонкая березка пушисто росла на обочине дороги... То ли я на нее, то ли она на меня посмотрела вдруг испуганными глазами, вздрогнув лаковым мокрым листом, по которому ударила капля, и тут же другим листом, по которому тоже капля. Была она стройная и в самом деле ровенькая, напряженная, как бамбук.

А я достал нож и, ругая себя за вернувшуюся слабость, обхватил рукой шершавый мокрый ствол, нож увяз в тугих ее волокнах, но с четырех или пяти подрезок я уже легко обломил ее, поднял, шуршащую, над дорогой, обрубил ножом, как топориком, тонкие зеленые ветки, срезал макушку, подстругал немощно рукоять, очистил от зеленой коры и подал довольной и благодарной старушке то, что недавно было живой березкой.

Она потыкала палкой в грязь, припоравливаясь к ее упругости и величине, и пошла в Шую — пошла уверенней и ходче.

А в грязи остались лежать коричневые ветки с яркими листьями, как перья оципанной птицы. На обочине, среди пожухлых, перепутанных стеблей увядших цветов, среди других веточек живыми листьями забелел заструганный сверху младенчески тонкий пенечек...

И что это за депь такой выдался в моей жизни?! Откуда навалилась на меня такая пронзительная жалость?

«Ну вот,— опять послышалось мне в шуме дождя и ветра.— Ну во-от... А я-то так хорошо росла... Так хорошо росла... Росла... Поднялась бы тут над дорогой... Ну во-от... Чего же теперь? Так не хочется, не хочется...»

Я заторопился к дому, снова придавленный усталостью и странным каким-то чувством... не жалости даже, нет, а как будто бы обрел я нечаянно способность понимать души зверей и растений — всего живого на земле.

Шел и старался избавиться от этой навалившейся на меня непосильной тяжести, думал о старушке, которой еще идти и идти до Шуи, и о себе.

«Хорошо мне, конечно, со здоровыми ногами идти!— думал я.— А ей-то какво с большими? В ее-то годы? А палка — что ж... Неужели березку пожалеть, а ее нет... Кто ж тогда ее-то, старую, пожалеет?»

Меня уже стала раздражать эта навязчивая, расплзшаяся до нереальных каких-то размеров, распоясавшаяся жалость. Мне было жалко медведя, жалко срезанную березку, ее веточки на дороге, листья, брошенные в грязь, жалко и старушку с подагрическими ногами.

Я устал от этой тяжелой жалости.

«Тебе хорошо,— думал я со злостью о себе.— Приехал, попил топленого молочка, выспался в тепле, погулял тут под дождем... Пожалел всех! Ишь ты какой жалостливый! Какой хороший... А ты поживи тут всю жизнь, как эта старушка, повстречайся с медведем, который поперек дороги станет. А ты ведь не с ружьем, а так просто, как та девка на лесной тропе. А он на тебя... Вот тогда и пожалей. Себя! Или медведя. Кого хочешь! Себя или медведя. Березку или старушку. Кого хочешь».

Леса вокруг темно и глухо горбились на мягких холмах, таяли в дождевой пелене низин, серели вдали мутными волнами. Глинистые лужи на дороге отражали безликое небо, а вернее, облака, которые закрывали огромной своей толщей небо.

Казалось, прошла вечность, пока я дошел до деревни.

— Действительно, убили,— сказал я хозяйке, милой и хлопотливой тете Даше, снимая на пороге грязные сапоги.— Медведя-то убили.

— Хорошо. Я знаю. Теперь и в лес ходить не страшно. Только когда ходить-то. Некогда ходить. Вон телята, кормить их надо. Навязали нам этих телят, а у нас в бригаде всего четыре женщины, четыре старухи. Вот и крутимся, вот и вертимся. На всю деревню одна бригада, да и та на пенсии.

Я еле стянул волглые резиновые сапоги, прошел по теплomu половику в избу, рухнул на широкую лавку и, упираясь в нее руками, почувствовал вдруг себя так, будто на мне весь день возили воду.

Нелегко это, оказывается, жалеть: тяжелый, неблагодарный труд. Неужто человек за всю свою долгую историю не успел еще привыкнуть к этому труду и устает, словно бы взялся не за свое дело? Курсы какие-нибудь открыть, что ли?

Полосатая оса билась в стекло, ползала, посверкивая, как пропеллерами, крылышками, искала выхода на волю, срывалась со стекла, падала на подоконник и снова тяжело взлетала, стучаясь о невидимую преграду.

ЗАЧАРОВАННАЯ ПОЛЯНА

Ах, какая это была охота! Как плохо я стрелял! Меня трясло от небывалого азарта, и, помнится, за три дня я уgomонил всего лишь одного вальдшнепа... Но все-таки какое счастливое это было время!

В еловых чащобах и в глухих оврагах лежал еще плотный снег, каменеющий на утренниках. Мелколесье же, березовые, осиновые рощицы, среди которых терялись небольшие поля, засеваемые обычно овсом или горохом, — светлые эти перелески блестели уже мокрой, перегнившей листвой. На солнечных припеках осторожно мышью шуршал в подсохших листьях ветерок... Над зеленым, жарким брусничником порхали лимонные бабочки. В полях чуть ли не до полудня бормотали тетерева. Над потными низинками, над захламленными кустарниками, стоящими в полои воде, токовали бекасы. Резкий, холодный запах прели растворен был в воздухе. Каждый бугорок, освободившийся от снега, каждая полянка, затянутая провлагодней, махорочного цвета травой, каждая блестячка лужи, всплеск живой воды под ногой, всякий звук весны: будь то сухая дробь токующего дятла или вялое гудение шмеля, загадочный ли шелест, издаваемый лопнувшей пленкой розовой бересты на молодом деревце, — все это свободно и легко лилось в душу, открытую в каком-то ликующем восторге всему земному. И не было в эти минуты человека счастливее меня. Хотя, казалось бы, какое же это счастье?

Ранней весной охватывает меня грусть, входит в меня странное беспокойство, похожее на тоску по быстротечности жизни, которая, может быть, только сродни затаенному счастью, и я, смущенный торопливостью жизни, особенно заметной весной, впитываю в себя, стараюсь удержать памятью цветущую иву на прогретой солнцем розовой опушке, отразившую свое пушистое золото в талой воде, или мелькающего в небе летучей мышью токующего бекаса, или печальный посвист пролетающего ручьем чирка...

Но какая же печаль у весеннего селезня? Это не его, а моя пе-

чаль окрашивает звуки весны, это я печалюсь, шагая по мятой, ранимой земле, это моя душа не в силах примириться с неизбежным уходом из прекрасного мира и, охваченная острым чувством сопричастности ко всему существу на свете, страдает от бессилия бременной плоти вечно пребывать на земле.

Весна!

Ручей превратился в мутную напористую речку, затопленные кусты дрожат каждой своей веточкой на свивающихся струях течения, мостики снесены. Мы с другом ищем какую-нибудь жердинку, перекинутую местными жителями через ручей. И находим две ольховые слеги, будто суриком намазанные на свежих зарубах. Мостик этот колышется под ногами, пружинисто гнется, ноги судорожно напрягаются... Ах, черт побери! Но нет, не упал, не сорвался! Нашел какое-то единственно возможное в этот момент движение тела, сделал петвердый шаг, удержался в равновесии и с великой освобождающей радостью ступил на тот плоский и твердый бережок, на холодную озимую травку, ступил с таким чувством, будто теперь надолго, если не навсегда, отрезан от привычного для тебя мира.

Я до сих пор не могу понять, почему именно там, на том берегу, охватывало нас чувство освобожденности и воли. Росли там такие же осинники и березняки вперемежку с елкой, встречались такие же серенькие деревеньки среди полей и лугов, как и на этом берегу. Но манил нас с другом именно тот бережок, и всегда нам казалось, когда мы ступали на его твердь, что тут-то и начиналась другая земля, к которой мы стремились, другие ее просторы и тайны — начинался край обетованный.

На том бережку, после удачной переправы, мы развязывали свои рюкзаки, кипятили в котелке мутную воду, заваривали крепкий чай и пили, обжигаясь, из эмалированных кружек эту густую заварку и ели черный хлеб.

В свои семнадцать лет я был легок на ногу, меня не смущали расстояния, попутные грузовики, в грязных кузовах которых добирались мы с другом от далеких мест нашей охоты; бездорожье и ночевки в холодном лесу у костра или на щелястом покатом полу жарко натопленной бедной избы, которая остывала к утру до погребного холода; короткие ночи, когда вместо подушки — угловатый рюкзак, а вместо одеяла — теплый бок спящего рядом друга. Тьма избы, сонные вздохи хозяйки, нудный плач маленького — все это не мешало мне, все это было неизбежно в моем приближении к тому единственному, неповторимому утру, а вернее, к предтече утра, пребывая в зыбком течении которого я уже не вспоминал усталого взгляда женщины, взявшей с нас за ночлег

полбуханки хлеба... Забывал запах нищеты и послевоенного разора. Все забывал! Чтобы много лет спустя вспомнить и удивиться, разглядывая в памяти такую неуместную улыбку во тьме несчастного, бедного жилища одинокой женщины, потерявшей мужа. Тогда она казалась нам старой бабой, и только теперь я понимаю, как молода и печально красива была та тридцатилетняя вдова с четырьмя детьми на руках в покосившейся избе. Сколько их было потом — голодных этих, послевоенных воев!

Но тогда во мне жил самоуверенный себялюбец, которого всякий раз болезненно возбуждала охотничья страсть и который испытывал всепоглощающую радость бытия, зная с уверенностью, что именно он имеет право не оглядываться на чье-либо горе или нужду, потому что свою эту радость он ни у кого не отнимал, а сам себе добывал на том, поросшем травкой, сухом бережку, — радость, которую, может быть, и не понимали многие люди.

Тот человек, которого я увидел вдруг напряжением памяти, помнил в те годы только себя, забывая домашние беды, голодную жизнь, и ему казалось, что люди, встречавшиеся ему в пути, не требовали к себе участия, видя в нем такого же обездоленного войной, как и сами они, худощавого, с голодным взглядом парнишку, едущего добывать пропитание для семьи. Хотя сам себя он считал баснословно богатым человеком, потому что плечи ему оттягивали ружье и рюкзак с тяжелыми патронами.

Да, он помнил в то время только себя, не заглядывая в будущее, слышал и видел тогда на заре только себя, понимал только себя рядом с таинственным и так страстно ожидаемым явлением другой жизни, которую дано ему было право оборвать своим выстрелом. Кем дано это право, он не задумывался. И вряд ли бы понял меня, если бы я из своего нынешнего далека с мучительным стыдом и завистью спросил бы у него: «А какое ты право имеешь убивать вальдшнепа?» Уверен, он просто усмехнулся бы в ответ и сказал бы что-то вроде: «Шел бы ты, батя, отдыхать. Я охотник... Разве не видишь? Надень очки...» С трудом верится в это, но, пожалуй, он именно так и ответил бы мне, увидев перед собой лысоватого, тяжелого мужика, то есть увидев самого себя через четверть с лишним века. Он бы и поверить не смог, что этот немолодой мужчина, задающий такой нелепый вопрос, не кто иной, как он сам.

С первого своего выстрела он был уверен, что никогда не изменит охоте, не оставит ее до гробовой доски. С первого выстрела из тяжелой одностволки, принадлежащей другу, который втянул

его в это удивительное и потрясающее дело — в охоту. Вернее, не вткнул, а как бы легонько подтолкнул первым выстрелом. Как давно это было!

Первый морозец, первый снег... Скованная земля была пестрой от снега. Озеро, еще не покрытое льдом, черпело за побелеными елками. Была та изначальная тишина зимы, которая словно бы еще вот-вот готова прорваться птичьей песней, гулким звуком падающей капли. Пахло снегом, холодным ватником и потным теплом жаркой пазухи. Заячий след то терялся на иссушенной морозцем земле, то снова пушисто обнаруживал себя на снежном намете. Мы чуть ли не целый час ходили, сбиваясь по следу, и друг мой, уже отчаявшись в удаче, рассказывал о прежних своих охотах. Нет, он не был удачлив и раньше — он ни разу еще не убил ни одного зайца, но он уже кое-что знал. Я же, мальчишкой живя в предуральской деревне, тоже ходил по заячьему следу и часто поднимал с лежки беляков или русаков. Это было так просто! Зайцев там водилось великое множество. Но я никогда еще не ходил с человеком, в руках у которого было заряженное заячьей дробью ружье. В жизни своей я никогда не испытывал такого томления, ожидая каждую секунду поднывающего зайца, его ленивый или стремительный бег. Там, в Предуралье, в военные годы, зайцы-беляки поднимались с лежек лениво и, отбежав полсотни шагов, садились, как бы в ожидании, когда человек уйдет и можно будет вернуться на лежку. На них там никто не охотился. Мы жили в чувашской деревне, а чувашки зайцев не ели, считая, что у них кошачья лапа. ◀

Теперь же я готов был умолять друга пройтись еще немного, когда он, устав тропить, решил позавтракать возле какой-то поржавевшей веялки, оставленной на краю поля, в низинке, около кустов.

И тут мы увидели серую кошку, которая, крадучись, чуть ли не на брюхе, ползком уходила от веялки к близкому чапыжнику. Я видел ее круглую, испуганную мордочку, зеленый глаз, тигровую окраску спины и даже длинный хвост.

— Вот она, сволочь! — сказал мой друг, протягивая мне ружье. — На, убей ее... Это вредная тварь. Она столько птиц губит! Надо убить.

Просил — на, стреляй...

Я взял тяжеленное, как мне показалось, и очень неуклюжее ружье и с заколотившимся сердцем стал целиться в ползающую кошку, стараясь успеть ее выцелить, пока она не нырнула в чапыг.

И вдруг оцепенел от удивления: кошка на глазах превратилась в зайца, в огромного русака! И в стремительном прыжке — уже не кошка, а заяц! — преодолев чистое пространство, отделявшее его от густого кустарника, скрылся в чапыге.

Мой друг громким шепотом произнес священное слово: «Заяц!» — и, не в силах поверить, что это не кошка, а заяц крался от веялки, спросил, тараща на меня глаза: «А кошка где? Ты что ж не стрелял-то?» — опомнился он наконец и с такой злостью вырвал у меня ружье, так резко кинулся в кусты вслед за зайцем, что я побоялся бежать за ним тут же и решил малость держдать, чтобы выйти из состояния какой-то обманчивой чертовщины, понять, что же произошло...

Заяц превратился в кошку, а потом кошка — в зайца. Я тоже не мог поверить, что заяц нас просто-напросто обманул, притворившись кошкой. Или это был оборотень? Может быть, и в самом деле тут была кошка?.. Нет, следы возле веялки — заячьи. Кошка почудилась? Вернее, заяц заставил нас обмануться и принять его за кошку?..

Мы еще долго гоняли того русака по кустам, но он был умнее и хитрее нас. Во всяком случае, он нас несколько не боялся и, выбегая на поле, садился, поглядывая на нас с любопытством. Когда же мы приближались к нему и до него оставалось метров сто, он поднимался и не спеша перебежал к окраине поля, к кустарнику, и мы видели, как он шевелил ушами: ему, наверное, очень не хотелось уходить от веялки, возле которой была насыпана целая куча смерзшейся золотистой половы. Мы взмокли, гоняясь за этим оборотнем, и лишь когда мой друг выстрелил на авось в направлении зайца, он так же неторопливо, с каким-то показным пренебрежением к нам убежал в кусты, игриво скидывая белый зад, и больше мы его уже не увидели.

— Дурак! — просипел мой задохнувшийся от злости друг, с ненавистью глядя на меня. — Дай, дай стрельнуть! Дал! Что ты, зайца от кошки не смог отличить? Ты ж видел, что это заяц!

— Откуда я видел-то? — обиженно оправдывался я. — Сам сказал — кошка... А теперь я виноват.

— Молчи! Я издали увидел, а ты... Ты когда увидел? Наш был заяц-то! Наш! А ты...

Мне же нечего было сказать: сплеховал.

Теперь я не жалею об этом. Совсем недавно я пощадил одного зайца. Это тоже был очень странный и, возможно, по-своему умный зайчишка. Во всяком случае, это был смелый заяц, кого-

рого при желании я мог бы в ключья разорвать зарядом дробь, потому что он лежал в трех шагах от меня под елочкой, внимательно следя за каждым моим движением. Мы довольно долго смотрели друг на друга: я улыбаясь, а он, видимо, очень настороженно и опасно, хотя, глядя на его большущий темный, почти черный на фоне белой шерсти глаз, казалось, что он по-кошачьи нежится под моим ласковым взглядом. В сетке у меня уже был заяц, в его крови была испачкана моя куртка.

Я поднял ружье и, салютуя смелому зайцу, выстрелил в воздух. Я был уверен, что заяц тут же поднимется и побежит на меня. Я не сводил с него глаз в момент выстрела. Но заяц только вздрогнул и продолжал внимательным глазом следить за мной, уверенный, что я его не вижу.

Только что выпал снег, туча еще не ушла, темнея над лесом, но солнце уже освещало пронзительную белизну вокруг — сверкало в неразрушенных, звездчатых снежинках. Елочка казалась темно-темно-зеленой, а заяц золотисто-белым.

«Ах ты, красавец!» — сказал я ему. И, выгнув из патронника дымящуюся, вонючую гильзу, кинул ее в сторону зайца.

Она подкатилась к его ляжке и даже коснулась ости волос. Но заяц и тут не испугался. С завидным самообладанием он осторожно, почти незаметно для глаза, легонечко отодвинулся от зеленой гильзы и с той же обезоруживающей внимательностью, не мигая, продолжал смотреть на меня.

Пришлось мне хлопнуть в ладоши, воскликнув при этом с какой-то полузабытой детской восхищенностью что-то несуразное, какое-то непередаваемое междометие, выражавшее мое удивление.

А он, как опытный бегун перед стартом, напряженно приподнялся на задних ногах и вдруг, мощно оттолкнувшись, с пушистым глухим топотом притко побегал прочь, выставив торчком толстые уши с горностаевым чернением на концах, и по всему было видно, что он не очень торопился, и долго еще мелькал в редком ельнике, празднуя свою радость.

Показалось ли мне, что он радостно бежал от меня, или я опять свою собственную радость перенес на зверька, которому повезло? И кто из нас больше радовался?

Заяц, конечно, не понял ничего, не оценил моего великодушия. Стало быть, не для него, а для себя я сделал доброе дело, себе доставил радость.

Червячок сомнения точил мне душу в тот день: вот ведь, думал я, досадуя, какой глупейший случай! Ладно бы еще спасибо сказал, а то небось убежал, уверенный, что обманул свою смерть

в моем образе... Кто ж я для него, как не смертельная опасность?!

И все-таки потом мне приятно было рассказывать своему другу о храбром зайце, хотя он не понимал или даже не верил мне.

— Одного убил, а другого пощадил. Этот что ж, который в сетке, хуже того или провинился в чем?

Я не знал, как ответить на этот вопрос. Во мне опять пробудился ото сна семнадцатилетний, самоуверенный парень, и мне хотелось сказать обидчику что-то резкое и злое... Но не было тех слов, которые освободили бы меня от этого вопроса.

— Ну, все-таки,— с усмешкой отвечал я тогда.— А вообще-то не в зайце дело...

— А в чем же?

— В нас с тобой. Во мне, который не убил, и в тебе, который пожалел убитого.

Худощавый парнишка со впалыми щеками, которого я помню по любительским фотографиям, с кипой густых и вьющихся волос,— тот парнишка ответил бы, конечно, иначе... Впрочем, ему бы и отвечать не пришлось, потому что не было бы такого вопроса — тот заяц был бы в сетке, случись такая встреча в зимнем лесу. Он жил гораздо проще и яснее, чем живу теперь я, мучаясь сомнениями... Но в общем-то мы с ним все-таки понимаем друг друга...

Ах, какая была охота тогда, на мокрой лесной поляне, окруженной, как хороводом, цветущими ивьяками! Это была не поляна, а чудесно возникшая, сказочная сцена, с тонко продуманным освещением, с темными и незаметными кулисами, из которых вылетали на сцену радостно посвистывающие, захлебывающиеся в трехкратном, угробном храпе, токующие в прозрачном воздухе вальдшнепы. Они летели через поляну, через это светлое в сумерках, долго не гаснущее пространство леса с теми поразительно точными промежутками во времени, которых хватало ровно на то, чтобы сделать прицельный дулет, проводить глазами улетающую, невредимую птицу, вынуть гильзы из патронников и вскинуть ружье, сажая на планку следующую птицу.

Снова дулет, снова промах, снова душный запах порохового газа из открытых стволов... Последний промельк крыльев улетающей птицы, ее невозмутимый свист и картавая музыкальная фразочка, которую трудно передать словами, но которая удивительным образом, с какой-то недостижимой гармонич-

ностью вписывается в поющую на все голоса лесную тишину... И приближение новой, другой птицы, которую ты уже слышишь за нежно цветущей ивой, золотым облаком возвышающейся справа от тебя. А времени у тебя только на то, чтобы успеть зарядить ружье.

Никогда — ни до, ни после — не было у меня такой удачной полянки, и хотя на следующий год, вернувшись с другом в наши места за ручьем, я долго разыскивал свою поляну, но найти ее так и не смог. Я становился на тягу в очень похожих «воротцах», которые тогда вели на лесную сцену, но это всегда была обыкновенная поляна, вокруг нее не цвели ивы и не блестело мягкое болотце с желтыми цветами калужницы. Совпали, казалось бы, все приметы: развилка едва заметной, заросшей дороги, полусгнивший деревянный столбик. Но я так и не смог отыскать своей поляны, как ни старался. В этом чудесном исчезновении я тоже видел какую-то таинственность, хотя, наверное, все было вполне объяснимо: цветение ивы совпало с массовым пролетом вальдшнепа, с теплыми, парниковыми вечерами, с тихим золотистым закатом, долго освещавшим цветущие ивы и отражавшим свой цвет в стоячей тихой воде болотца...

Все на свете в конце концов объяснимо! Но как объяснить, что чистую ту поляну окружали цветущие ивы, которых я больше ни разу не видел, хотя совершенно уверен, что стоял в другие годы именно на том же месте, но не на той же, увя, поляне? Стоял, но не видел никакого болотца, затянутого калужницей, как будто оно высохло, а земля посреди поляны как будто даже поднялась бугром. Поляну окружали стройные сиреневые березки... Нет, я не мог ошибиться! Я неплохо знал леса на том берегу. Лесные овраги и дороги лежали в моей памяти на своих привычных и всегда находимых мною местах, а такая приметная поляна, лежащая, кстати, поблизости от хорошо мне известной лесной дороги, словно бы провалилась сквозь землю. Иной раз и в самом деле подумаешь с пробежавшим по щеке холодком, что это хозяин леса в счастливую минуту своей вечной жизни устроил именно для меня этот цветущий хоровод, эти сказочные декорации с порхающими вальдшнепами, которые, я помню, так медлительно и загадочно долго пролетали небольшое пространство над поляной, что я успевал заметить даже удивленный взгляд некоторых птиц, успевал увидеть их отражения в стоячей воде мелкого и нетопкого болотца.

Я никогда не хвастал да и не мог похвастаться меткой стрельбой и не считаю меткость большим достоинством охот-

ника, хотя всякий раз после промаха готов кричать от досады. Но так плохо, как в тот раз, на заколдованной поляне, я никогда не стрелял.

В двадцати шагах от меня, на высоте десяти приблизительно метров, пролетело в тот промелькнувший в сознании, но в то же время удивительно долгий вечер девятнадцать вальдшнепов. Я никогда ни от кого не слышал о таком количестве тянущих за одну зорю птиц! Экономя патроны, я уже не палил дуплетами, а делал один только выстрел, с полной уверенностью зная, что сейчас, сию минуту, справа от меня снова покажется птица, которую я опять постараюсь убить. И она с необъяснимой точностью выплывала, как бы вываливаясь из-за дуплистого облака цветущей ивы, и, снижаясь, тянула над болотцем, словно бы любуясь своим мелькающим отражением.

Лишь один вальдшнеп после выстрела споткнулся и, по-сорочьи истошно закричав от боли и страха, трепеща перебитым крылом, теряя перышки в воздухе, с тихим плеском упал в воду и, подпрыгивая, продолжал вскрикивать, как сойка или сорока, в ужасе метнулся от набежавшего на него, пыхтящего зверя, который дотянулся и цепко схватил его, мучительно подпрыгивающего, кувыркающегося в изнеможении, дрожащей, огромной, белой лапой. Лапа эта была холоднее горячего тельца птицы... Холодные щупальца жадно сжали пульсирующую, окровавленную птицу и, размахнувшись, резким ударом размозжили ей голову о приклад.

И это был я, ликующий от удачи, торопящийся вынуть из патронника стреляную гильзу, потому что теперь уже прямо на меня — ибо я стоял посреди поляны — тянул большой и, как мне показалось, не слышимый мною вальдшнеп. Я оглох от возбуждения, руки не слушались меня, мне мешал все еще зажатый в пальцах, корчившийся в судорогах вальдшнеп, и я не успел на этот раз выстрелить. Но не оттого, что не успел зарядить, а потому, что птица, летевшая прямо на меня, стала круто снижаться к моим ногам, тень ее, еле различимая в сумерках, проскользнула над болотцем, я смутно увидел распростертые над самой землей, вастывшие на взмахе крылья садящегося вальдшнепа, но видение это тут же растворилось в потемках.

Над поляной пролетел еще один вальдшнеп, пролетел далеко и как-то рвано, быстро, и я опять пропустил его без выстрела... Тяга кончилась.

Уже умолкли дрозды. Закат дотлевал в болотце, подернутый серым пеплом северной ночи. Вальдшнеп смиренно висел на

улавке, растопырив коченеющие крылья. Ивы светлели сизым туманом в потемках.

Посреди поляны я увидел вдруг какой-то серенький столбик, похожий на те, которыми метят лесные кварталы. Подумал, что раньше как будто бы столбика не было. А может быть, не заметил раньше...

Я вздрогнул от неожиданности, когда на глазах моих столбик этот исчез и цветущие ивы, а вернее, кулисы погасшей сцены огласились пронзительным детским криком. У меня похолодело все внутри, когда меня пронизал этот истощенный вопль, в котором слышалась мне тоска и предсмертное, бездумное верещание какого-то дитяти; я не сразу и сообразил, что это был заяц, справляющий брачные свои игры.

Так закончилась моя охота на зачарованной той поляне. И если бы не убитый вальдшнеп, не живая его кровь, не сожженные патроны, я бы и до сих пор считал, что все это померещилось мне или приснилось. Но одно странное совпадение не дает мне покоя: упавший вальдшнеп почему-то сразу прекратил все чудеса, а два крика — крик раненого вальдшнепа и вопль беснующегося в теплой ночи зайца — словно бы о чем-то напомнили мне или, вернее, старались напомнить. Во всяком случае, это было тоже одним из тех странных совпадений, когда бессмысленность происходящего приобретает мистический смысл и значение, пробуждая в душе чувство, которое, может быть, и нельзя назвать страхом, хотя оно и сродни этому важному чувству, не раз спасавшему человека или другое какое-нибудь живое существо от гибели...» Но в данном случае речь, конечно, может идти не о страхе физической гибели, нет! А о чем-то более существенном, что ли...

Но увы, я только теперь, вспоминая ту давнюю свою охоту, испытываю это загадочное для меня чувство, похожее на раскаяние, хотя я знаю, что охотник и теперь победит во мне, случись по весне стоять на вечерней тяге. Не в этом дело!

Но все-таки было бы, наверное, лучше, если бы в ту далекую, голодную весну я не убил бы ни одного вальдшнепа или, во всяком случае, не подстрелил того беднягу, который криком своим словно бы молил меня о пощаде и которому, конечно, не хотелось погибать в тот теплый вечер над цветущей поляной. А я добил его потому, что в азарте не думал о неизвестной мне жизни таинственного и глазастого обитателя лесных чащоб.

Мне даже кажется порой, что дурной тот заяц, прискакавший в своей страсти на поляну, спутал предсмертный крик птицы с призывным криком самки.

А для меня эти два крика — любви и смерти — сыграли в жизни таинственную роль. С некоторых пор мне стало казаться, что той загадочной поляны вообще никогда не существовало в реальности.

Она, как заяц-оборотень, явилась передо мною в чудесном сиянии цветущих деревьев, а птицы, по которым я стрелял, были тоже плодом моего воображения, материализовавшейся мечтой, какой-то неведомой субстанцией, с подозрительной точностью проявляющей себя на фоне закатного неба. Мне даже кажется, что вальдшнеп, которому я перебил крыло, летел высоко и быстро, не так, как другие... И еще одно обстоятельство позволяет предположить мне эту чертовщину. Мой друг стоял всего в каких-нибудь трехстах метрах от меня, на хорошем по всем признакам месте, но на него за весь вечер вылетело всего лишь два вальдшнепа, одного из которых он взял. Как ни странно, он очень удивился, когда я ему рассказал, пребывая в небывалом возбуждении, обессиливающим меня, о своих девятнадцати вальдшнепах.

— А чего ж не стрелял? — спросил он недоверчиво.

— То есть?! Что значит? Я все патроны сжег, а ты говоришь...

— Что-то я не слышал... Рзаа два ты стрелял... да. Один дулет, и еще одиночный... Слабая была тяга.

Нет, я несколько не усомнился тогда в реальности своей охоты, своей стрельбы.

А когда мы пришли на ночлег в старый, полустгнивший сеной сарай посреди широкого луга, запалили костерик и я пересчитал оставшиеся у меня патроны, то я с удивлением спросил у друга:

— Ты что, и вправду не слышал моей канонады?

— Что?! — спросил тот в ответ. — Патроны дома забыл? Ты учти, у меня в обрез.

— Я не забыл! Я целый патронташ расстрелял. Ты что! Глухой, что ли? Ты ж рядом стоял! Должен был слышать.

— Ничего я не слышал, — отозвался хмурый мой друг, не расположенный шутить в этот вечер.

Я тогда не придавал значения этому разговору. Мало ли что бывает! Ну, не слышал человек! Увлёкся и не слышал моих выстрелов.

Но теперь, по прошествии многих лет, я тщетно пытаюсь разгадать эту странную загадку, и мне иногда кажется, что я и сам не слышал тогда своих выстрелов. Я только помню кислую вонь стгоревшего пороха, когда я доставал из патронников ды-

мящиеся гильзы, и помню их пеструю грудку, в беспорядке лежащую на жухлой траве поляны.

Но я не верю в эту чертовщину. Я хорошо помню, как летели вальдшнепы и как я суетливо стрелял. Ах, какая это была охота! Душа моя ликовала и словно бы уносилась вслед за летящими вальдшнепами. Я как бы все время раздваивался в тот вечер, обладая небывалой доселе способностью разглядывать себя со стороны, видеть суетливость своих движений, нылающее свое лицо, слышать учащенное дыхание и гулкие стуки боевых жил, в которых пульсировала разогнанная страстью до невероятной скорости моя кровь.

Я тогда себя чувствовал примерно так же, как сейчас чувствую себя по отношению к себе тогдашнему, то есть я уже был как бы старше самого себя и мог со стороны рассматривать себя, что-то отрицая в себе, а чему-то радуясь...

Если бы я верил в чертовщину, я не знаю, каких только небывлиц не наговорил бы, рассказывая о той великой своей охоте.

Но я не верю. И знаю твердо, что то была обыкновенная охота, игра моих страстей, соединившая в себе два крика — любви и смерти, радости бытия и тоски по быстротечности всего живого на земле.

Теперь, когда все чаще обеспокоенные туристы, просыпаясь в оранжевых палатках там, где когда-то гнездились утки или вела к овсам свой выводок пестрая тетерка, из самых благих намерений выступают против охотников и охоты, наивно думая, что не они, живя в гнездовой период в лесу или возле реки, а охотники перевели всю дичь в угодах, и не они, а охотники разогнали все живое на много верст вокруг транзисторами и попойками, кострами и шашлыками, машинами и моторными лодками, — я с печалью гляжу на далекого, теперь художавого паренька с ружьем, стоящего на том бережку бурно разлившегося, мутного ручья, вижу его счастливую улыбку и притороченного к поясу одного единственного жалкого вальдшнепишку.

Но я-то знаю, что никто никогда так не любил все живое на земле, как тот сероглазый парень в резиновых сапогах, которого я помню по любительским фотографиям, хранящимся у меня в альбоме. Быть может, только друг его, с которым он когда-то впервые перешел по тонким жердочкам на тот бережок торопливого ручья, не уступит ему в этом качестве. Да и то — как сказать!

РЫЖИЙ УГАР

Снег просыпался в последние дни осени, когда земля была скована первым морозцем. Ветер подхватил сухие ссежинки, закружил их, стал сметать с голых полей в овраги и к лесным опушкам — и началась белая кутерьма. А после метели, как всегда, потеплело и даже пролился дождик.

Но вдруг ударил мороз.

Солице в розовой, лютой мгле поднялось над обмороженной землей, над голыми и мертвенными в своем глинистом однообразии полями, над обледеневшей желтой осокой едва припорошенных болот, над еловыми опушками и сквозящими березняками.

Все обмерло в страхе перед этими бесснежными морозами, все застыло в тишине солнечных дней и лунных ночей.

Каждая веточка, травинка, каждый обмороженный листик, крохотный какой-нибудь кустик, покрытый корочкой льда, — все это трещало, разрушалось с хрустом под ногами, легко разламывалось, вскрикивало, и оттого ходить в одцепевшем лесу стало пеловко, словно бы виноват был перед лесом за нарушенный, мрачный его покой, словно бы не до тебя ему теперь, не до твоей утех...

Вспорхнет неслышно синица, мороз уколёт щеку, захлебнешься вдруг холодным, льдистым воздухом, закашляешься, остановишься и бросишь с ненавистью душную сигарету: «Будь она трижды!» А там вдруг в еловой чаще зеленая ветка с шипеньем махнет тебя по лицу колючей своей лапой, обдаст морозным ароматом хвои.

«Черт побери, где же Угар?!»

Наш огненно-рыжий, лобастый выжлец, содравший накануне палец в кровь, давно уже топчет в тишине своими лапщами, ломится сквозь кусты, старается изо всех сил, стреляет паром, сопит чутким своим носом, мелькает в дымчатой чащебо голого ольшаника, торопится в поиске и, забыв о содранном

пальце, носится по лесу, то отдаляясь от нас, то вдруг пугая неожиданным и шумным приближением.

— Ай-яй-яй-яй! — покрикивает егерь. — Тут-тут-тут! Работай, Угар, работай!

Какая уж тут работа! Все на свете позабыл Угар и живет теперь одной лишь страстью, одним лишь диким своим инстинктом и кажется безумным и ошалелым, когда проносится сторовою, низко держа лобастую башку и не видя никого из нас, не слыша ничего, отдавшись охотничьему своему азарту.

Если бы не Угар, мы давно бы, наверное, ушли из леса домой, потому что какая уж тут охота, когда и шагу сделать нельзя без шума, будто ты не в лесу, а по замерзшим лужам колешь. Одна надежда и была на Угара, которого мы из-за ноги пораненной не хотели брать на охоту и привязали, чтоб он за нами не пошел, но Угар перегрыз веревку и, прихрамывая, догнал нас уже на опушке. Вот и получилось, что не мы его привязали, а он нас привязал к охоте.

Мы с егерем не рассчитывали задерживаться в обмороженном лесу и, уж конечно, не углубились бы так далеко, не будь с нами рыжего лисогона с трубным, срывчатым голосом, который несколько раз уже пробовал и начинал как будто бы гнать и отдалялся от нас, ухая в тихом и гулком лесу. Но вдруг умолкал. И как мы ни прислушивались, как ни надеялись на гон — что-то там у него не получалось: то ли след он терял, то ли ошибался, подавая голос, а то, может быть, и вовсе обманывал нас, подогревая голосом свою страсть.

Так же и на этот раз началось...

Впрочем, не совсем так, потому что когда Угар прихватил свежий след, я был поблизости и видел, как он, торопясь и повизгивая, пересек поляну и промчался рядом со мной. Сильным стоном прорезал он тишину леса и, удаляясь от меня, мелькая в кустах рыжей рубашкой, огласил вдруг мертвенную округу набатым голосом...

И все помутилось у меня в голове, весь я превратился в чуткое существо, которому, казалось, на роду было написано только слушать этот живой набат в промороженном лесу и бежать сломя голову на этот набат и кричать в радости и восторге:

— Погнал! Погнал... Я видел, как он прихватил... Погнал!

Погнал Угар! Голос его, окрепнув, заполнил весь лес и четкими ударами пульсировал в моем сознании, в каждой клеточке моего окрепшего вдруг, сбросившего усталость тела... Погнал! И понятно уже было, что на этот раз охота началась.

— Лису погнал,— сказал мне егерь, а сам торопливым ша-

гом пошел куда-то в сторону, не туда, где слышен был бубухающий голос Угара, а совсем в противоположную, задумав, видимо, свою, одному ему известную тактику.

А меня вдруг обуяла суета. Страсть во мне так разыгралась, что я и сам был готов бежать за собакой. Я был неопытным еще молодым охотником, которому впервые в жизни удалось вот так хорошо увидеть, как прихватила след собака, а потом услышать начало стремительного и звонкого гона. Я не знал, что мне делать! Видимо, егерь предполагал, что я охотник бывалый и подсказывать мне ничего не надо, во всяком случае, его со мной не было, и я не мог понять, где он и какие у него планы.

Когда Угар убежал так далеко, что и голос его потерялся, я остановился посреди заиндевелой сечи и стал слушать.

Было так тихо вокруг, что кровь, бегущая толчками, бьющая мне в голову гулками ударами, сбивала меня и мешала услышать далекий лай. Дыхание мое тоже мешало мне.

И только чутье подсказывало мне, что за далекими островками леса, вставшими посреди огромных сечей, за синими лесными далями все еще продолжался и набирал силы смертельный этот поединок хитрого зверя и лобастой умной собаки, которая еще никогда, как сказал мне егерь, не сходила с гона, коли зверь бежит живехонький и невредимый где-то впереди его. И теперь лису могла спасти лишь темнота предзимней, ранней ночи или глубокая нора, в которую не сможет проникнуть собака.

Неужели на этот раз бросил?

До слуха моего доносились чуть слышные звуки... Они на лай не похожи были: казалось, будто кто-то далеко-далеко рубил топориком звонкое промерзшее дерево. Держать эти звуки на слуху было очень нелегко: они то вдруг пропадали, и я слышал тогда только стук своего сердца, то возникали вновь.

И я побежал на эти ускользающие от меня, загадочные звуки... Я долго метался от одного перелеска к другому, пересекая заросшие кустарником сечи, и слышал уже в надвигающихся сумерках, как егерь потрубливал в рог, отзывая меня, как собаку, с гона... Но он был так же далеко от меня, как и Угар... Промокший от пота, запыхавшийся и возбужденный, слыша опять приближающийся голос Угара, бежал я наперерез, а лиса опять разгадывала мои замыслы и опять проходила далеко стороной.

И все-таки наступило наконец мгновение, когда пути наши скрестились.

Я стоял, пошатываясь от усталости, в реденьком перелеске и с надеждой слушал Угара, голос которого впервые за все это время раздавался так близко, что чудилось мне, будто это уже не собачий лай, а гульки, срывчатые, страстные крики какого-то неведомого существа летели на меня, заполняя лес и меня своим трубным звоном.

И странно! Я лису сначала тоже услышал, а потом уже увидел... Я услышал, как прошуршало что-то за двумя голоствольными елками,— и вдруг увидел рыжую лису! Она бежала легкой трусдой, повернув треугольную, остренькую головку в сторону собачьего лая, прислушиваясь к этому лаю и словно бы раздумывая, как ей быть дальше, и потому не видела меня, увлеченная собакой, которая была уже поблизости.

Сомнения в душе, как выстрел,— собака ведь тоже рыжая! Не убить бы собаку! Нет. Это была лиса.

И я бессознательно вскинул ружье, палец дернул спусковой крючок... Выстрел! Лиса подпрыгнула и стелюще побежала. Не видя меня и не поняв, откуда этот грохот, она бежала ко мне... Я опять выстрелил, и опять промахнулся. А лиса так близко промчалась мимо, что я хорошо успел разглядеть ее: хвост по земле волочился, а голову словно бы в плечи вобрала, съежилась вся, сторбатилась. Пронеслась рядом, так и не увидев как будто меня, и скрылась...

Угар умолк, услышав выстрелы, и вскоре вывалился из леса, подбежал ко мне и, поняв, что я промахнулся, застонал на весь лес, прихватил горячий след и ошипшим голосом, простудно забил опять в свой колокол и ушел за лисой.

А я стоял и поверить не мог, что промахнулся. Стыдно мне было перед собакой и перед егерем, который пришел на выстрелы, стыдно. На все мои жалобы и проклятья он отвечал, улыбаясь:

— Бывает...

За собаку только тревожился.

— Лиса не заморится, так и будет гонять, не раньше утра теперь придет,— говорил егерь, и видно было, что ему не хочется возвращаться домой без собаки.

Он потрубливал в рог. Но лес был тих и мрачен.

Но все-таки Угар пришел. Бока его рыжие ходили ходуном, язык торопливо дергался, обнажая белые клыки в разинутой пасти. Егорь успокоился и говорил собаке ласково:

— Ну что, Угарка? Что, рыжий, лапка болит? Пошли домой?

И я тоже на радостях, что собака пришла, говорил ей:

— Молодец, Угар. Все хорошо сделал, а я, дубина, промазал...

— Ничего,— говорил егерь,— бывает!

В лесу смерклось, но мы уже вышли на дорогу, которая вела в деревню, и было спокойно у меня на душе. Страсти мои улеглись, досада уже не мучила меня, и я даже подумал, когда мы подходили к дому: «Ну зачем мне эта лиса? Что бы я с ней стал делать? Шкуру содрал? А потом? Зачем мне эта шкура?»

И, оглянувшись на сумеречный, замороженный, мрачный лес, с радостью представил себе на миг рыжую лисицу в норе, перепуганную до смерти моими выстрелами и собакой, которая гоняла ее, бедную, оглашая лес набатными ударами гулко и страстного своего голоса, который теперь звучал во мне тихой и торжественной музыкой.

СОДЕРЖАНИЕ

Повесть

Уличные фонари 3

Рассказы

Будоражь 236

Голубой дым 256

Серый олень 287

Жалость 306

Зачарованная поляна 315

Рыжий Угар 327

- Семенов Г. В.**
С30 Голубой дым.— М.: Сов. Россия, 1983.— 336 с., 1 л.
портр.— (Лауреаты Гос. премии РСФСР им. М. Горького).

Книге Г. Семенова присуждена Государственная премия 1981 года имени М. Горького. В нее входит повесть «Уличные фонари», в центре которой — большой современный город с его проблемами и конфликтами, а также рассказы «Голубой дым», «Будоражь», «Серый олень», «Жалость» и другие, пронизанные любовью к природе, к людям.

С 4702010200—146 116—83
М-105(03)83

Р2

Георгий Витальевич Семенов

ГОЛУБОЙ ДЫМ

Редактор Н. И. Нетесина
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор Т. Г. Дугина
Корректор Л. В. Дорофеева

ИБ № 3519

Сдано в наб. 23.09.82. Подп. в печ. 10.02.83. Формат 84×108/32.
Бумага типографская № 1 (на вкл.— мелов, бел.). Гарнитура
обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 17,74 (в т. ч.
на вкл. 0,10). Усл. кр.-отт. 17,74. Уч.-изд. л. 19,82 (в т. ч.
на вкл. 0,03). Тираж 100 000 экз. Заказ 1343. Цена 1 р. 50 к.
Изд. инд. ЛХ-366.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета
РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной
торговли, 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома Государствен-
ного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и
книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул.
им. Тевосяна, 25.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Вышла в свет книга:

Акулов И. И. «Нечаянное счастье».

Лауреат Государственной премии РСФСР Иван Иванович Акулов принадлежит к числу тех писателей, чье детство и юность прошли в старой русской деревне, и влияние народной жизни определило его писательскую индивидуальность: родная деревня наделила его народным русским языком, живым чувством природы и точным пониманием психологии сельского труженика.

В сборник «Нечаянное счастье» вошли лучшие рассказы писателя: «Ирина Брякова», «Вознесение», «Необходимые люди», «Нечаянное счастье» и др., где автору удалось не только отразить социальные перемены, которые претерпела за последнее время советская деревня, но и создать многогранные характеры, большинство из которых тяготеет к истине и добру.